

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

П Е Р В А Я

Я Н В А Р Ь

М О С К В А
4 . 9 . 3 . 1

Москва Главлит А 61553.

СТАТ—формат Б/5 176 × 250

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова

«Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва .

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Алексей ТОЛСТОЙ. — Черное золото, <i>роман</i>	5
2. Ник. ТАРУССКИЙ. — Турксиб, <i>стихотворение</i>	15
3. Сергей БУДАНЦЕВ. — Дом с выходом в мир, <i>рассказ</i>	16
4. А. АЛЕШИН. — Вступившие, <i>очерк</i>	33
5. Александр ЯКОВЛЕВ. — Повороты, <i>главы из романа</i>	51
6. Ник. БРАУН. — Трамвайный сосед, <i>стихотворение</i>	66
7. Иван ПРИБЛУДНЫЙ. — Неотосланное письмо брату Максиму, <i>стихотворение</i>	67
8. Михаил ПРИШВИН. — Зооферма, <i>очерки с фотоиллюстрациями автора</i>	69
9. А. АРОСЕВ. — На боевых путях, <i>воспоминания</i>	80
10. Ник. ЗАРУДИН. — Неизвестный камыш, <i>рассказ</i>	96
11. Бор. ПАСТЕРНАК. — Смерть поэта, <i>стихотворение</i>	117
12. Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. — Вступление к Днепрострою, <i>стихотворение</i>	118
13. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Концы и начала, заметки о реконструктивном периоде советской литературы.	119
ЛЮДИ И ФАКТЫ:	
14. А. АГРАНОВСКИЙ. — Почему воют.	135
15. Всеволод ЛЕБЕДЕВ. — Земля и коммуна, <i>очерк</i>	139
16. Дмитрий СТОНОВ. — На сухонских предприятиях, <i>очерки</i>	154
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
17. Виктор ГОЛЬЦЕВ. — Александр Блок как литературный критик.	163
18. Евг. ЛАНН. — Томас Гарди.	173
19. Н. КАЛЯЗИН. — Из новой литературы о Толстом.	181
ЗА РУБЕЖОМ:	
20. Н. ИЗГОЕВ. — Харбин.	185
21. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету, <i>очерки международной политики</i>	191

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

	<i>Стр.</i>
Т. НИКОЛАЕВА. — 1) «Писатели — ударникам»; 2) «Земля советская».	201
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — В. Смирнов «Гарь»	202
Н. СЕДОВ. — Петр Ширяев «Внук Тальони».	203
Борис ГРОССМАН. — Константин Клягин «Горбун»	204
Н. МАТВЕЕВ. — Л. Копылова «Первое стихотворение».	204
Н. ВИЛЕНСКАЯ. — Вера Инбер «Чувство локтя».	204
Борис ГРОССМАН. — Алексей Платонов «Макар-карающая рука».	205
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — А. Пильчевский «Голубая искра».	205
Я. ФРИД. — Адам Шарер «Без отечества».	206
П. МАРКОВ. — «Мемуары Карло Гольдони».	206
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ.	208

Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Рим — это мир. Остальное — варвары.

На карту поставлено пятнадцать миллионов трупов. Русская революция спутала карты.

Ветер с океана приносил легкие дожди, сквозь летучие облака солнце играло на мокрых асфальтах Парижа, — бульвары, каштановые аллеи, графитовые крыши, полосатые парусины над окнами и столиками кофеен погружались в лазурный воздух.

Влажный город испускал эманацию запахов. Центральные бульвары пахли бензином и духами, боковые улицы — ванилью, овощами, винными лавками, улицы ночного веселья — жженым сахаром и непрветренными постелями... Гигантские железо-стеклянные рынки мощно благоухали всеми дарами моря и земли — храмы Благополучия. В старых, взбирающихся на северные холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями на уличных палатках, заманивающих горячими вафлями, блеском крутящихся рулеток, ядовитым цветом нуги и карамели.

Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, в сухом воздухе затаивались запахи, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестала каштановая листва, лоснились потом проборы у толстеньких гар-

сонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах, нездоровье проступало на женских лицах, заgrimированных с послевоенной решительностью, нехорошее возбуждение — на лицах юношей (ими, почти только ими наполнялись тротуары), свинцовая усталость — под седыми усами у стариков. (Промежуточное поколение исчезло).

Ветер с полей войны, где под тонким слоем глины и щебня еще не кончили разлагаться пять миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, агличан, африканцев, нагонял на город тончайшее тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, испанкой в форме чумы, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи.

Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обрезали юбки выше колен, обнажились по пояс, — лишь для министра полиции оставили ленточки, прикрывающие соски, — и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксафонами в

шикарных кафе и на перекрестках под уличными фонарями... Всюду, где был квадратный метр свободной площадки, чувственно взвывала стальная пластинка саксофона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и ююша, вытянувшийся за четыре года войны, и—реже—демобилизованный, плотно прижав к себе растопыренными пальцами женщину, ширкали и ширкали подошвами...

Каждый демобилизованный был Одисеем (эгейский герой застал дома полсотни женихов, они пировали за его столом, тискали его жену, тащили его имущество), каждый непрочь был устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. Но власть сурово представила новым Одиссеям лишь мирным путем отыскивать место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены фантастически росли.

Обладатель ренты (тридцать лет благоразумия), обеспечивающей беззаботное сидение в кафе, независимость политических убеждений и привычные мужские шалости, оказывался нищим... Чиновник с тысячею франков жалованья, поглядывая на луковый суп и жареный картофель на второе, с горечью вспоминал слова лучшего из французских королей, Генриха четвертого: «Я хочу, чтобы у каждого француза к обеду была курица...» Мелкий буржуа кричал у винной стойки: «Я снимаю выручки — двести франков валового... Ни одного су кредита... Я разорен... А жены рабочих покупают шелковые юбки... Честный торговец втопан в дерьмо... Стоило воевать!..»

В рабочих кварталах бродили зловещие дрожжи. Непонятно — кто нашептывал этим добрым французам всевозможные глупости о том, что в окопах дрались мужики, пушки и машины им готовили рабочие, а буржуа плотно набивали карманы... «А вы слышали (так кричали в кабаках предместий), что Люшер (министр восстановления областей, разрушенных войной) заработал два миллиарда франков... А вы слышали, спекулянты скупают военные запасы у англичан и американцев, и тебя, Жак, пошлют на новое побоище: война, лучший потребитель, жрет вся-

кую дрянь... Слушай, Жак, ты и теперь позволяешь себя дурачить? Вытри руки о штаны, выходи на улицу, кричи о справедливости, требуй платы за войну... Требуй созыва Советов. Этого буржуа больше всего боятся...»

Руки, привыкшие к винтовке, не легко протягивались в окошечко кассира за субботней выручкой, — за милостыней? Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народу, чтобы вновь одним с парусиновым светком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим — пронситься по тем же мостовым в шикарных машинах—сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокингových рубашек — из ночных танцулек в мгlistую котловину Парижа, спать с красивыми девками... «Так что же это, чужое счастье ты купил своей кровью? — дурак же ты, Жак!»

Правительство, обеспокоенное настраениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту мечты о справедливости... Около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб: он должен быть для всех, как курица короля Генриха. Двести тысяч франков взлетело вечером четырнадцатого июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, многоцветными павлиньими хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все восемьдесят столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства, — трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в Сене, загадочные исчезновения людей. Удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю: этот второй Рауль Синяя Борода заманил на свою дачу двенадцать вдовых женщин, ограбил, задушил (во время дьявольского акта) и сжег в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотинной, веселились, как дети. Звезда эстрады, Мистангет, пела с верха лимузина. Палач, выросший с зарей рядом с двумя столбиками эшафота, — цилиндр, черный сюртук, золотые очки, — дал знак... Из тюремной дверцы (его помощники) выволокли упирающегося лысого чело-

вечка с ассирийской бородой... Сорок пять секунд — и он привязан под ножом, вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку, глухой стук треугольного ножа, голова Синей Бороды отскочила в корзину. Туда же месье Демблео, сняв осторожно, — палец за пальцем, — бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Сдержанные (от сдавленного волнения) рукоплескания...

Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и деревянные кресты пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых, — почва еще пропитана нарывным газом. За двадцать франков можно было поглядеть на места гибели пяти миллионов человек.

Эти экскурсии (помимо развлечения) подготовляли общественное мнение: Совет Десяти медлил с подписанием мира, — Германию ожидала суровая кара. Двадцать семь стран и народов, воевавших на стороне Союза, послали представителей на парижскую мирную конференцию, в ней выделилось ядро из пяти великих держав — Совет Десяти. Во главе стоял президент САСШ — Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона четырнадцать пунктов вечного мира для человечества. Эти четырнадцать заповедей из страны, которая загрела все золото Европы, должны были храниться, как в скинии, в Лиге наций и восстановить дух христианства, право самоопределения народов и свободу торговли на суше и море.

Президент Вильсон мог светиться неземной справедливостью, горевать о падении нравов, призывать к христианской любви: Америка уже взяла все, что могла, ей нужны были — и как можно скорее — мирные рынки, чем больше их, тем лучше. Самоопределение народцев представлялось Вильсону земным раем, куда благодушно текут американские товары. С облачных высот Лиги наций он будто разглядывал Европу через узкий кончик бинокля.

Четыре остальных державы — Франция (представитель Жорж Клемансо), Англия (Ллойд Джордж), Италия (барон Сонино) и Япония (барон Макино) — только еще готовились вонзить зубы в колонии и богатства Германии и

ее союзниц. Райское вегетарьянство их не устраивало. На их споры (в границах исторического приличия) Вильсон упрямо отвечал бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от бешенства. Не подымайся за его спиной из-за океана такая распухшая золотом махина — САСШ, — они давно бы вышвырнули за дверь этого божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками.

Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. В ней готовился огромный индустриальный подъем: приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупировав угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности. Мощь страны зависит от тяжелой индустрии: эту истину открыла ей война.

С первых же заседаний Лиги наций Франция повела линию на завоевание мира. Восьмидесятилетний «национальный тигр», злой, как дьявол, Жорж Клемансо был умнее всех на заседаниях Десяти. Он предоставлял Вильсону бороться сколько влезет за торжество добра и ждал, когда он всем опротивеет. В согласии с президентом республики Пуанкаре, еще более непримиримым и свирепым, и генералиссимусом Фошем, Клемансо разрабатывал французский мир: двести миллиардов долларов германских репараций (по три тысячи долларов с каждой немецкой души), провинции, Рейн, колонии, раздел Турции (Сирия — Франции, Месопотамия — Англии), создание и вооружение великой Польши и большой военной поход на восток Европы: Берлин — Москва (Донецкий бассейн и Урал)... Словом возобновление империи Наполеона первого. Такова была программа-максимум.

Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Германия и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Украинцы, бунтуя против польских гангов, осаждали Львов. Итальянские рабочие выбили медаль с головой Ленина. Вероломные славяне бывшей Австрии не казались надежными. Никто

не мог поручиться (так говорил Ллойд Джордж), что вся восточная Европа, охваченная большевистским безумием, двинет на Париж трехсотмиллионную красную армию, руководимую немецкими генералами и инструкторами, вооруженную немецкими пушками...

Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, привязанного к палке от половой щетки, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лаюше покашливал (следы давнишнего бронхита), и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента.

По существу Клемансо опасался одной только Англии. (Япония и разрозненная войной Италия молча полагодарят за каждый выкинутый кусок). Создание сильнейшей в мире армии, постройка новых крепостей, — возрождение могущества древнего Рима, — вот что входило в планы таких классиков, как Пуанкаре, Клемансо, Фош. Французский иммунитет к революциям вселял уверенность в несомненной победе над восставшими рабами. (По-французски славянин и раб звучат одинаково).

Прошло уже восемь месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мирной конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселится президент Вильсон. Старик был дьявольски скрытен, — несомненно, он веселился, и во-всю, — он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Непонятно — когда спал. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Клемансо, он в первый раз за восемь месяцев усмехнулся, — брови закрыли глаза, седые усы приподнялись, пергаментное с прожилками лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь.

Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончатся заседания конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только четырнадцать пунктов Вильсона. Но в

Париже над ними смеялись (сдержанно, разумеется). Доходили слухи, что и в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости: Вильсон ставил соотечественников в смешное положение, — чего поди, в Европе начнут думать, что САСШ населены одними ангелами, идиотами и мечтателями... Вокруг Вильсона образовывалась пустота... Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет Десяти с основами французских мирных требований.

Четырнадцать пунктов летели к чорту. Президент возмутился и пригрозил отъездом. Но не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии — Лигу наций. Он отчаянно боролся, но чувствовал, что за спиной его только палка от щетки. Лига наций была превозглашена, тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор.

В безоблачное утро седьмого мая германский мининдел граф Брокдорф Ранцау (в черном, черных перчатках, с черной тростью), высокий, замкнутый, как немецкое сердце, вошел с пятью представителями (подчеркнуто — в пиджаках) в белую залу Версальского дворца. Немцы увидели (как известно) потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон, свет и зелень лужаек, шпалер, синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены, дробились на воске паркета, казались, солнце мира летело в восемь оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, — король-солнца, — за столом, завершающим амфитеатром поставленные золотые кресла, сидел Клемансо в темносерой старижовской визитке, коренастый, с угловатыми плечами. Опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо, без шеи, торпорилося белыми бровями, пожелтевшими усами, — морщинистая маска ненависти... Направо — высохший президент Вильсон, налево — приветливо улыбающийся, франтоватый, румяный, седогривый Ллойд Джордж с опущенными на губу усиками и хищным носом. Ниже — в креслах — пестрые представители

27 стран и народов, — приказчики, посланные местным купечеством урвать что можно...

«Господа делегаты германского государства. Здесь не место для лишних слов... Вы навязали нам войну... Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось... — Так заговорил Жорж Клемансо, торопливо дыша от ярости. — Час расплаты настал. Вы просили нас о мире, мы согласны вам предложить его...»

После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу Ранцау книгу в триста печатных страниц, переплетенную в белый сафьян, — условия мира. Ранцау бросил на нее перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки ответной речи. Он знал, что слова бесполезны, — одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфитеатру разбойников... Но об этой силе говорить он был не уполномочен...

Через пятьдесят два дня в той же зале Версаля (28 июня 1919 года) первым к инкрустированному, на изогнутых ножках столу — посреди драгоценного ковра — подошел Клемансо, привычным движением матерого журналиста макнул золотое в золотой ручке перо, обтряхнул, — черная капля как бы понеслась мимо чернильницы в пятидесятилетнюю бездну воспоминаний («в семидесятом году в Бордо я поклялся отомстить пруссакам, я мщу»), — и он подписал...

Семьдесят пять миллионов немцев упали на колени. Из-за Рейна во Францию — день и ночь, день и ночь — потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Низкорослые с проваленными щеками немцы, тощие, длинные немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед поездам, вслед улетающей на долгие-долгие годы надежде поесть, отдохнуть... На Германию опускалась черная ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто управлял жизнью, этот отблеск был еще страшнее ночи.

2

Французское правительство пышно отпраздновало переход к мирной жизни, по древнеримскому обычаю — триум-

фом. Разумеется, неплохо было бы проехать вслед за автомобилем маршала Фоша через ворота Сен Дени германского императора Вильгельма и весь генералитет с веревками на шее. Но это не удалось.

В центре Парижа — на площади Согласия, вдоль широкой аллеи Елисейских полей и на площади Звезды, вокруг приземистой арки Наполеона, — навалены были кучами, с трехэтажные дома, немецкие заржавленные пушки. Повсюду торчали высокие жерди, в форме средневековых копий, спирально перевитые лентами. Между ними висели гирлянды цветов из желтой бумаги... Национальные флаги... Одна из сидящих каменных баб на площади Согласия — статуя Страсбурга — утопала в знаменах.

Августовский день был зноен и сух. В бледном небе, нестерпимо сверкая, кружились аэропланы. С голых ветвей каштанов падали последние сухие листья. Между шестов и бумажных роз по этой страшной алее войны, похожей на обгорелый лес, несли впереди войск полусгнивший труп без лица — неизвестного солдата. Могила ему была вырыта под триумфальной аркой Наполеона. Игнали рожки, били барабаны. Из-за Сены, из бензиновой мглы, стреляли пушки у Дворца инвалидов. Этим республика отдавала военную честь народу, — каждый бедняк теперь в праве думать, что в центре столицы мира, под аркой Звезды лежит его брат, пропавший без вести. Человеческие потоки медленно двигались за войсками. Тончайшая пыль поднималась от мостовых, ложилась на миллионы лиц, обозначая морщины усталости, опустошения, невознаградимых утрат. Кое-где пробегала молодежь, взявшись за руки... Но разве это было веселье! За все муки — подарить народу гнилой труп без лица! Веселились во-всю лишь американские солдаты, сытые жеребцы, толкаясь под руку с девчонками, нахлобучив их шляпки на железные шлемы...

Вечером скользнули по звездам лучи прожекторов, над мутной Сенной полетели потешные огни. В рабочих кварталах завертелись карусели, отражая миллионами зеркалец хмурые, пыльные лица. По опустевшим улицам поползли на ко-

лесиках четырехугольные рамы с зауженными плоскими, сбоков ковыляли безногие, безрукие, безглазые, — это инвалиды войны собирали милостыню. На перекрестках играли уличные оркестрики, но Парижу не плясало в этот душный, безветренный вечер. Сидя на стульях у порогов, у кофеен, на скамейках бульваров, люди поглядывали на лиловое зарево над городом, на догорающие кое-где за рекой линии иллюминаций, на огоньки Эйфелевой башни — владычицы эфира... Мысли полны утомления и забот. Завтра начинать жить сначала: итог подведен. Снова — труд, борьба, разочарования, старость, нищета... «Эй, Жак, не думаешь ли ты, что кто-то здорово надул тебя сегодня...»

Немецкие миллиарды, видимо, проплывут мимо носа прямо в банки Больших бульваров, в особняки Пасси... Краснеют огоньки папирос у дверей, тихо бредут по домам неясные в темноте стареньких улиц фигуры... Вот когда сказала старость... Дикой бы крови сюда. Великих замыслов — в этот прекраснейший из городов...

3

Около часу дня на Елисейских полях (где уже с неделю назад убрали шести и пушки и на черно-зеркальной мостовой виднелись лишь маслянистые следы автомобилей) в кафе Фукьец, посещаемое иностранцами, вошел один из тех месье, про кого с уверенностью можно поручиться только в одном, — что он перед завтраком спросит коктейль «степная устрица»... Ни один коренной парижанин не употреблял этой адской смеси томатного соуса, каенского перца, огненного соуса кабуль, полдюжины устриц и лимона, — ее пили месье неопределимых профессий и туманной национальности.

Человек был шикарно одет по моде, завезенной американцами: в обтяжку серый пиджак с подложенными плечами, короткие штаны, полубашмаки с острыми носками, глубоко — на бок — надвинута мягкая шляпа, темная бабочка галстука, камышевая трость, ползасунуты в карман свежие перчатки.

Он быстро прошел первый зал с накрытыми для завтрака столиками, спу-

стился на две ступеньки и положил трость и окурок сигары на цинковый прилавок бара:

— Месье...

— Что угодно месье?

— Степную устрицу.

За стойкой усатый, полный красавец в белой куртке начал готовить смесь. Человек сел на высокий табурет, загнул за дубовые ножки носки туфель. Впавшие, сизо выбритые щеки — жесткие, решительный рот, быстрые глаза. На мизинце веснущатой руки — крупный бриллиант.

Человек был не из тех, кто любит болтать всякий вздор за стойкой. Отхлебнув из стаканчика, сильно потянул ноздрями, сморщился. Усатый красавец вежливо спросил:

— Несварение желудка, месье?

Человек резко повернул горбатый, видимо, сломанный нос, косточки скул напряглись. Не ответил, облокотясь о колено, стал глядеть в раскрытую дверь. Он ожидал кого-то. Забыл про коктейль и сигару. Веки его время от времени ползукакрывались, увлажняя сухость глаз. Внезапно — вскинулся — взглянул на часы, рот исказился и снова — невидяще — в дверь.

И вот с горячего тротуара под тень полосатого тента и — в бар бочком забежал человек, настолько странный, что красавец за стойкой высоко поднял бровь собачьими морщинами...

Вошедший не одну уже ночь, видимо, провел на бульварных скамейках, — до того был помят, хотя и в воротничке и зашнурованных (множеством узлов) башмаках, но весь грязен. Розовое от пьянства лицо не то шелушилось, не то давно не мыто. К Фукьецу в особенности не удобно было заходить в такой шляпе, усиленно охранявшей жидкие волосы его от осадков и бурь.

Но он будто очень хорошо знал это место. Не подавая руки человеку с бриллиантом, сморщился припухшими веками. Мутноватые глаза скользнули по зеркальным полкам с бутылками.

— Виноградной водки, Кальвадосу, — приказал человек с бриллиантом и ногой пододвинул ему второй табурет, — садитесь, Налымов... Если вы не пьяны до потери сознания, поговорим о деле.

Налымов сел прямо, привычно, даже изящно, и опять мягкое лицо его сморщилось от беззвучного смеха...

— Я необыкновенно трезв... Но водку пить не стану. Вы, все-таки, не держитесь со мной, как хам... Это не остроумно... Аугустин (внезапно — красавица с усами)... коньяк и содовой...

Аугустин поднял обе брови, серпообразные усы:

— Месье Налымофф... О ля-ля... Это вы, месье... (Защелкал языком, дружески наливая рюмку душистого коньяку, полез под стойку, обтер салфеткой холодный сифон содовой). Уже скоро год, как вы не посещаете Елисейские поля...

— Были причины, Аугустин... (Он запенил из сифона фужер с коньяком, жадно — с каким-то даже стоном — выпил. Глаза увлажнились). Итак... (Обернулся к человеку с бриллиантом. Тот брезгливо холодно оглядывал его лицо, одежду, башмаки). Прошу извинить, я опять забыл вашу фамилию...

— Александр Левант, — сквозь зубы, редкие и крепкие, ответил человек с бриллиантом...

— Левант, Левант (как бы втискивая это имя в пропитую память). Итак, Левант, вы хотели, чтобы я вас познакомил...

— Пойдем за стол, — Левант схватил трость и пошел через арку... Аугустин, указывая глазами вслед ему:

— Месье хорошо знает месье?

— Нет, Аугустин. Но это не важно. Предположим, что его действительно зовут Александр Левант. С этим нужно мириться. Это — люди будущего. И так, мы завтракаем. Мне — коньяк и бутылку Вувре.

Потерев сухие ладони, он слез с табурета и, пряменький, пошел к уединенному столу, где спиной к свету помещался Левант.

4

— Вам нужно одеться приличнее, Налымов. Что это значит? Так опуститься! Семеновский офицер! И — бросьте вы это пьянство. Кому это нужно? Можете меня не благодарить, но после завтрака повезу вас в английский магазин... Будьте аристократом...

Александр Левант вонзал большие

зубы в мясо, ел не разбирая. Губ не облизывал. Почти не пил вина. Темные глаза, не участвуя в еде, тревожно бегали по лицам входящих в кафе. Говорил отрывисто...

— Вижу, вы такой человек — с вами нужно быть откровенным. Я на вас наткнулся, просматривая в военном министерстве списки русских офицеров... Отозвались о вас благоприятно. Признаться — ждал найти человека в более приличном виде... Что это вас потянуло на дно? (По-восточному пощелкал языком). С головой на плечах не найти денег в Париже!? Если бы я не руководился, кроме денег, еще чем-нибудь другим, — давно бы имел особняк на авеню Великой Армии... Но я, скажем, игрок... Что мне особняк? Скучно. Сегодня открытый счет на дюжинку миллионов, завтра все брошу в игру... Карты? Биржа? Извините, не то время: на бирже сегодня одни жучки... Есть другая игра...

Из верхней залы доносилась нежная музыка. Налымов хмурился, наслаждался, — рюмочка за рюмочкой, — слегка под музыку раскачивался. Еды почти не трогал и ничем не выражал внимания к собеседнику. Лицо его оживлялось внезапно, когда из залитого солнцем тротуара в кафе входила какая-нибудь американочка с детским лицом, птичьим голоском, одетая нелепо и очаровательно. Или внимание привлекала осенняя палевая роза в узкой вазе, он тянулся нюхнуть и, всхлипнув, глядел на опадающие лепестки. Его рассеянность не смущала Александра Леванта. Подали десерт, кофе, ликеры, ящики сигар. Левант выбрал гаванну, золотыми ножничками осторожно отрезал, закурил, откинулся, сощурил глаз, положил костлявые руки на скатерть:

— Поговорим о деле?

— Я все время слушаю внимательно, дорогой друг...

(Левант подумал: «Эге, парень хитрее, чем прикидывается»).

— Я хотел бы через вас устроить некоторые знакомства... (Подымил сигарой). Обставлено будет вполне корректно. Вам нужен аванс, — пожалуйста... (Движение в боковой карман, где хрустнули бумажки). Предварительно — увезу вас на недельку другую в Севр.

Там у меня вилла. Живут близкие друзья. (Кольнул глазом). Бывают не плохие девушки. Отдохнете, повеселитесь. Мы подружмся, — кто меня знает — за меня в огонь и воду... А потом кое-кого можем пригласить на виллу... Кое с кем — хотя бы здесь у Фукеца — встретимся, позавтракаем.

Налымов, слушая музыку, вскользя:

— Завтракать у Фукеца?

— Назначайте в самом дорогом ресторане... Не денег же мне жалко... Вообще хотел бы, чтобы вы занялись всей этой внешностью... Может, желаете работать на процентах? Пожалуйста, я открываю карты... Повторяю: мне дорога сама идея...

— Очевидно, я должен познакомить вас с великими князьями?

— Отчего же... Делу не помешает, наоборот. Красивое знамя... Несколько однозвонное... Там — увидим. Моя идея строится на других людях. Идея большая — грандиозное дело. Например, вы... Заметьте — я не предлагаю куртажных... Из пяти процентов — вы будете иметь тысячу триста годовых, обещаю под любую гарантию...

— Предположим, я убежден... Но у меня в Париже долги.

— Сколько?

— Восемь тысяч необходимых. Остальные подождут.

— Счета и векселя передадите мне, все будет улажено.

— Ладно... (С легкостью). Едем...

Мимо стола проходил бледный, высокий человек, несколько сутоловатый и связанный, в темном пиджаке, в котелке набекрень. Повернул к Налымову вялое, продолговатое лицо с английскими усиками под носом, остановился, поправил котелок. Налымов встал, опустил руки. Человек словно обласкал его сверху вниз беспечальными глазами:

— А, Налымов... (Подав ему руку, тряхнул и опять поправил котелок)... Что же ты как это... Ну, сиди... А я здесь не завтракаю, а так... Знаешь... Дрянь — Фукец...

И опять сверху вниз погладив глазами, пошел к стойке, выделяясь среди всех спокойной и уверенной медлительностью. На него оборачивались Аугустин быстро налил ему коричневой смеси. Александр Левант спросил:

— Должно быть, великий князь? А какой именно?

— Кирилл Владимирович.

— Претендент на престол?

— Кажется... (Налымов отвернулся, щипал розу).

— Знакомство возможно?

— Отчего же... Позвать к столу...

— Заманчиво. Но не сегодня... Едемте к портному... Возьмите в карман сигар, берите больше... А что у него есть войска или народ? На что он рассчитывает? Вы мне подробно должны рассказать о русских делах...

5

С российскими делами в Париже происходила какая-то неясность. Буржуа, держатели русской ренты, черпали из газетных заметок скупые и путанные сведения. Так, с полгода тому назад общалось, что для охраны французских капиталов, вложенных в торговые, металлургические и угольные предприятия на Украине, на Дону и Урале, правительство вынуждено послать в одесский порт некоторое количество колониальных войск. Мысль удачная.

Действительно, войска высадились в Одессе, не только французские колониальные, но и греческие. Принимая во внимание широкие планы французского правительства по отношению к Турции, присутствие дружеских греческих войск на берегах Черного моря тоже надо было признать мыслью удачной.

Русская рента, годная лишь для домашнего употребления, начала ползти вверх. Войска победоносно маршировали по Новороссии. Хотя Советом Десяти и был отклонен план Клемансо о широкой военной экспедиции на восток Европы, но зато сама Россия подавала надежды на скорое освобождение от коммунизма: на северном Кавказе генералы и кадровые офицеры формировали внушительные армии из восставшего казачества; в Сибири с помощью прибывшего из Парижа генерала Жанена и (беззаветно преданных Франции) чехословаков образовалось диктаторское правительство адмирала Колчака. Его солдаты очищали Сибирь и восстанавливали право собственности. Пожалуй, так было и дальновиднее — предоста-

вить русским самим уничтожить то, что они породили.

Совет Десяти с охотой обещал Колчаку всемерную помощь. Русское золото (увезенное чехо-словаками из Казани) находилось в его руках. Клемансо — как всегда, резко и отчетливо — указывал ему в шифрованных телеграммах линии желательной политики. Огромные военные запасы, оставшиеся после мировой войны и засорявшие рынок, шли теперь к генералу Деникину, оживляя частную торговлю. В Архангельске и на Мурмане высаживались английские десанты. Рента ползла вверх.

И вдруг, казалось бы без видимой причины, победоносные французские и греческие войска отплыли из Одессы на родину, бросив заводы, шахты и торговые предприятия своих соотечественников, танки и аэропланы на произвол большевикам. Мало того, румынский золотой запас, хранившийся с начала войны в одесском банке, неожиданно очутился в Москве.

Газеты объясняли эти досадные события причинами внутренней политики: не имело смысла лишний раз раздражать рабочие кварталы (где все сильнее пахло забастовками). Рабочие поднимали каждый раз невероятный шум из-за русского вопроса, будто Россия была для них фригийским колпаком времен Конвента, вздетая на острие пики.

Держатель русской ренты (за столиком кафе, вздев очки и насупись серыми усами за газетой) ничего не мог понять в военных делах Колчака и Деникина. Грандиозные битвы, кавалерийские рейды, занятие провинций величиной во всю западную Европу... Москва окружена, казалось, красным — смерть. Но Деникин отступает, Колчак отступает... В Англии забастовка, в Италии волнения. Германию трясет коммунистическая лихорадка... Буржуа снимает очки, потирает уставшие глаза...

Не менее изумления вызывали и сами русские, пачками прибывающие в Париж через известные промежутки времени. Более чем странно одетые, с одичавшими и рассеянными глазами, они толкались по парижским улицам, как будто это была большая узловая станция, и все без исключения смахивали на

сумасшедших. Сахар, хлеб, папиросы и спички они закупали в огромном количестве и прятали в каминные и под кровати, уверяя французов, что эти продукты должны исчезнуть. Встречаясь на улице, в кафе, в вагоне подземной дороги, они, как бешеные, размахивали газетами, сцеплялись спорить и кричать. Русских узнавали издали по нездоровому цвету лица и особой походке человека, идущего без ясно поставленной цели. У них водились драгоценности и доллары, зашитые в воротники пиджаков. На их женщинах (в первые дни по приезде) были длинные юбки, сшитые из портьер, и самодельные шляпы, каких нельзя встретить даже в Центральной Африке. К французам они относились почему-то с высокомерной снисходительностью.

Часть русских осела в меблированных квартирах (снятых на три месяца), часть — в дешевых гостиницах, часть — за городом. По ночам они разговаривали, днем спали или же ходили толпами друг к другу. Но были и другие русские: они смахивали на европейцев и сидели в дорожных отелях — Мажестик-Мир, Карльстон. Правда, их чемоданы были ободраны и даже с клопами (те, что с наклейкой константинопольского карантина), но фамилии этих русских звучали внушительно в промышленных, банковских и биржевых кругах.

У них был здесь свой политический центр — Парижское совещание доверенных лиц правителя России (адмирала Колчака) и уполномоченных генерала Деникина для сношения с союзными правительствами. Во главе его стоял председатель бывшего временного правительства князь Львов.

Очевидно, на эти-то русские деловые круги и намекал Александр Левант за завтраком у Фукьеца.

6

Демобилизованный нижний чин (из русского корпуса во Франции) лакей Иван, в мешковатом (умышленно) пиджаке и нитяных перчатках, отворил дверь малого салона (сизого от табачного дыма). Все поднялись и, каждый стараясь уступить дорогу, гуськом прошли в столовую. Не садясь, еще некото-

рое время заканчивали споры, но уже с примирительными шуточками.

Хозяин, Львов, еще раз просил к столу, — тогда быстро расселись. Было тепло, хрусталь и серебро на снежной скатерти залиты светом. Пахло розами. Иван внес на подносе горячие закуски, — по-русски. Последовала минута молчания, когда передавали графин с водкой, судки, блюда. Не чокаясь (во Франции не принято) выпили. Кто-то по-довоенному крикнул. Засмеялись. Кто-то вздохнул: «Да, господа...»

Хозяин сидел спиной к камину. Как всегда — в поношенном пиджаке, истрепанном жилете, заштопанной мягкой рубашке. В этой одежде он бежал из екатеринбургской тюрьмы через Сибирь. Круглая седая борода, серебряные зачесанные назад волосы и неподвижные, беловатые, будто исплаканные глаза. Он походил на земца девяностых годов. Не ел мяса и не пил вина.

По другую сторону стола, напротив него, сидел известный всему Петербургу и Москве барин, елецкий помещик, с желто-седой бородой по пояс, медным орлино строгим лицом, волосами—ежи-ком, Михаил Александрович Стахович. Когда-то он был близок к Николаю второму, но после 1905 года (девятого января он стоял у окна второго этажа в Зимнем дворце) уехал в Елец и был известен независимостью суждений. Временное правительство отправило его послом в Испанию. Он прибыл туда в день октябрьского переворота, не успев вручить верительных грамот, истратил в Мадриде все деньги на вино и женщин, некоторое время жил в испанской деревне, где ходил в рожь слушать перепелов, кричавших по-русски, затосковал, вернулся в Париж и поселился у Львова. Политикой он не интересовался сознательно и, рассуждая, оправдывал в конце концов и белых, и красных.

Направо от хозяина сидел директор-распорядитель Русско-Азиатского банка Николай Хрисанфович Денисов, низенький, воспаленный, с крупным мясистым носом и черной на щеках жесткой бородкой сатира. Он только-что много говорил, был возбужден, выпил под ряд четыре рюмки и пододвигал к себе самые острые закуски. Рядом с ним—русский посол в Англии (назначенный вре-

менным правительством) Константин Дмитриевич Набоков, изящный и выхоленный, как женщина. Он только-что привез из Лондона важные сообщения о русском вопросе. От водки с улыбкой отказался (налил капельку белого вина в минеральную воду), щипал салат и из-под темных ресниц с любопытством разглядывал пятого собеседника, для которого, в сущности, и собрались за этим ужином...

Он сидел налево от хозяина, высокий, с прямыми плечами и слабо развитой грудью, круглоголовый, с волчьим лбом. На широком, без морщинки, лице его чернело пустое место от двух выбитых передних зубов. Это был знатный азербайджанец, Тапа Чермоев, бывший офицер конвоя и владеец огромных нефтяных участков в Баку. Он улыбался и никому не глядел в глаза.

Во время споров (до ужина в салоне) он не сказал ни слова. Все знали, что привела его сюда острая нужда в деньгах. В восемнадцатом году англичане, заняв военными силами Баку, предложили Чермоеву образовать Азербайджанскую республику. Он выказал энергию и преданность. Но от продажи англичанам нефтяных участков до времени уклонялся.

Тогда представлялось, что Азербайджан, Дагестан, Грузия, Абхазия и Армения, торопливо объявленные независимыми государствами, прочно попадут под державное покровительство Англии, и неперелазным рубежом от проклятой Московии станут Северный Кавказ, Дон и Украина. При таких перспективах только безумец мог бы продавать нефтяные земли.

Неожиданно, противно здравому смыслу, оборванные банды большевиков выбили гордых англичан из Баку и Азербайджана. И англичане утерлись, не послали ни флота, ни войск, чтобы вернуть Тапе Чермоеву власть и нефть. Он бежал в Париж и стал, как все здесь, просыпаться с надеждой, засыпать в мрачном отчаянии. Большевики объявили бакинское черное золото советским, социалистическим, принадлежащим трудящимся всего мира. А это, как выяснилось, не повышало цен на нефтяные участки. Тапа сидел в Париже без денег. За последнее время мыслл

Дом с выходом в мир

Рассказ

СЕРГЕЙ БУДАНЦЕВ

Глебов, мужчина за пятьдесят лет, в иную минуту, когда обострялась внутренняя бдительность, чувствовал себя странным существом, похрипавшим на комету: длинный, почти неощутимый, незримый хвост тянулся за ним, никогда, быть может, не изменяя грубо его шагов, но все же влияя на походку. Хвост был разреженным, бесплотным состоянием прошлого: мыслей, болезней, труда, позорных поступков, радостей, близких и далеких лиц.

Блаженная легкость молодости не найдет в себе манящей и тягостной обязанности отзываться непременно многосложно на каждую мысль, на каждое слово, на любое воздействие внешнего: у молодости есть только за и против. Отзыв пожилого будет глубок, многоголос, болезнен, как отзыв рояля на вскрик, на удар рядом.

Инженер Глебов был здоров, крепок, доволен мужской силой, умеренной и пока неизменной. А умственную прыть он даже попридерживал. И эта скупость последнее время действовала вредно. Безмерно выросло внимание к себе. Распухали мелочи. В застойной тишине и тихий звук резок.

Думать и писать о пожилом нелегко: помни — а как же с хвостом? Он незрим, но есть. Он не только задерживал, но и толкал, и поворачивал, как кошку в прыжке, как лису на бегу. Глебов не мог бы назвать тягость, в которую, едва он начинал думать о своем настоящем, ощущал себя запря-

женным. Тягость эта и была действием его прошлого, которое требовало жизни в настоящем.

Последнее десятилетие инженер существовал только разговорами о деятельности, а последнее пятилетие многие кругом сильно работали. Необходимо было взять подьем, впереди — гора деятельности, а он старался ее не замечать.

Инженер Василий Михайлович Глебов — прославленное дореволюционным строительством имя: знаменитые на юго-востоке корпуса суконной фабрики Острякова — его стройки, два крупных вокзала, одна из лучших у нас грязелечебниц, известная даже в Европе, и ряд других зданий на большом кавказском курорте, десяток доходных домов, заводской поселок в Орехове-Зуеве — его стройки. Это только часть послужного списка. За каждым делом — труд, воля, рвение вперед.

2

Василий Михайлович вернулся домой усталый, недовольный, и его квартира — четыре комнаты на Спасо-Песковской площадке — чем-то напомнила ему заношенное платье, в которое нужно лезть после бани. Двор в мартовской капели пахнул веником. А баня была изрядная! Смета строительного треста в той именно части, которая касалась Глебова, вышла из зубов полудесятка плановых и контрольных комиссий потрепанной и урезанной. Рабочих допустили в аппарат треста, и они требовали сокра-

тить штат консультантов, которым-де и на местах найдется работенка. В этой части и глушили смету. Кто-то где-то обещал отстанывать, да мало ли что обещают, а пострадавшим не оглашать же вспямя Деловой Двор.

Инженеру мнилось: схватят как мальчишку и вышвырнут из Москвы. Знают, чем бить, — рублем. Сунут в дыру, которая должна стать жемчужиной индустриализации на скрещении важнейших магистралей, а покуда расположена в трех сутках езды от железной дороги, и простейшее оборудование туда тащат на верблюдах.

Командировка, в которую ему предписали отправиться на ближайшие дни, в обычное время показалась бы приятной прогулкой с протекающими сучными. Но сейчас думалось, — посылают не спроста. Посылают передовым большой обследовательской комиссии, по-новому — бригады, вокруг ее председателя, товарища Эзенгардта, разовьют интригу. Эзенгардт как член правления не только подписал, но и защищал неудачную смету, — ошибка требует жертв. Всю Эзенгардтовскую группу и посылают на Агромашстрой, чтобы расправиться с нею издали. Второй заместитель главного инженера Агромашстроя, Никита Горбунков, как сообщают, до крайности переутомлен, изъеден неврастений, опасаются самого худшего. Вопят о «строительном фронте» и — что вы думаете — возьмут за белы плечи его, инженера Глебова, пятидесяти трех лет, и об'явят: мобилизован, и посадят на место Горбункова. Увы, даже в мечтах об унижении Василий Михайлович не представлял себе должности ниже второго заместителя! Одно дело наблюдать и планировать сверху, критиковать и язвить, одергивать и поощрять, а когда эти глаголы к тебе самому обращаются острием страдательного залога, — покорно благодарю! Это — сверху. А снизу — десяток тысяч рабочих глаз как штыки, каждая пара — ревизор, каждое лыко в строку. А кругом степь, как ладонь, — ни тени, ни уединения.

За годы революции Василий Михайлович изрядно размышлял о свободе рисковать и о праве ошибаться. Больше всего техническая интеллигенция уреза-

на в этих правах, а с путами на руках и на ногах инженер Глебов не представляет себя на практической работе. Старик Остряков, которому молодой Глебов соорудил две фабрики, не даром окрестил его орлом. Старик сносил все. А случилось, его не добром выпроваживали с постройки, когда фабрикант вертелся под ногами и надоедал. Старик ценил в сотрудниках жесткую самостоятельность: знал свою выгоду.

Глебов не верил в то, что к труду можно приохотить призывами и лозунгами, и все разговоры о пафосах и энтузиазмах считал вредным самообманом. Еще в золотые годы иногда говаривал он:

— Я всегда работал за хорошие деньги и хорошо. Во мне нет никаких inferнальных источников энергии. Мускулы ума — и все. И развивать их надо непрерывными упражнениями.

(— И это все? — много лет назад переспросила его женщина, прекрасная актриса с телом в лазурных жилках. — Я не хочу верить, потому что верю в глубину. Я недавно прочла, одна благочестивая католичка сказала: «Какая жалость, что сладость мороженого в палящий зной не несет в себе греха». Ты слишком огрубил все.

Впрочем, она скоро бросила его, — в мучительный вечер, со слезами, ничего не объяснила. Он послал ей шалое письмо: все было шало вокруг этой странной женщины. И должно быть глубоко заглянул в себя, когда писал, что «цинизм защищает его как латы, что в глубины засматривать на людях считает неприличным, что литературщиной не заражен, глубокое чувство, как пар высокого давления, запрыгано за крепкие стенки.» Ему не ответили. Этому двадцать лет, и как не с ним было, — осталось в хвосте.)

Вошел в темноватую переднюю. Зеркало отразило грузную тень, — нет, такому трудно бегать по лесам, орать до хрипоты, не спать ночей. Да и к чему? Но тут он пресек в себе движение постороннего и делового, — дому домашнее.

Почта валялась на подзеркальнике, — пора бы привыкнуть класть ее в кабинет. Этим Глебов и огородил Ирину Власевну, экзотомку, крепко сбитуую полную женщину, у которой улыбалось

все, от ямочек на щеках до ямочек на локтях, и которая так же легко огорчалась, как и веселела. Василий Михайлович поморщился.

— Да еще пахнет здесь чем-то! — он не продолжил, — женским потом...

Ирина Власьевна всплеснулась огрызнуться, да заметила: у него пожелтели белки, и мгновенно поблекла, шмыгнула на кухню.

Василий Михайлович проследовал в кабинет. Привычный плен книг и уют окружил его, но владелец не испытал обычного гордого утешения от этого. «Раньше-то все сходило как с гуся вода, и не такие дебаты о смете!» — подумал он о молодости. «Нет, конечно, здесь дело не в возрасте!» — заявил он себе внушительно. «Но вот эти глупые встречи...»

Два дня под ряд он встречал на Никитском бульваре, коротком, как большой палец, человечка, похожего на культышку, при чем из разговоров догадался — товарища по гимназии, не мог вспомнить ни имени, ни прозвища. Более всего отягощало мысль сходство этого обтрепанного, обкусанного, обрубленного старика с каким-то очень сытеньким и розовым мальчуганом, который и аттестат зрелости принял как насмешку, что-то очень туповатое и розовое, розовое... А теперь его сопровождал, обгоняя не по росту большими—зигзагами—шагами (походка выработана спешкой, погоней за мелким куском хлеба), белесый пожилой гражданин в неприличных, выше щиколотки брючках, в кургузом демисезоне и в рубахе-ковбой, которые еще называются «смерть пракам», — это на шестом-то десятке! Глядя на него, Глебов вспомнил чье-то определение человека — не герметически закупоренный мешок с нечистотами — и почувствовал отвращение к своему телу.

Неизвестный величал инженера Базилькой, именно такой собачьей кличкой звали его в старших классах. Неизвестный знал неожиданно много и о том, что касалось дальнейшего жизненного прохождения инженера, которого именно это последующее внимание очень сложно и сильно раздражало. Неизвестный разглагольствовал осведомленно и лживо:

— Как же, как же, следим за успехами одноклассников! Гремел раньше, гремишь и теперь (это отдавало насмешечкой). Вон в «Известиях» поминали твою фамилию. Не то, что мы — помрем в безвестности, голод насаждает, служба...

— Ну, в газетах печатают и тех, кого вычистили.

Инженер, удачливый на деньги и блága, ненавидел жалобы. Но тут считал себя обязанным выслушивать. Больше того, он испытывал стыд за свое благополучье и несчастья другого, совершенно забытого, но настойчиво лезущего в память сверстника.

— Нет, Базилька, ты и вообразить не можешь прозябания совслужа... А тут еще семья, — догадываешься, как цветет семейка на сто двадцать рублей, на тридцать рублей мирного времени... Все, брат, ползет — и швы на штанах, и нравственность, и почтительность — и удержать нет возможности. Знаешь, это как зараза: распутство от нищеты, и пьянство, и своеволие.

Розовый гимназист из тридцатипятилетней давности вещал прокурорным голосом об ущербах и низостях. Правда, он говорил о своем, но его родство с ранней судьбой Глебова как-то заставляло сблизать и все дальнейшее: словно это жалкое существование как тень сопровождало, все время опережая. Спутник, когда-то разовощекий гимназист, стал старше на вид, чем Василий Михайлович, и опыта у него больше, и больше злости опытного человека.

— Нет, — говорил себе Глебов, — надо переменить маршрут. Можно ходить по Воздвиженке. Он и живет где-то на Малой Никитской и, возможно, нарочно следит... Он нарочно выдумывает всякие неприятности в льстивой форме. Все вздор, и можно жить спокойно.

Глебов почувствовал себя невероятно усталым, измученным, и — руки заняты. Оказывается, сидит на диване и держит перед собой какие-то пакеты. «Ах, да, почта!» Пачку составляли мало занятные повестки, извещения, газеты. Два частных письма, оба из разных мест, — одно помечено Глушинском, около которого развернулся Агромашстрой, — оба в отличных конвертах, и были адресованы дочери.

«Зина-то большая!» — продолжал инженер размышлять. «Красивая девушка. А все-таки ранё ей так оживленно переписываться. Толстые конверты, тяжелые» — прикидывал на руке. Весомость пакетов казалась подозрительной, как-будто в них был насыпан яд.

Василий Михайлович с молодых ногтей обожал элегантный багаж и первоклассные письменные принадлежности. И всю жизнь как-будто куда-то ехал, соблазнял женщин в купе, в гостиницах, в полях и писал им нежные, лживые письма. Его никогда это не мучило. Но вот теперь, в приложении к дочери, личный опыт поворачивался другой стороной, отнюдь не сладостью воспоминаний. Опыт рисовал запрокинутое лицо дочери, — все, что безобразного и смешного сохранила память о страсти, всем этим воображение наделяло именно дочь.

Василий Михайлович вытеснил картинку из поля внутреннего зрения. Мгновенно пересохло во рту и заложило нос: как истый интеллигент Глебов страдал носоглоткой и не раз устанавливал связь между расстройством дыхания и домашними или любовными неприятностями.

Но если удалось сравнительно просто одолеть отцовскую ревность, то печаль так легко не давалась. Все молодые поветы, с которыми могла бы сблизиться его дочь, причинят ей только горе: она не из таких, что сразу выходят замуж. А уж он ли не знал, как мало получает женщина от любовника. И в настоящем случае не было даже извинения, что любовник он сам.

За стеной прогремели твердые шаги на пятку: прибыл из института Володя. Этот не возбуждал опасений. Туповат, узковат, — отец беспристрастно расценивал сына, — с возрастом обтешется, выйдет неплохим ремесленником-путейцем. Ни утешения, ни расстройств.

Дверь с шумом распахнулась, в комнату словно ворвался взбесившийся весенний сад. На сухие, утомленные щеки упали, как две крупные капли дождя, два поцелуя. Зина вбежала в шубке, в перчатках, прохладная, благоуханная, резко вырвала письма.

— Подозреваешь худшее? — спросила

она, отец отвернулся. — Расстроился? — покраснела, свела тонкие, подбритые брови, разорвала конверты, протянула. — На, читай! Один тебе ровесник, другой щенок.

Ни то, ни другое не утешило Василия Михайловича. И в этой почти бессловесной расправе о письмах он был одурачен.

— Однако, наш Александр Климентович опаздывает! Он выходной, я пригласил его обедать сегодня.

— Ничуть не бывало! — громко, так, чтобы слышно было во всех комнатах, воскликнула Зина. — Он провожал меня от самых Арбатских ворот. Мы пришли вместе.

Александр Климентович Глезер был секретарем бюро и молодым другом инженера Глебова. Его немецкое происхождение придавало их отношениям какой-то особый привкус, как-будто они развертывались где-нибудь в обстановке Гейдельберга или Марбурга с вековыми университетскими традициями, а не среди этих скороспелых и недолговечных полунанучных организаций при хозяйственных учреждениях, с несуразными названиями и неопределенным назначением: все течет, конечно, но в советских учреждениях слишком быстро все течет!

Александр Климентович не только преданно излагал доклады и резолюции патрона, не только развивал его идеи, но и во внешности, в манере двигаться, причешиваться, говорить — особенно затягивать концы фраз и слегка в нос, как бы от лени — подражал старшему другу. Удивительно, у последователя даже волосы потускнели: их каштановый блеск вот-вот подернется сединой, как у Глебова. Александр Климентович был худ, строен, с Володей одного роста, и весь как-будто кристаллический, прозрачный. Его манжеты, запонки, галстук, воротнички казались не принадлежностями костюма, могущими поблекнуть, износиться, загрязниться, а частью тела, функцией организма, самовозобновляющейся и непорочной.

Обед прошел не весьма оживленно. Хмурился глава, отражено куксилась Ирина Власьева. Александр Климентович вывозил беседу. Рассказывал о прошлой годней поездке в Сочи, о черно-

морских античных крепостях, чуть-чуть пригнул о победах над сопляжницами, вскидывая ясный взор на Зину. Девушка разом и на голову разбила все его хвастовство.

— Едва ли вы пользовались таким успехом, как изображаете. Во-первых, вы имели время похвастаться еще в ноябре, когда вернулись. А во-вторых, должны бы научиться понижать голос бессознательно, когда дело идет о лунных ваннах. Вы голосите, словно уговариваете комиссию из пятидесяти членов.

Что верно, то верно, едва увлекшись, Глезер начинал назидательно кричать и все одним тоном, — живописал ли развалины башен, или описывал купальные костюмы. В тевтонские слабые капилляры на лице, на ушах, на шее густо прилила кровь. Глебов взглянул на Глезера и мысленно всплеснул руками. «Да она же совсем баба! Взрослая, злая баба. Злая, как овчарка. И влюблена, влюблена... Но в кого?» И он как-то особенно подчеркнуто выразил неудовольствие:

— А телятину изволили пересушить, Ирина Власьева. И неужели во всей Москве нельзя достать получше маринада для салата?

Один Володя не замечал маленьких потасовок вокруг себя. В нем была какая-то чебанская уединенность. Он жевал с аппетитом, исключавшим всякое подозрение об интеллектуальной причине его задумчивости, похмыкивал. И только глотая поспешно компот, вдруг громко захохотал.

— Ты чему, Владимир? — спросил отец.

Володя не ответил.

— Фу! Как тетерев на току, — заворчал инженер. — Стихи, что ли, сочиняешь? И вообще, — отец уж начинал сердиться, домашние пустяки быстро и глубоко гневали его, — что это за манера вести себя так, что и понять нельзя.

Но тут брюзжание прервала дочь просьбой разрешить послезавтра, в субботу, вечеринку. Неожиданно отец залюбопытствовал, кто будет приглашен. Ему называли фамилии, давая беглые замечания, в чем отличился Александр Климентович, он острил, брал дань с

отсутствующих. Зина охотно смеялась, ей не нравился насупленный вид родителя. Александр Климентович острил и похохатывал, и смех выходил отчетливый, каждый выдох вылетал отделанный и круглый, напивавшись влагой во рту, полным прекрасных зубов. Глебову был чем-то неприятен его молодой друг в ту минуту.

— Да вот и все: человек десять, все Володькины и мои друзья и приятельницы. Ах, чуть не забыла, пригласила еще Мишу Лясковича, — музыкальная сила.

— Ляскович, Ляскович... — припоминал вслух Глебов. — Ну, нет я против, я решительно против.

— Против кого, папа?

— А против всего! Вечеринка ваша неудобна. Я буду дома и буду заниматься перед отъездом. И в мое отсутствие я прошу не устраивать никаких сборищ... У меня есть свои соображения.

Семейство удивилось, какой отъезд? Ах, командировка. Но он часто ездил, то в Ленинград, то в пределы Московской области, никто особенно не разгорячился по этому поводу. А Василий Михайлович ждал вопросов, — командировка в Глушинск могла обернуться вовсе не безразличной. Как он чужд своей семье!

Зина принялась упрашивать, по ее выходило так, что отец сначала дал разрешение, а потом, по неизвестной причине, отменяет, что это каприз и по отношению к детям не педагогично. Несмотря на выпренные слова, она, видимо, обозлилась всерьез.

Василий Михайлович смущался, выходил из себя из-за этого смущения. Как на грех не подвертывалось ни одного уважительного основания. В самом деле, как толковать, как втемашить им, что фамилия пристающего второй день на бульваре товарища по гимназии Ляскович, и что он ныл о сыне, который учится в музыкальном техникуме и сынка того гляди исключат за малоуспешность. И как, главное, удовлетворительно об'яснить, что ему неприятно, чтобы его дом посетил потомок гимназического товарища.

Василий Михайлович прекратил упрашивания и упреки тем, что встал и вышел из-за стола.

— По какому поводу родитель так взвился? — громко спросил Володя.

3

Глебов долго не мог стихать и в кабинете. Мальчишка музыкант расстроил его больше, чем можно было сначала подумать. Понижая голос, чтобы случайно не перенеслось за стены, Василий Михайлович твердил Ирине Власьевне, которая дотупленно стояла у двери:

— По их — я самодур. Они воображают: я — самодур. Но я не обязан давать объяснения. Ну что она могла в нем найти, ну что? Я знаю эту семейку и породу. (Отец все же заочно объяснялся с дочерью.) Послушайте, ведь действительно странно: ну красив был, щеголеват, ну талантлив, наконец... Ведь он же в консерватории два раза проваливался. Ну, говорун какой-нибудь сверхестественный, я еще понимаю. И где она с ним познакомилась? Это же другой социальный круг! Положим, теперь все стерлось, и я никогда не придавал значения... Но думаешь о близких, поневоле страшно. Когда необъяснимое влечение возникает у молодой девушки к человеку некрасивому, малоуспешному, тускловатому, то тут всякий здравомыслящий отец должен призадуматься. Здесь пахнет серьезным.

В сущности Василий Михайлович раздвигал это происшествие. В квартире он был мнителен. Ямочки на щеках Ирины Власьевны заиграли. Она воспользовалась многозначительным молчанием Глебова.

— Ах, Василий Михайлович, такими мнениями родители и делают молодым людям интерес. — Рассудительная женщина сглотнула что-то еще, более мудреное. — А я так меречаю, если бы что-нибудь серьезное было, Александр Клементьевич вступился бы.

— То-есть? Что это значит? При чем тут Александр Климентович?

Ирина Власьевна зарозовела, янтарные рябинки проступили на щеках, всколыхнулась и сразу стала похожа на отряхивающуюся курицу.

— Василий Михайлович! — и в певучем ее голосе слышалось легчайшее пренебрежение к слепоте, благодаря которой она уже двенадцать лет царевала в доме. — Неужели ж вы из-за своих книжек да чертей проморгали? А я

вог-вот помолвки нажидаю, как по-старому-то... Конечно, Зинаида Васильевна наша скрытна, а от меня в особенности, но я думала, что она хоть вам нарек подает. Да и сам Александр Клементьевич...

Василий Михайлович обвел взором корешки книг, насыщавших его знаниями и пылью. Из-за этого частокола он действительно перестал видеть жизнь, — думал он, — пробавляется мудростью и наблюдениями, которые остались смолоду или перепадали случайно, в отпусках да поездках. Неглупому человеку без особой жадности к повседневной суете достаточно и этого, — до тех пор, пока житейская передрыга, прорвав пелену уютного тумана, не воткнет в такой вот кабинет свою загадочную, востроносую морду. Василий Михайлович отсиживался от перемен. Зарыл голову во флигеле на Спасо-Песковской, малейшее веяние ветра им принималось как несчастье: значит стены не прочны. Впрочем, Глебов полагал, что сознательно ищет уединения, и сознательность должна обеспечивать покой. Она же каждый раз изменяла первая.

— Александр Глезер и Зина. Нет, мне не приходило в голову...

Василий Михайлович вскочил с дивана и встал широко и грузно посреди комнаты.

— Ну, я всегда думал, что он продолжает линию чудаковатых русских немцев. «Русский немец белокурый едет в дальнюю страну». Он мой друг, конечно, и утешение... Но есть наивность и наивность... Нет, для Зины я желал другого. Здесь нужен лед и пламень. Какую ерунду я говорю, но все равно понятно.

Он помолчал и спросил плачущим голосом:

— Неужели она так выросла? Александр Глезер и Зина... Мы стареем, Ирина! Ей было восемь лет, когда вы поселились у меня. Дайте мне туплю.

4

Зине в этот день не повезло всесторонне: кругом наталкивалась на своевольство, препоны и упрямство. Александр Климентович уехал, хотя она просила побыть вечер у них. Какое-то идиллическое совещание... «На совещание, а от нее прямо домой!» — острил он в передней.

Володя, огромный и растрепанный, развалился в кресле, напоминал песчаный холм.

— Полушай, как же быть?—вопросила сестра.—Миша же Ляскович чудный, просто прелесть, как им доказать? Принципиально нельзя уступать. Я не уступлю. Он будет у нас бывать.

Два часа тому назад этот Ляскович, незаметнейший юнец в коротких брючках и стоптанных ботинках, был ей совершенно безразличен. Она и пригласить-то его вздумала потому, что он, не сопротивляясь, барабанил фокстроты. Но теперь Зина скорей дала бы вырвать ногти, нежели созналась бы, что ею руководили корыстные побуждения. Двадцатилетней девушке трудно защищать корысть, не превратив ее в святой порыв.

Брат беззвучно сох. Зине казалось, что кругом степь и надо аукаться.

— Я прав и я в праве,—произнес Володя из тумана, которым его заволокло пищеварение.—Решай и поступай так. Согласие с тобой.

Девушка едва удерживалась от слез. Брат был недосыгаем, как горизонт.

— Аришка чутьем предвосхищает события, сколько тебе долдонить, Владимир! Как она жаждет выпихнуть меня замуж: Папа будет у нее в калоше и под башмаком.

— Я в праве любить свое,—вещал Володя. — Оставь меня одиночеством, Зинаида!

— Надрался и хочешь дрыхнуть! Фу, осточертели твои пророчества! От таких за верстовой столб выйдешь, за собачью будку, за сову!..

Зина во всех комнатах зажгла полный свет. Ирина Власьевна кралась за ней и скелетным треском выключала лишние лампочки.

— Зиночка, — шептала она сладко, — покоритесь вашему папаше. Если он папашин мизинец беспокоит, этот молодой человек, так пусть его и духом не пахнет. Тогда и вечеринку устраивайте, танцуйте хоть всю ночь. Я упростила папашу, после того, как уедет... В маленьком поступитесь, большое обрящете.

Зина прошла в свою комнату, знала что за ней следуют, задернула занавески и бросилась на кровать ничком.

— Да, да! — закричала она, рыдая, — ваша хитрость всегда права. Вы и папу

тем взяли. Он пока еще деспот для нас, силы у него остались, их некуда девать, а вы направяете... Все равно его окрутите. Он старенький, старенький, как бы ни крепился...

В коридорной темноте стоял инженер Глебов. Он смотрел на яркий столб — щель двери — и тихо покачивал головой. Ему хотелось зажать уши.

5

Через четыре дня Глебов под'езжал к Глушинску, где развернулось строительство завода сельскохозяйственных машин — Агромашстрой. Завод расширяли на ходу стройки, комиссия должна была на месте получить нужные сведения. Глебов знал эти места, степные выюги здесь особенно свирепствовали в феврале и марте, морозы — сибирские, скука — египетская.

Поезд шел тихо, как оцупью: дураки, которые утверждали проект (к чему Глебов не имел касательства), как-будто не заметили, что часть заводских сооружений совсем зря спланирована по железнодорожной полосе отчуждения, к стати прихватили полтора квартала Троицкой слободы, — так проект показался некоторым особенно продуманным: ни на сажень, мол, по ровной степи нельзя сдвинуть! Полотно переносили осенью, вагон ощутимо проваливался на каждом стыке. «Вот тебе и японские показатели!» — желчно зудел про себя Глебов. Он отводил душу на железнодорожных беспорядках.

За окнами разматывался бесконечный забор, кое-где торчала недостроенная кирпичная стена или разрушенная изба, валялись кучи щебня и штабеля бревен под снегом — все это предстало невероятно скучным, в скучный уездный утренний час.

Проезжали по мосту через широченную реку. Внизу, по ровному девственному снегу бежали желтые тропы, и тропами шагали из города понурые черные люди, должно быть, смена. Вдали, по правому берегу, катались вагонетки, курчался пушистый парок. С моста развернулся широкий вид на строительство: остовы зданий, леса, тонкий ажур под'емников, кранов, — издали это напоминало вырубленную рощу.

Построили много. Василий Михайлович ревниво следил за успехами Агромашстроя по докладам и сводкам, знал наизусть каждый этап, как знал каждую складку местности (в свое время проектировал он на этих местах большой кожевенный завод, — революция помешала), но тут, во плоти, красные корпуса тянулись сколько хватал глаз, по всему плесу до большой излучины реки, и это никак не походило ни на одну из цифр, ни на одну фразу из сообщений.

И вдруг открылось: слева, по холмам, в дыму утра заблестали белые кубы, увенчанные золотыми луковицами церквей, кружевные башни колоколен, садики, похожие на сгустки облаков, осевших по косогорам. Над городом царил монастырь, он был так красив, что, казалось, можно лизнуть шатровые кровли его башенок, и они сладки. Монастырь обсели кучи деревянных домишек. Глебов вздрогнул, услышав рядом с собою английскую речь.

Мистер Эшли смотрел на колокольни и говорил об искусстве старинного архитектора, который как скульптор лепил свои храмы, без умозрительных чертежей, оттого и получались здания таких изумительных пропорций, хотя и небольших размеров.

Василий Михайлович вез на строительство этого англичанина, специалиста по цементу и строительным растворам. У иноземца был неважный чемоданишко, глядя на который Василий Михайлович каждый раз сомневался насчет ценности мистера Эшли. Инженер Глебов был вещьпоклонник. Он и выглядел в спутнике англо-саксонского только: фамилию да язык. Мистер и в самом деле походил больше на хитрого портняжку, не дурака выпить, с острым утомленным взглядом ч мелкими, как бы действительно шьющими движениями. Нос у него был мясистый, сиреневых оттенков.

Глебову сделалось неприятно, что другой высказал мысли, близкие его собственным, о старинном зодчестве.

— Мне нечего было делать десять лет! — сказал он неожиданно для себя и для собеседника. — Революция в это время лишь разрушала и чинила. Мы так недавно произнесли слово реконструкция. Мне не было поля. — И он без паузы, по странной связи, досадливо

продолжил: — Канонические правила для сооружения этих церквей были направлены на то, чтобы церковь строилась только как церковь и не могла быть приспособлена ни на что другое. Мы очень в этом убедились, снимая кресты и превращая церкви в клубы.

— У вас большое уважение к истории, — изумленно заметил англичанин.

— О, нет. Я презирал всегда ретроспективизм, как любование старинкой. Моя эстетическая концепция вполне уместается в целесообразность. Это не философия, которая мне чужда, а воля к удобству, которая двигает всю материальную деятельность.

— Что ж, это тоже философия: конструктивизм, функционализм.

Глебов обозлился и сухо ответил:

— Может быть. Но я тоже создан по канону прошлого. Мною нельзя забивать гвозди.

Это было подобие стычки и некоторой откровенности. Всю дорогу иностранец изъяснялся осторожно, словно давал беседу в газету. По положению благожелательно пожуривал. Частенько произносил слово «пятилэтка». Находил, что в России строят не там, где нужно, а нужно строить близ резервуаров рабочей силы, которая является основным, экономически решающим фактором производства. Конечно, социалистические города — это грандиозно, это всемирно, но дешевле располагаться около готовых, исторически сложившихся поселений, тем более, что дорогом правом собственности на землю владеет сам строитель — государство.

Василий Михайлович не разбалтывался, но прилично протягивал самостоятельную линию беседы, восхищался Генри Фордом: нейтрально, англичанину должно быть лестно, — хоть наши и жужжат об англо-американском соперничестве, да гений-то в Форде англо-саксонский. Глебов недавно перечитал по-английски «Сегодня и Завтра» и теперь паразитировал на словаре этой книги: давненько не ломал язык наречием туманного Альбиона.

Мистер Эшли находил, что русские вообще не в полной мере используют имеющиеся оборудования и здания (глянули бы они на фабрично-заводские древности в Шеффилде или Манчестере), хо-

тя и сюда вносит поправки «неприивка». Василий Михайлович одобрял фордовскую борьбу с потерями, особенно восхищало знаменитое использование энергии опускающего груз подъемного крана. Так спутники пробавлялись общими местами и изрядно поскучивали. Василий Михайлович утешался приятным ощущением, что с каждым часом каплют суточные полтинники. Недавние спасо-песковские тревоги теперь уж казались не такими непроходимыми, а главное были далеки, как этот Шеффилд или Бирмингам. Почему-то сопровождение англичанина ободряло, словно великая хартия вольности краем древнего пергамента защищала и его, Глебова, от произвола.

В Глушинске гостиницы не оказалось, когда-то была, да заняли под учреждение. Эшли удивился и не на шутку ужаснулся. Глебов злорадно подумал: «Хочешь доллары с нищей страны с удобствами получать, не выйдет, мы свое возьмем!» Приедем на извозчике пришлось переправляться в дом для командированных на самом строительстве.

В лицо бил ветер, размахнувшийся верст на четыреста, и хоть мороз невелик, обозначил ломотой ноздри, рот, надбровные дуги. Лошаденка трусила в инее, как в бахроме. Глебов мысленно подсчитывал, имеет ли экономический смысл по здешним местам и по дороговизне леса строить в тепляках? Ехали уже территорией строительства, полозья скребли по мерзлым комьям. Мимо ползли гусеничные тракторы, запряженные каждый в пять саней с лесом. Лошаденка и ухом не повела на скрежещащее, грохочущее чудовище. «Входит в быт» — подумал Глебов про трактор, даже улыбнулся, представив себе, как задирала хвост такая кобыла год тому назад в близости исполкомовского автограда.

Здесь, где властвовал машинный шум, стук молотков, шипенье, вой пил, скрежет цепей, глухие удары взрывов среди лесов, корпусов, груд материалов, ветер был укрощен. Здесь укрощали степь. В черных недрах кузни шипело адское пламя. Равномерно, пухлыми пыхами кашляла электростанция, пока еще временная. Справа, за толстой водонапорной башней, — форма очень не понравилась Глебову, напоминала отвратительные водо-

качки Павелецкой дороги, — серели кубы силовой, там заканчивали установку котлов, и на-днях должен был начаться монтаж оборудования. Где-то, невидимо и близко, визжал паровоз дековильки. Глебов почувствовал, что и счастье невидимо и близко. Оно пришло бы как полный приступ удовлетворения, если бы Глебов мог чудом охватить все без малого пятьдесят десятин стройки и сказать, как про толстую башню, безвкусный бред гражданского инженера Горбункова, что это все построено бездарно. Но Глебов, как мальчик, — и это ощущение его очень удивило, — терялся среди воплощения столь знакомых ему замыслов. Так неопытный всадник, который долго мечтал о том миге, когда будет укрощать буйного коня, едва держится в седле на тряской и мирной рыси манежной лошади, теряет поводья, стремени, направление. Конечно, столь беспомощной растерянности Василий Михайлович не испытал, и главное: действительность оказалась шире и сильнее и многообразнее любого сравнения.

По привычке беречь копейку несколько напояз, управление главного инженера ютилось в неприглядном доме, — раньше должно быть был постоялый двор с трактиром: низ каменный, верх деревянный. Во дворе закатали какую-то пристройку с плоской крышей, коттедж в манере Корбюзье-Сонье, — от этого смещения трактира и Корбюзье можно было заорать благим матом. Тут и пришлось возражение, которое впоследствии Глебов выдвинул. Аггомашстрой внешней экономией мог удорожить строительство: подготовка и все подсобные сооружения делались наспех и скупое. Пример же Днепростроя показывал, что крохоборство здесь неуместно.

В том же трактирном роде было и общежитие для приезжающих, каморки явно клоповного вида, Глебов смугился перед мистером Эшли. Но тот, видимо, ожидал и худшего, бодро похвастал шелковыми промасленными простынями, с которыми ездят в блохастые тропики, а потом заявил, что лучше навяжется жить пока к американскому инженеру Мак-Мэрри, который его сюда и выписал.

6

В управлении Глебова шумно, — кричал он, видимо, из последнего, такой с кри-

ком и помрет, — встретил Никита Горбунков, больной заместитель Малхасьяна, главинжа. В бревенчатых стенах бывшего трактира, в стойлах-комнатках, разгороженных исконным тесом и современной деловой фанерой, стрекотали машинки, скрежетали арифмометры, пахло военной канцелярией: чем-то аптечным и хорошей кожей. Бежали стройные девушки в плиссированных юбках, это плиссе они, как солдат знамя, пронесли сквозь сражение с бедностью, грязью, захолустьем. Кабинет Горбункова был, казалось, средоточием всех шумов переполненного учреждения, жидкая дверь не закрывалась, пропускала поток посетителей, в комнате работало несколько молодых инженеров. В соседнем загончике непрерывно звенели телефоны, и один и тот же секретарь оспущим голосом, и все же на разные тона, кричал что-то. Для того, чтобы работать в таком шуме, надо, подобно Одисеевым спутникам, залить уши воском и сосредоточить внутреннее и внешнее зрение на целях работы.

Горбунков, маленький, черненький, выпуклоглазый, в толстостеклом старомодном пенсне, был из племени мятущихся интеллигентов в сандалиях. Глебов знал его лет тридцать. Казалось, он и родился в спутанной бороде, в черных нечесаных космах и никогда не изменялся. Этот старый человек кипел какой-то пугающей живостью, и болезнь его, невращения, больше приличествовала бурной послереволюционной молодежи, чем старых традиций инженеру.

Горбунков схватил жесткими ледяными ручками теплую, пухловатую кисть Глебова и загремел великолепным баском с обаятельной трещинкой:

— Милый, приехал, Вася, да как я рад! Соглядатай? Обследователь? Другого бы в зашей выгнал, надоели, а тебе рад... Ну что? Ну кто там?

К нему подступали, отсняв приезжего, вопрошатели, с ведомостями, чертежами, как челобитными, в руках и просто с заботой на лице. Горбунков отскочил в угол и заорал:

— Вон! Никого не принимаю. Десять минут личной жизни, встречаю друга!

Правда, все отступили, мгновенно стихнув, но Горбунков успел сунуть нос в две-три бумаги, и по тому, как он сосре-

доточенно это сделал, Глебов сказал себе, что Никита хитрит и что ему наплевать на всех друзей, когда есть дело. Глебов даже не почувствовал досады, а зависть подавил мгновенно. Из десяти минут не больше семи выпало старым друзьям на междометия и вопросы, и так как всегда при редких встречах принято грустить, то они и пожаловались, не слушая друг друга. Пенсне на переносице Никиты дрожало, но сам он, казалось, отсутствовал.

— Да, я, кажись, болен, — тусклым, безразличным голосом признался он. — Ну, да мы с тобой поговорим вечерком, а не на людях. Чего размагничивать желторотых птенцов!

Он показал на молодых людей, сидевших за простыми столами по-двое, как за партой, и деликатно, дабы не слушать чужого разговора, склоненных в три погибели над ватманом. В доме трещала канцелярия. За подслеповатыми, отекавшими окнами гудело строительство, и казалось, прямо оттуда, минуя коридоры, шагнул парень в оснеженной шапке, в истертой кожаной куртке, шея повязана трепаным башлыком, увидел московского гостя, двинулся обратно, но Горбунков кивнул, чтобы оставался, и спрашивал:

— Так как же, Василий Михайлович, погружать тебя в бумажные секреты? Я начинаю понимать, что ты добрый вестник, и могу сейчас тебя отправить смотреть, что наворотили. Нюхни и почувствуй возможности! Да ты с кем приехал? Мне уж донесли, что вас двое.

Василий Михайлович назвал спутника. Горбунков вскочил с кресла, пробежал по комнате, и Глебов с болью ровесника увидел, что у товарища колеблющаяся походка, опущены, как разбитые, плечи, и безвольно, вне согласия с шагом, болтаются руки.

— Чудо! Наконец-то! — вопреки всему бодро раскатывался басок. — Слышишь, Кокурин, Эшли приехал! Он где? Наверное, к Мак-Меррину пошел. Надо его лицезреть. А тебе что, Кокурин? Ты не знаешь этого паренька, Василий Михайлович? Петю Кокурина?

Глебов взглянул на худое, ободранное, в ссадинах и волдырях лицо и нахмурился. Манеру панибратствовать со всеми подчиненными от мала до велика Васи-

лий Михайлович называл «суворовским юродством». У него была неважная память на лица, и он никогда бы не поверил, что этим недостатком питалась его замкнутая гордость. Парень растянул сухие, потрескавшиеся губы в улыбку и сказал тем же громким и сорванным голосом, который, заметно, был здесь обычным, — впрочем, всегда на стройках горланят.

— Не узнаете, Василий Михайлович? А я ведь, помните, в тресте курьером бегал, полтора года вам пакеты таскал. Да надоело, вот сюда подался, добровольцем.

Пока разговаривали другие, Горбунков ежился в кресле, читал бумаги и черкал на полях в фунт весом красным карандашом. Но как-будто не мог равнодушно слушать и ворвался со своими объяснениями, из которых явствовало, что, конечно, Агроташстрой — фронт и что здесь геройствуют добровольцы, и что сюда по разверстке со всей страны мобилизовали, сообщал про подвиги ударников, среди которых Петя выделяется...

Тут перебил комсомолец, начал спрашивать о том, как же со стеклом, которое прибывает не в срок, раньше задерживает вагоны. Ребята волнуются и предлагают...

Глебов взирал на пареньку и вспоминал что-то потненное и совершенно незначительное (соединялось с летним полднем, запахом вареного асфальта и чаепитием в рабочей перерыв), совсем мальчишка, — существо это действительно разносило пакеты и отличалось от других вежливой, расторопной услужливостью, однако, без малейшего раболепства.

Василий Михайлович громкие слова не одобрял и впадал в свойственную многим ошибку: со слова переносил неприязнь на понятие. Ударничество, производственные коллективы и коммуны, добровольчество, социалистическое соревнование, фронт, — в каком разительном противоречии находятся подобные выпренности с простым, разумным, расчетливым, прозаическим делом возведения стен, установок машин, вообще с производством! Стройку организуют и рассчитывают знание и воля, выполняет сила, которую покупают. Это все.

Он отошел от стола. Неповторимый пейзаж строительства рвался в окно и путал мысли. Как был всегда мил ему этот внутренне строгий беспорядок, эти наметки будущих очертаний, эти стены, незаконченные кровлей, и особенно — причудливый узор лесов. Освобожденное от них, готовое, украшенное архитектурными ухищрениями здание никогда не повторит этой путанной, кратковременной и устремленной к тому, чтобы стать длительной, красоты.

— Вот Василий Михайлович и переведет! — вдруг услышал Глебов.

Ему объяснили, что здесь существуют, среди многих других, курсы усовершенствования («вон Днепрострой-то превращают в строительство-втуз», — ввернул комсомолец) и все передовые рабочие занимаются, хотя бы десятниками, техниками, от заявлений нет отбою.

— У нас товарищ Малхасьян нынче должен читать сопротивление материалов, да, вы знаете, срочно уезжает в Москву. Мы хотим просить вашего англичанина прочесть что-нибудь новенькое, ну докладик, ну лекцию, Никита Алексеевич советует. Может что о раствовах, как он специалист. — И бурые, облупленные щеки подернуло ярко-коричневым.

— Но это неудобно, — заметил Глебов. — Человек, вероятно, устал.

• — Неудобно? — закричал Горбунков. — Кокурин, покличь Мак-Меррина, волоки их обоих! Мы сейчас разберемся. Наш янки-дудль ручной стал и, если надо, даст понять, коли какая неполадка с вновь приедем.

Комсомолец отправился за ручным, а Горбунков хвалил его вслед:

— Малый из первых наших организаторов ударных бригад. Прирожденный организатор. И двуязыльный. Несколько специальностей переменил, бросаем в слабые места. Ты слышал наш подвиг на силовой? Это он собрал двадцать молодых рабочих, и они смонтировали два котла — по два месяца каждый, а умудренные опытом немецкие мастера прославленной фирмы Бютнер четыре месяца возятся с одним. У наших уже приняли и монтаж признали безукоризненным.

Глебов прервал:

— А где Малхасьян?

Никита досадливо всплеснул руками.

— Ах, не спрашивай! Поехал в ОК и в окрисполком. Режет нас биржа труда, понаставила рогаток, ни мы не можем найти нужных людей, ни она. Уж бились и в союзе строителей, и в ОСПС, ну двинули по партлинии.

Начались бурные, шумные жалобы, Василий Михайлович даже с удовольствием как бы переместился в свое бюро в тресте, там обсасывали те же темы, только много спокойнее и с улыбочкой. Но ведь этот всегда был шалый!

Иностранцы явились, поздоровались с приветливостью разных оттенков. Мак-Мэрри оказался седым силачом (что любой мог умозаключить по толстым, красивым икрам в шерстяных чулках), с младенчески румяными щеками и васильковыми глазами. Американец широко улыбался, благоухал, весь сиял: серебром волос, клетками шевюта, чудесными ботинками, зубами в платине, ногтями.

Горбунков ломано изложил просьбу.

— Эта — карашё! — прокаркал Мак-Мэрри. — Нитшево! — прошипел он. — Шикарни.

Янки в самом деле оказался прирученными.

К удивлению Глебова и Эшли сразу пошел на приручение, сказал, что к лекции готов, осведомился об аудитории. Рабочие — он с радостью... Горбунков подмигнул, как-будто угадал мысли Глебова. Тот и в самом деле думал, что такого специалиста учтивее было бы показать инженерам сначала, да будь наш рюсак на его месте, уж он бы нашел предлог с'язвить и уклониться от культурно-просветительной болтовни...

Лекция была назначена на семь часов. Клуб, где происходили занятия, оказался в городе, в бывшем всесословном собрании. Глебов пришел в ужас.

— Ты знаешь, Никита, они должно быть действительно ни хрена не понимают в наших обычаях, — в полголоса заметил Василий Михайлович.

— Прекрасно понимают! Они четко мыслят. И не кипят в котле, а следят за манометром!

7

Эшли читал превосходно.

Уже двадцать минут Василий Михайлович переводил лекцию «Новое в химии строительных растворов» и восхи-

щался выразительной краткостью фраз, точностью изложения, количеством сообщений, при чем все самое сложное выходило простым. Не даром англичане лучшие популяризаторы. Ничего лишнего, ничего ради того, чтобы удивить ученостью и сенсацией. Каждое слово учитывало уровень аудитории без малейшего пренебрежения. Глебов сам следил за западной техникой, и если услышал не много нового, то зато все представления обновилась и получили стройность.

Впрочем, перед началом мистер Эшли сам раскрыл свой секрет и предъявил многоопытность. Он тонко улыбнулся синеватыми губами и сказал:

— Состав моих слушателей очень однороден. Все рабочие, я что-то не вижу ни одного техника, даже преподаватели не удостоили. Доклад у меня готов, я убежу только формулы. Только нации, недавно прикоснувшиеся к цивилизации, выделяют людей слишком кичащихся своей принадлежностью к образованным. Китайские студенты, например, без нужды поголовно носят роговые очки.

Василий Михайлович помнил зал, в котором шла лекция. Здесь много пили в свое время, сутками играли в карты, до отвала ели, до упаду танцовали, при чем телодвижения и наряды были очень смешны. Стены еще сохраняли пятна провинциального шика, какую-то немислимую лепку, золоченые карнизки, медальончики. Чудовищный плафон с плавающими в воздухе булаными нимфами в платьях-реформ пережил революцию. Новый быт повесил пыльные гилянды сухих елочных ветвей вдоль зала, поперек — красные полотнища, он еще не успел «критически преодолеть наследство» и заштукатурить целомудренным мелом купеческие красоты. Вместо кресел и стульев стояли скамьи.

На скамьях плотно, бедро к бедру, сидели слушатели, рабочие, больше молодежь, но случались и бородачи, и внимали последнему слову техники. От них пахло известью, олифой, сырой кожей, овчиной, потом, дегтем, деревом — эти запахи прочно связывались в представлении и обонянии инженера Глебова с жуликоватыми подрядчиками, могарычами, ленью, пьянством и полным отсутствием умственных интересов, — так привык он думать в свое время. Он старался не гля-

дети на аудиторию: вдруг все заснули и потому молчат!

И в самом деле, слушали не кашляя, не сморкаясь, с одинаковым вниманием картавые звуки Эшли и запинаящуюся русскую речь переводчика.

Василий Михайлович переводил. Пахучие слушатели слушали. Эшли бросал отрывистые и законченные фразы, которые, если их понимать, походили на ядра, на ядра крупных, питательных орехов.

В какие-то мгновенные промежутки Глебов успевал заботиться, что в общезжитие придется переть пешком, потому что извозчиков уже нет, а о подводе со строительства никто не подумал, и что ему придется извиняться перед иностранцем, хотя он ни в чем не виноват.

Эшли закончил речь почти на полуслове и как раз в том месте, где обрывались деловые сообщения. Он как-то встряхнулся на рукоплескания, как сеттер из воды, и так же громко, как читал, проговорил, глядя на Глебова:

— Мне хотелось заявить, что я в стране, где диалектика из философской доктрины стала повседневым подспорьем мысли и работы. Мне хотелось бы сказать, что новое растет из старого,—в конце концов и такая банальность достигается только личным опытом. У меня не затуманенные глаза, я сам себе напоминаю Тарзана в Париже. Я сказал бы им, что еще недавно мне довелось разговаривать с русским инженером, который думает, что он обеими ногами стоит в прошлом. А его мнения о своем предмете поразили бы каждого западного коллегу революционностью, в которой мой русский не захотел бы даже сознаться.

Эшли усмехнулся:

— Вы не обиделись бы? Можно быть недовольным излишней быстротой экспресса, в котором едешь, но он все-таки тебя уносит, пожирая пространство. Вот к нам подходит кучка молодежи...

— Вам хочется, чтобы я перевел вашу лирику?

— Да, передайте привет пассажирам!

8

Конечно, пришлось шагать пешком.

Шли горбатыми переулками, под свежее нападавшим снегом, раз'езжались непривычные ноги на скользких местах. Ребята оглашали сонный город криками,

запевали и бросали песни, а один все начинал «Левый марш» Маяковского.

Но вышли на реку и увидели: огромная ночь выдалась великолепной, немutableй и голосом ее не объять. Полная луна высоко и чисто сияла в стоящих слоями облаках, она казалась самым лучшим, самым высоким выражением сияющей снегом земли. Ветер давно стих, мороз был мягок.

Мистер, видимо, усталый, размягченный ночью и чуждой вечностью, ковылял в сторонке. Глебова плотно окружила молодежь, под руку его держал Кокурин. Они намаялись молчаньем, разговаривали все враз и, по-юношески, — на показ друг перед другом. Речи их гремели нестройно, были сбивчивы, резки, но Василий Михайлович слушал жадно, жадно расспрашивал, его перебивали, не дожидаясь конца вопроса. Собеседники напоминали ему охотников, которые вернулись с удачного поля, и каждый выбрасывал добычу и повесть о том, как он ее добыл.

Один хвалился классными ребятами-каменщиками: раньше была норма в двести пятьдесят кирпичей в день на человека, а как соревнование забрало, так к осени выкладывали до пятисот, а некоторые догоняли выше.

Другой (тот, что восклицал из Маяковского) ссылался на арматурщиков: показали немцам, как работать по заготовке и укладке арматуры, вдвое больше немцев давали, а те тоже выгоняли до трехсот килограммов в день.

— У нас на силовой, — говорил Кокурин, — как рассчитывал Мак-Мэрри постройку фундаментов под турбогенераторы, так он по своим американским нормам додул, что построим в пятьдесят пять дней. А наши как давнули что надо, да и сделали в месяц. У нас четыре с половиной тысячи рабочих зимой, а участвует в соревновании три. Ну сезонники — больше рвачи.

Кто-то из толпы кричал:

— А вон как в сборочно-механическом цеху полы настигали, — беда! Внизу смола кипит, а на спине мороз в тридцать градусов. Плитка ледяная, обжигает палец. Ребята, которые обморозились, получали бюллетень, а на работе оставались.

Глебов все порывался спросить: ради чего?

Но ему уже кричали, что пустят три пуха к первому мая, на шесть с половиной месяцев раньше плана.

Все это инженер знал, обо всем читал в докладах, писал сам и частенько проводил где возможно мыслишку (увы, она ему казалась резонной и иногда подтверждалась), что люди на местах хитрят: придумывают сроки с расчетом их сократить при выполнении.

Строительство надвигалось немолчным шумом, биением дизелей, полуваттные лампы фонарей издали серебрили сугробы, широкая тропа разбивалась на рукава, и толпа стала делиться. Прощались, совали необъятные лапы в толстых варежках, благодарили.

Подымались по берегу, в царство яркого, разреженного желтого света, ломаных, разной густоты теней. И внезапно за спиной Василия Михайловича раздался голос Кокурина:

— А вот при социализме я бы устроил так, чтобы месяц светил во всю рожу, как нынче! Всю бы технику употребил на это!

9

В большой комнате углы казались тинистыми. Горбунков по вечерам страдал глазами, не выносил резкого света, а на улице ночью вовсе слепнул. К счастью, он еще мог читать, и весь его ночной столик был завален книгами, журналами. Газеты валялись на полу, на одеяле постели. На просторную комнату-нехватало мебели, как нехватало тепла печи: раздражитель конструктивного француза размахнулся чрезмерным окном, от которого непрерывно дуло. Комнатный полумрак был зачажен смрадом керосиновой печи, но ее дополнительных стараний не хватало. Однако хозяин не зябнул. Он сидел за письменным столом в длинной куртке с мерлушковым воротником, как пришел с улицы. Обстановка его холодной спальни действовала только тем, что он говорил много тише и медленнее, чем на воле, и больше слушал. Василий Михайлович признавался:

— Я их экзаменовал. Откуда у них эта широта взгляда? Мне можно втереть очки, но кто же будет этим заниматься! Раньше был маляр, — он только и мазал краской, штукатур возился со штукатур-

кой, и хоть наторевал в своем деле, зато и ненавидел его. И уж, конечно, не интересовался такими вопросами, как себестоимость сооружения, как его предназначение. А эти... Может быть, это верхоглядь и говорунь?

— Нет, Вася, не верхоглядь. Видишь, человеку, который получил образование до революции, который до революции сложил жизнь и верил в незыблемость пути, теперь многое непонятно и очень тяжело.

Василий Михайлович невесело рассмеялся.

— Да, современная молодежь думает, что городские прямо на улицах секли людей, царских верноподданных, а я, да и каждый, кто не был революционером-профессионалом, был покровителем и соучастником этой порки. Ибо, если я мог получить образование, стало быть я был буржуем, помещиком и в своей латифундии штрафовал мужиков за поправы и бил их по зубам.

Он встал. Картинка на стене в углу привлекла его. Это был скромно окантованный рисунок тушью, архитектурный пейзаж Тома де-Томона, строителя петербургской биржи. Облака над портиком завивались, как бараньи рога. Колонны были так выпуклы, что их хотелось поковырять. Василия Михайловича как в грудь ударили, он удивленно и радостно поглядел на Горбункова («Э, да тебя, брат, хватает обожать прекрасные вещи»), и сразу этот далекий человек приблизился и стал слышен рядом, как будто сидел у него на плече.

Никита ничего не замечал, басил:

— Что же, верно, были соучастники. И мы должны нести ответственность за это. Сомневаются—и правы. Мы получили слишком много благ. За счет других.

— Ну, я не согласен! Я не виноват, что я тогда родился. Я, да и мы оба — старики. Вон моя дочь так находит, а она меня любит, должно быть.

— Старики! — завопил Горбунков, как днем. — Мы старики? Это самовредительство на войне—так говорить.—И он опять перешел на спокойное. — Нет, нет, не надо, нельзя отождествлять житейскую силу с одним здоровьем. Мы—жертвы старого, нелепого, вредного физического и умственно воспитания. Пагубные интеллигентские привычки владели

нами. Мы не уважали тела. А вон, посмотри, Мак-Мэрри, ведь он на десять лет старше нас, а еще играет в футбол, катается на коньках, даже организовал каток при клубе. Мы много и безумно транжирили себя. Но мы ведь еще в здравом уме, в твердой памяти. Подумай, мы сорок лет сознательно мыслим, сорок лет! Никогда я не чувствовал своего сознания таким зрелым, такой способности мыслить широко и свободно, желая работать бескорыстно: не для денег, не для бабы, не для славы. Ведь это стоит дорого, ведь это нельзя оставлять кладом, преступно! Преступно в самой идее, перед самим собой, перед собственной судьбой.

— Ну уж ты заврался! — хотел сгубить Глебов, но вместо этого вскочил и начал быстро ходить по комнате.

— Фу, какой холод у тебя! Можно сидеть только под медвежьей полостью.

Как всякий пожилой человек, Василий Михайлович считал себя более простодушным, чем на самом деле, и выбрал единственную, по его мнению, защиту: противиться всему, что исходило от Горбункова, — его явным словам и тайным замыслам.

— Мы все, которые привыкли работать с косным материалом и побеждать его, слишком самоуверенны, слишком переоцениваем наши силы и думаем, что последние полтора десятилетия не находятся даже в диалектической связи со всеми предшествующими эпохами. Это самоуверенность кустаря, Лесковского Левши. Блоху можно подковать, — а словно в этом все дело! Вот ты мне все: «рабочий, рабочий». Мой отец был рабочий. Но для того, чтобы стать тем, чем я стал, мне надо было всю жизнь преодолевать в себе эти черты человека низового происхождения. Огромные силы души, сознательного и бессознательного, пошли сюда. А ты хочешь уничтожить это благодетельное сопротивление, весь процесс вымывания, «выдавливания раба», как говорил Чехов.

— Ох, Василий Михайлович, ты очень горд! Ты думаешь о себе мудренее, чем следует. Никакой чертовщины в тебе нет, и простые причины могут вызывать сложные последствия. И к тебе есть «рабочий» ход, как ты ни противишься.

— Знаешь, я очень не люблю чтения

в сердцах, — презрительно пробормотал Глебов.

Но Горбунков не слышал и вел свое.

— Старик, ты нажрался яда домашности. Это действует как гашиш, он меняет перспективы, размеры, соответствия вещей. Окна квартиры, как лупы, преувеличивают то, что в фокусе, а все, что вне его, сплывается в какой-то слизи.

— Слишком топорно, Никита. Вообще, что это за мышление: либо да, либо нет! Клянётся Гегелем, а не знает, что во всяком явлении есть и да и нет. Знал я и не любил буржуазию. Но у нее было одно достоинство, она никогда не агитировала. Она не приставала с ножом к горлу: признавай меня.

— Почти верно для русской буржуазии. — Горбунков усмехнулся и закричал: — Был общий враг и у нее, и у нас, у народнической, у социалистической интеллигенции, да и у рабочего класса: царь. Ты мог быть на казенной службе, скажем, на железной дороге, или фабричным инспектором, тебе тонко внушали, что ты попутчик «прогресса», а в это широкое и мглистое словечко и включали главным образом развитие капитализма.

— Все это неглупо и может быть верно, — сказал Глебов, — но в личных беседах я прошу увольнения от политики. И, пожалуйста, не торжествуй. Я уклоняюсь не от бессилия, я просто сам успел кое-что додумать и затвердить крепко.

Василий Михайлович стоял у окна. За холодными стеклами в молочной ночи ярко горели фонари, дышало и гремело строительство глуше, чем днем, непрерывно, как живое существо. После длинного молчания Горбунков сказал деловито:

— Слушай, Василий Михайлович, и попробуй отнестись к моему предложению возможно серьезнее. Я им подытоживаю весь разговор, хотя тебе вероятно кажется, что он не имеет итога.

— Ну, ну, опять сердцеведение!

Никита только махнул рукой.

— А предложение это такое... У нас расширяется, усиливается, выводится на первый план отдел рационализации. Подпирает снизу, дорогой. Я сейчас откровенно тебе секрет сравнением. Ведь и в наше время студент-выпускник, преус-

певающий инженер или адвокат, чиновник на под'еме карьеры, давал перво-классную работу по количеству и часто по качеству. Так что ж ты посмотрел на меня удивленно, когда я сказал — подпирает снизу? Они молоды, они берут под'ем, и у тех, кто чувствует и сознает это, силы удесятерены. Наши собственные дети не всегда так чувствуют, они мне напоминают цветы в засохших семейных альбомах.

Глебов даже вздрогнул и защитился насмешкой:

— Да ты поэт, Никита Алексеевич!

— Ну так вот, — продолжал Горбунков, — рационализация — твой давний интерес, можно сказать всегдашний. Оставайся и бери бразды.

Он утомленно откинулся на стуле, снял пенсне и положил руку на лоб. Веки у него были выпуклые и почти черные. И все лицо — серое с черным. Глебов глядел на него и едва справлялся с потоком гнева. Поток был сложен и многоструен. Прежде всего, предложение было унижительным: бросить трестовское бюро и перейти на такое же бюро строительства, во-вторых, оно затемняло интригу именно грубостью хода, — так опытного шахматиста сбивает дурачок движением, слишком нелепым. К тому же Горбункова нельзя и почесть за дурачка, — столько преимуществ давало ему положение у кормила большого предприятия в споре с заезжим одиночкой. Он и говорил неглупо, а за него, кроме того, визжат пилы, пыхтят дизеля, копаются экскаваторы, и тысячи рук работают за правильность его позиции в распре. И подобно тому, как мальчишка, побежденный старшим братом, прежде всего пресекает всякое тождество с победителем, грозя ему вслух или про себя кровавым пожеланием, — так и Василий Михайлович, глядя долгим взглядом в серое с черным лицо, сказал себе: «Ну, нет, сначала сдохнешь ты, а я останусь на твоём месте, и на меньшем мириться мне нет смысла: всего только второй заместитель».

— Так как же? — спросил Горбунков.

Глебов молчал.

— Так как же?

— Я подумую, — ответил Василий Михайлович. — Хоть у вас и американские темпы, дай два, три дня.

Ему показалось, что он этой уверткой избегнет расставленной сети. Нерешительность, обычно ему вовсе не свойственная, искала отсрочки. Детская вера во всемогущество завтрашнего дня заставила сказать:

— Вероятно, я отвечу утвердительно.

10

Прошла добрая неделя, а Эзенгардт все слал телеграммы, в которых менял сроки от'езда комиссии из Москвы. Глебов работал спр'охвала и в управление приходил часам к одиннадцати.

Молодой человек остановил Глебова в коридоре управления приветливыми и наглыми восклицаниями:

— Кого я вижу! Василий Михайлович! Я только-что из столицы, где и получил сведения из первоисточника, что вы в наших палестинах. Я ведь имел особое удовольствие видеть вашу семью. Зинаида Васильевна как всегда покоряет и спит. Володя мечтает и мыслит, следовательно, существует.

Глебов глядел в рытое, желтое личико, успел изучить причёску: вся голова голая, на маковке густые, толстые волосы ежиком, усвоил покрой и колер заграничного костюма: пиджак оливковый, брюки светлоглоубовато-серые, форма пиджака рассчитана на атлета, грудь раструбом. Галстук походил на флаг косыми, широкими, резкими полосами... синими, красными, желтыми. Галстук выбивался из волнующей догоса выреза. Василий Михайлович до преклонных лет сохранил интерес к модам в одежде. Он рассмотрел щеголя и наконец обозлился. «Можно, оказывается, быть одновременно и шимпанзе и Нарциссом!»

И хоть приметная личность — никак не мог припомнить, кто это. И тут же, по старческой ревности, примерил к дочери. «Нет, эта обезьяна во всяком случае не опасна. Начисто перевелись опасные молодые люди».

В деловых заботах Агромашстроя Василий Михайлович забыл (в Москве не забыл бы: там он жил в приглядку и в прикидку, с расчетом), что все относительно, что у каждого поколения свои вкусы на внешность и обращение и никогда никто из старших не может навязать младшим свои пристрастия и опасения.

Молодой человек павлиньим криком оглашал коридор. Он верещал что-то о маленьких детях и маленьких заботах, о больших детях и больших заботах, роптал на перегрузку, воспевал семейный самовар и, обладая способностью возбуждаться общими местами, воображал себя необыкновенно почтенным, многоопытным, прямо в львиной седине.

— А я вам привез письмо от вашей обаятельной дочери.

Длинный, узкий конверт оказался тяжелым как бы от заключенной в него влаги. Он был измят, плотная, как береста, бумага пошла неровными и глубокими морщинами. Все сгибы засалились, пакет казался захватанным потными лапами, растушеванным грязью. От него и пахнуть должно было бы капустой, но омерзительно разило мужскими духами. Глебов брезгливо взвесил на пальцах и повертел письмо. Молодой человек смущенно взирал на движения большой, белой, хранимой от нечистоты руки.

— Благодарю вас, — сказал Глебов и прошел в кабинет главного инженера.

Письмо он прочитал только вечером. Оно поразило его слабостью и убожеством, горе дочери искало голоса беспомощно и жалко. Так глухо и безжизненно звучат слова обученного произносить их глухонемого, который не слышит ни себя, ни тона собеседника. Вот она хваленая полная свобода личности! Этот глухонемой отторжен, отъединен от окружающего, от говора людей, от влияния всех шумов, от подчинения голосам, его голосовые связи предоставлены своей воле, он обречен не слышать, не поддаваться слухом обществу — и что же! Музыка жизни, музыка толпы, музыка беседы, наше взаимное подчинение друг другу оказываются прекрасными, и тот, кто не подчинен им, — безобразен. Зина, когда писала, вероятно, думала, что выражает себя непринужденнейше, — и в самом деле, ей, не прочитавшей ни одной книжки, все усвоившей с голоса, в воздухе образованного дома, так легко казалось бы, остаться самобытной. А между тем лепет ее каракуль походил на такие же признанья любой белошвейки. Василий Михайлович понимал, что воспринимает лишь внешнюю оболочку письма, что его оценок хватает только

на недописанные слова, беспомощные знаки препинания, редкие и в каждом случае неуместные.

«Папочка, нет, лучше отец! — писала Зина. — Мне не хотелось огорчать тебя, все думала, что обойдется как-нибудь. А между тем излиться необходимо и некому признаться. Ирина Васьевна будет только жалостливо издеваться, а Володя еще мальчик, да и никакой мужчина кроме тебя не поймет.

Папочка, мне страшно, потому что я беременна от нелюбимого человека. Не хочу называть ненавистного имени, оно без того тебе известно. Мне страшно, надо делать операцию, а нет денег, у него я не хочу брать, не хочу его видеть, не хочу выходить за него замуж. Конечно, я взрослая и понимаю, что надо выйти замуж, но только не за..... Я хочу только одного, быть чистой девушкой, какой я была полтора года тому назад, когда любила только одного папочку. Папа, приезжай домой, я хочу тебя видеть, чтобы ты был здесь и мне не будет страшно. И пришли, пожалуйста, сто рублей я не хочу делать операцию в плохой дешевой лечебнице.

Но выходить надо. Ты удивишься. Податель сего инженер Валасик, Виктор Павлович, оказался моим избранныком.....»

Василий Михайлович все не мог дочитать письма до конца, доходил до этого сообщения — и поток внимания иссякал. Смутные, как всегда о доме, мысли останавливали его. Оказалось, у его дочери есть лишь поверхностные навыки жить в цивилизации: она умеет чистить зубы, холить ногти, менять белье, ценить материи и фасоны, а еще что? Он начинал письмо сначала, добирался до денежной просьбы и сомневался в искренности всего предыдущего.

Поздно ночью он явился к Горбункову.

— Бригада Эзенгардта приезжает завтра, — сказал Глебов. — Я подаю ему как члену правления заявление, что добровольно остаюсь на строительстве. Ты победил, Галилеянин. Фу, как старомодно, — прервал он сам себя. — Я как бы не слышу своих слов. Не слышу, не в тон... Но мысли у меня правильные.

Вступившие

Очерк

А. АЛЕШИН

СССР вработывается в социализм. Мощным напором продвигается наша страна на передовую линию человечества. Это вдохновенно и захватывающе, как идея полета на Марс.

За год вступило в партию 750 тысяч человек. Это колоссальное явление можно объяснить лишь тем, что сочетание стремительных деловых темпов с житейской прочностью сделанного дает трудящимся столь же прочную, растущую веру в могущество наших дней. Рост сил прямо пропорционален размаху строительства. И сколько бы их ни потребовалось, они придут из резервов рабочего класса, из круговорота жизни. Таков закон диалектики.

Нет возможности написать армию партнобранцев во всеобъеме, да и кто решится писать галерею портретов в количестве 750 тысяч? А вскоре их будет миллион, и притом людские облики меняются. В партии новобранец скоро перерастает в зрелого бойца, боец — в командира: идеолога, организатора, хозяйственника, культурника... Литературе трудно успеть за уловлением этих изменений, за отражением полнокровного пульса наших дней.

А успевать необходимо... необходимо показать всех лучших бойцов пятилетки, всех, кто мышцами, нервами, взгоряченными клеточками мозга утвердили сознание быть впереди, с партией, в партии. Воспитанные в борьбе, в ударничестве, в соревновании, — идут в партию рабочие, колхозники, специалисты... Посмотрим их лица.

* * *

1. Секретарь парт'ячейки «ситцевой» С-го комбината, расторопный рабочий с хлопковой сединой в волосах, повел меня к месту, где расположена гордость комбината полотняная заварка, или «мокрый цех». Помещалась ячейка возле уборочной палатки, где жарким, многоцветным летом пестрели груды готового ситца, — и потому казалось, что путь от ячейки до «мокрого цеха» — постепенный скат от лета в сырую, грязную осень. Но для секретаря, видимо, все выглядело в обратном освещении; по-крайности, с приближением к заварке он оживлялся и раскручивал жестикуляцию:

— Ребятки там во! с ногтя! Наперкор всем условиям! Группорг там старый, с 23 года, но главная пружина — бригадир Мосолов. Доброволец Красной армии, на всех фронтах дрался, трижды ранен, имеет почетную грамоту, но с виду вы и не представите, что перед вами — герой. Жалко, глаз у него...

— Товарищ Павлов, зайди-ка к нам! — загребистым жестом пригласила секретаря маленькая, пожилая работница. Мы были в шивалке, где приземистые, от старости облезлые «зингеры» состегивают полотняное суровье перед заваркой. Работницы обступили Павлова и посыпали заявлениями. Он стал им разъяснять, — значит, на четверть часа задержка. Я подошел к доске соревнования, где узел цифр, ежедневно завываемый по-новому, держал, не сдавая,

трудовую волю фабрики. На сегодня я угадал к оформлению этого процесса.

Сухой, бледный, словно сто раз стиранный, табельщик шаркал по доске мелом, перенося на нее цифры из вчерашней ведомости, отступал, не веря написанному, и ворчал, не стесняясь моей близости:

— 97,3... Скоро сто... Хмм! Удивление — и только. Черти что ли им там подмогают в ихой бане?!

Павлов отделался от сшивалок и по пути пояснил, что и минувший его разговор, и ворчание табельщика — ежедневное, заурядное следствие невероятных темпов, взятых бригадой «мокрого цеха». Заварка — начальный процесс ситцепечатания многих сортов — ведет фабрику, задает тон, командует. И никакой другой цех не осмеливается заявить формально, что идущая от «мокрого» зарядка тяжела, ибо условия труда в «мокром» поистине варварские.

По каменным, мрачным лабиринтам, мимо скользких, захватанных десятилетиями протенков, по лужам воды и краски проходим мы и, наконец, добираемся до «мокрого». В раствор двери рванулось и ударило в ноздри проскипидаренное тепло. С непривыку оно хмелем кружит голову и до слез ест глаза. Стены в плесени. Окна мокры и грязны, и скорей с'едают свет (в полдень здесь горит электричество), нежели дают его. На асфальтовом полу, как на палитре, подтеки красок всех цветов. Густой, как сметана, туман мотался по корпусу. Из тумана выглядели абрисы стареньких, полукустарных заварок, «джигеров». Ручьи ремней от наивной трансмиссии и невероятно подвижные люди рвали туман... Если бы не скоргочущий гул, не суетное движение заварщиков, все бы здесь выглядело видением и кошмаром.

По валам бежало в джигеры полотно и полоскалось в них с шумом гусиного стада. Вбегало натуральное, выбегало цветным однотонком. Эта примитивная полоскотня, обставленная в полуподвале, в сырости, в удушье, при помощи деревянных, схожих с квашнями, станков — проклятье, обязательное для каждой ситцевой капиталистического типа фабрики. Не верится, что такие

цехи проектировались нормально. Здесь больше издевательства над человеческим трудом, чем здорового, практического смысла.

Возле среднего джигера Павлов остановился и заколебался — отрывать или не отрывать от дела человеческую фигурку, крючком загнутую в заварку?.. Надо отрывать.

— Вот сам бригадир, товарищ Мосолов! — значительно, как водитель перед знаменитой картиной, сказал мне Павлов. Бригадир протянул мне вареную, крашеную ладонь и пригласил для разговоров в табельную. Скоро в моем блокноте улеглась стереотипная, но тем и значительная биография бригадира...

В 14 лет он осиротел. В ту пору отец его, рабочий, был рядовым пехотного с трехзначным номером полка и погиб в Добрудже за чужие интересы. Мать не перенесла операцию грудного рака. Остался мальчишка на попечении снохи-солдатки. Жадная, мелочная бабенка, она держала его впроголодь. Все его помыслы сводились к пище. Собачья жизнь!

Однажды он взял без спроса кусок пирога. Сноха гналась за ним по заулкам рабочей слободки, настигла и с волосами вырвала кусок... Вечером с отчаяния он убежал из дома.

Сначала нищенствовал, затем приютился в казармах запасного полка. Помогал конюхам, прислуживал в швальне, добывая кадровым унтерам кумышку в деревнях и у мешан, за это получал обноски из цейхгауза и остатки из ротных котлов. В февральскую революцию пастушествовал в деревне, но — несчастье — утонула корова в болотине. Без расчета, без вещей бежал в город и жил с братом, вернувшимся с фронта.

Те же попреки безработицей, куском, — будни, наращивающие злобу против всего на свете. Хотелось мести, так хотелось, что вскипало в груди и слезами пенилось наружу... В 17 лет он стал добровольцем, трубачем, бойцом красногвардейского отряда, сформированного в Ив.-Вознесенске. Читал нараспев брошюрки: «Со-вец-кая власть при-зывает ра-бот-чих к защите октябрьских завоеваний». Ходил с задраным козырем, матюкал святыню и

все обиды стянул в одно: «Бей буржуев!»

В 17 лет он выглядел мальчишкой, но над носом винтовочными козлами стояли морщины, а глаза, сухие, недоверчивые, выражали готовность делать, — что-нибудь делать, лишь бы не сидеть. Ему, пролетарию-одиночке, солдату революции, самыми дорогими понятиями стали «диктатура пролетариата», «советская власть». Он сознавал себя частью этих понятий. Они звучали в трубе, в сигналах сборов, обедов, поверок; их музыка его окрыляла, их смысл поднимал его выше обычного роста: аршин и десять вершков. «Товарищ-командир» заменял ему родню.

Под Ярославлем в дни перхуровщины его ранили в ногу. Месяц лечения — и под Уфу... Затем его крик был слышен на галицийских полях: «Даешь Варшаву!» Вместо Варшавы, получил пулю в бок, в мякоть. Вылечился и уже в конце войны, в борьбе с бандой «зеленого» прощальны получил увечье на всю жизнь.

Пуля вошла в глазницу и выскользнула в ухо. Небрежная операция стянула кожу лица в сторону. Негаснущей звездой горит на левой половине его лица шрам.

В 20 лет хочется быть красивым, любимым. Но не припилишь к блузе почетную грамоту, да и какая грамота возместит в глазах девушек убожество лица, хотя бы это лицо и было испорчено в боях за революцию.

Захандрил парень, стал попить... и как знать, до чего скатился бы он в разладах с действительностью, если бы в рабочей общественности не привилось новое, что восстанавливает в человеке бойца.

«Ударники. Социалистическое соревнование» — слова, вздымающие образы боев. В годы после демобилизации, в мирные фабричные годы, ничто не разбавило, не фальсифицировало в Мосолове пролетарскую закваску. Одно твердое, командное движение извне — и она забродила, запенилась. Директор и отсекр партийного коллектива, как прежде командир и комиссар, объявили смертельный бой прогулам, простоям, разгильдяйству. Мосолова зовут биться с

врагами в мирных, бескровных цехах... Тем лучше! И снова задран козырь. И снова знакомое, с приятной дрожью вырывающееся: «Даешь!»

Бригада Мосолова не раз качалась в развал. Туман «мокрого цеха» разжижал сознание бойцов. Избитые джигеры всаживали в их руки занозы. Катки поминутно выскакивали из расхлябанных гнезд, суровые путалось... Никто из бригадников не знал, что Мосолов дважды в смену, запершись в табельной, меняет повязку на боку, на размокшей ране...

Пожилой Гоздов через неделю ударной работы ушел по нездоровью — и вот уже он на правой стороне корпуса, с одиночками. Колебался нервный, задиристый Ремизкин.

— К чорту так работать! Что нам два куска против других требуется! На сухих цехах гуляют, а мы здесь за чего будем загинаться, скажи?.. Несчастных рукавиц, и тех не дают, не говоря уже о бахилах... Отказываюсь от бригады!

Мосолов утыкался в Ремизкина единственным, двуэнергичным глазом и говорил сухо: — Можешь. Не держим. Только для официальности оформления изложи письменно... Можешь итти к одиночкам, а мы будем продолжать бригадой.

Пауза. Вздох. Заминка...

— Вот что я тебе скажу, Васька! — Мосолов забирал высоту. Шрам его шевелился особняком от лица, словно намеревался улететь в туман заварки. — Мы бьемся за новые джигера и за переход в новый корпус. Он уже строится, и надо потерпеть. Я знаю твои намерения: «Вырвусь из заварки, урою — и концы. А там — пусть плавают!» Верно?... Но это не есть выход. Ты уйдешь — другой заступит, и будет страдать, как ты страдал. И он сбежит, и так будет эта волюнка без конца. Надо добиваться ухода всем цехом через ударность... А годами ты не кидайся. Что ты на производстве с 20-го года — это мне холостой звук... Гляди! гляди! путляет! — и они попрежнему набрасывались на груды суровья, набежавшую в джигер. Они шуками ныряли в джигер и спешно, ничем не мешая друг другу, восстанавливали процесс заварки.

Вылезали мокрые от пара и собственно-го пота, утирались рукавами. Мосолов смотрел на Ремизкина, подмигивая ему (при одном глазе это выходило у него ловко) и приказывал итти к группе подведомственных аппаратов...

Таков бригадир, ударник Мосолов Иван.

Одежда его, мокрая, футлярно стоячая брезентовая пара, ничем не отличалась от одежды бригадников. Лицо измазано в красках и напоминало чорта в старороссийском, натисканном для деревни лубке. На прощание он попросил секретаря: — Товарищ Павлов, подтолкни там насчет рукавиц. Есть ведь на базисном складе, я спрашивал... Какого чорта! Из-за пустяшного дела идет недовольство, беспрестанная трется вольника. Свою норму мы не сдадим. Как сказал — сто процентов, будь уверен. В клочки зарвусь...

— Ладно, ладно! — Павлов похлопал бригадира по плечу.

— Ты не ладь, а наладь...

...Еще до замены джигеров, до перехода в новый корпус, пришел Мосолов на собрание парт'ячейки «ситцевой» и, не сядясь, сказал: — Здравствуйте, товарищи. Прошу сегодня принять меня в партию.

Заявление было необычно в смысле формальном, но по существу неоспоримо. Его приняли без письменного заявления. Ячейка согласилась быть ему коллективным рекомендующим.

2. В ноябре, когда уже укоренилась зима, жакт пополнился новыми членами, рабочей семьей Петровых. Они самовольно заняли ветхий, запрещенный к заселению флигель. Старые жактовцы недоумевали. Председатель жакта, пожарник Палтусов, пытался применить к новым жильцам, по его выражению, «меры офоциальности», но получил отпор.

— Товарищ, ты имеешь площадь? — независимо, с сухой хрипотцой спросил его молодой Петров, мужчина саженного роста.

— Это не вопрос...

— А все-ж-таки?

— Имею.

— А я площади не имею, хотя тоже — рабочий. Почему тебе и говорю: живи, а до других не мешайся.

— Я обязан мешаться по инструкции... А вдруг вас задавит — кто будет отвечать?

Петров говорил издевательски спокойно: — Свой срок простоят. И не такие утесы грозили, а все-ж-таки — выбрался.

Палтусов замолчал, но в прописке Петровым отказал решительно. Жили они неофициально.

Обывательская часть жакта рассудила: если рабочие Петровы лезут в развалину, на гибель, значит за ними водится неладное...

Прошло полгода, и никаких особых признаков Петровы не проявили. Молодые Петровы ходили на фабрику, на рынок, в кино... рабочие, как рабочие. Сдержанно здоровались с соседями, на собраниях жакта (через месяц Палтусов прописал их) высказывались и как-то скромно, но твердо настояли выселить из жилой жактовской зоны контору артели инвалидов, владеющей близости кондитерской. Контора превратилась в новое, безопасное жилище Петровых, — и это было кстати: через неделю после переезда тяжелая труба флигеля без всяких внешних воздействий упала и с легкостью снаряда пробила его гниль до земли...

Петровы обжились в жакте. Старуха Серафима, неимоверно толстая от болезни шитовидной железы, горой каталась по двору — от квартиры в погреб и обратно. Старик Петров снискал великую любовь у жактовских женщин и молодежи. Добрейший человек, он мастерил струнные инструменты. Скрипка его работы походила на совок, гитара на лопату, балалайка на речной бакен, при чем и звук инструментов до удивления странно подменялся: балалайка издавала звуки скрипичные, гитара жундела неотличимо от балалайки. Молодежь, покупавшая инструменты, не придавала этому значения. Был бы звук, а какой звук — об этом покупатель, получающий за рублевку настоящую, полнострунную гитару, не спрашивал. Тем более, что дедка-музыкант (так прозвали старика в жакте) за эту же цену обучал покупателя обращению с инструментом. Вечерами на крыльце, как ястреб среди куропадок и воробьев, горбился долговязый дедка среди жен-

щин и молодежи, жундел на гитаре и подпевал:

Ай, девочка, кофта беда,
Вечерком притти велела,
А другая голубая —
Про нее слава худая...

Дедка-музыкант в поделке инструментов был очень производителен. Все ребята, не моложе семилетков, обладали инструментами «свойской работы», и летними вечерами жакт гудел музыкой, как филармония.

Петров-сын относился к отцовским затеям со снисходительной иронией: «Чем бы дитя ни тешилось!» Для жактовцев он оставался загадкой. Его лицо, чуть тронутое оспой и начисто бритое, было замкнуто. Черная кепка крючком задевала свислый, утесистый лоб. Ворота пальто постоянно отогнут. Даже в молчании он выглядел внутренне сильнее любого из мужчин, проживающих в жакте. Было досадно, что расходует он себя на серые, тошные ему будни таскальщика при льноскладах.

И вот Петров прорвался.

Трестовская ревизия обнаружила в льноскладах крупную недостачу волокна. По одной версии, недостача была следствием обычных недостатков... По другой — следствием просчета от повышенного потребления волокна фабрикой. В день, когда предварительные результаты ревизии были напечатаны в газете, Петров пришел домой пьяный.

Он не шумел, как бывает с большинством захмелевших рабочих, он спокойно метался по двору, задерживал знакомых, пугал их кровянистыми, готовыми лопнуть глазами...

— Вы можете меня извинить?.. Я вас прошу?!

Знакомые охотно его извиняли в силу обычной уступчивости пьяному и еще потому, что Наталья Петрова в пять минут обежала жактовцев и умоляла не прекословить мужу.

В тот день беспокойная сила занесла Петрова ко мне. Он бродил по квартире, одетый, в кепке, словно в сарае, и извил:

— Буфет... Диван... Качающая мебель, буржуазная мечтаемость... А предлагается коммунисту увязать в подобных вещах? Настоящий коммунист должен быть необитаемый... Он должен

иметь вот!.. вот!.. и вот!.. — Петров потряс лацкан своего пальто, постучал себя в лоб и указал на стопочку журналов, принесенных почтальоном. — И больше все!!

...У нас жуликов замаскированных разных... карьеристов — целые дивизии, а честных нема. Может, и вы из таких, это я прослежу... Есть один честный у меня на виду — мой старик, но это — стертая лямка, блажен муж... Скажите, почему я должен страдать за халатность других? Если ты заведующий складами и не можешь управлять — уйди... Уйди сочувственно, но не допускай позорения на весь коллектив! Правильно я говорю?..

Говорил он много и бестолково, прыгая с предмета на предмет. Накопьте дерзости, преданности, уверенности, исканий, правды и искажений, — ее нельзя было систематизировать, вправить в русло плодоговорного разговора. Но все же Петров ушел несколько успокоенный.

После дня два ходил он иззеленабледный, еще больше закутанный и нахлобученный. Затем совершенно неожиданно встретил я его в редакции газеты. Он был бодр и прям. С застенчивостью «начинающего» подал мне «авторский» номер газеты.

— Начинаю рабкорить. Одна заметка прошла. Исказили отчасти размер: я подавал на двух листах, а вышло только полстолбика.

Заметка гласила о беспорядках в льноскладах и была подписана похоже на автора, решительно: «Матвей Петров».

После мы встречались почти ежедневно. Или он приходил ко мне за консультацией по части содержания и стиля заметок, которые он творил (для полуграмотного, закрученного вихрем общественности рабочего это было настоящее творчество) с упоением. Или я заглядывал в квартиру Петровых, опрятную, светлую от новых обоев, нарядную от изобилия репродукций по стенам, — портреты вождей, АХР, военный лубок, — похожую на гизовский киоск.

Матвей рьяно распространял газету в жакте и среди знакомых рабочих. Матвей стал активистом. Но в нем ничего не было от активиста «постольку-по-

сколькx». Он захватывал людей твердостью, любовью к начатому делу. От него нельзя было уклониться, отвертеться, спрятаться за безденежье, загруженность, неграмотность и прочие «причины».

Подобно тому, как дедка-музыкант развел в жакте поколение музыкантов, Матвей развел племя стенкоров в организованной им стенновке «Красные ступеньки». В первом номере редактор Матвей отвел достаточное место своему родителю. Дедка-музыкант был изображен с конечностями из балалаек, с лицом — гитарой; ниже карикатуры пояснялось, что большинство репертуара дедки-музыканта вредно с идеологической стороны.

Как кочан после дождя, развернулся Матвей в новой жизни. Он вздымал общественность, общественность вздымала его. Стенновка, красный уголок, жактовский огородик, радио, продвижение займов в среду домохозяек... было удивительно, сколько полезного может сделать один действительный активист!

Даже на работу ходил он с книжками, держа их переплетом кверху. Завел светлую кепку. Репсовая рубашка была туго наутюжена по воротнику, и это импонировало напористой прямоте Матвея. Он учился в политсети, слушал рабкоровский семинарий при редакции, читал дома, — от чрезмерной умственной загрузки лицо его осунулось, но прояснилось, засветлело, будто тронули его слегка беллами. Жактовцы звали его почтительно «Матвей Васильевич» и гордились, что «подозрительный человек» ударился в учение и пошел, пошел...

— Учишься?

— Приходится. Что с молодости упустил, то в настоящий момент... туговато. Да ничего-о! Десятичные дроби, например, мне теперь, как дрова: колю и складываю... Напиши-ка нам в стеннушку рассказец какой, для поддержания марки...

Весной он был командирован в Москву вместе с рабкоровской делегацией для встречи А. М. Горького. Возвратился с такой выпренной твердостью, с таким апломбом, что, казалось, кооптировали его в правительстве или начал он счастливо писательский путь. На во-

прос, разговаривал ли он с Горьким, дымнул неторопно папиросой, поднял брови и ответил:

— Обязательно! Очень он мне понравился. По личности видать, что тоже из низшего класса пробился. Говорю ему: «Дорогой Алексей Максимович, желаю вам от числа рабкоров...» Пожимает мне сильно руку и говорит: «И вам того желаю». Затем — на автобус, в столовку и так далее.

Еще до поездки в Москву Матвей вступил в партию. За компанию с ним вступила и жена, худенькая, хмуроватая ткачиха. Они неразрывно ходили на работу, на учебу, одетые с подчеркнутой опрятностью. Дедка-музыкант на крыльце уже не выступал — убрался с инструментами в сарайку и там, чтобы не компрометировать партийных «молодых», жундел в полтона. Даже толстуха Се-рафима переменялась: стала важнее и по пути в погреб вздыхала просто, без всяких старорежимных «о-гос-споди».

Однажды я встретил Матвея возле пивной. Его вела оттуда Наталья. Крайне смущенный, он задержал меня для извинений и тактических переговоров.

— Извини, ей-богу... Так... непредвиденный загиб. Сознаю, ну, делать нечего: и поезд воду берет... Конечно, между нами, это в последний раз... Без шума, вполне идеологично...

Даже пронырливые жактовские старушки не углядели «загиб» Матвея. Жизнь его попрежнему продвигалась плодотворно, и вдруг — удар.

Примерно за неделю до этого по утрам я видел в окне Петровых чужое, жирное бабье лицо. Оно зевало в солнечность утра и закрепивалось щепотью. Новое явление!..

Легкий на слово музыкант не без хвастовства открыл секрет: — Гости. К Наталье сестра приехала с мужем... свикулянты из Мантурова, бога-атые! Учорась сахару закупили пудов 30, седни за мануфактурой пошли... Сё покупают и покупают, полон чуланчик наклали товару. Ко мне в сарайку просятя, а у меня порося, да постель, да музыка... некуда!

Родственники Петровых вместе с багажами, накладными пассажирской скорости и другими спекулятивными аксессуарами попали в «гости» в соответ-

ствующее учреждение... Матвей Петров в один день лишился и кандидатского, и рабкоровского звания. Газета, некогда вдохнувшая в него новую жизнь, теперь обрушилась на него нещадной заметкой: «Помощник классового врага».

По сути в поступке газеты было много непродуманного, сенсационно-скороспелого. Потому удар этот и не сшиб Матвея. Он глядел на происшедшее через свою правду. К тому же прочным фундаментом служило ему приобретенное в общественной работе, в учебе, в книгах. Это я понял из беседы с ним в день, когда отобрали у него кандидатскую карточку.

— Не упаду... Я свою точку имею, а в остальном наплевать!.. Судьба, должно, такая или своя оплошка?.. Понимаешь, не придал я тому факту, ну совершенно не думал, что так все обернется. Приезжают, здоровкаются... родные. Живут день, другой, угощение ставят от себя, но я в силу одного воздерживался. Теперь хоть с этой стороны у меня совесть чиста!.. Конечно, кабы знато, не только в квартиру — на улицу бы их не пустил!.. Да-а, значит, еще во мне недостаток воспитания, в политике значит еще не того... не совсем... А, да начхать на все. Переживу.

Воротник у пиджака отогнут. Светлая кепка смята, крючком зацепила лоб. Рослый 35-летний рабочий топчется и мигает виновато, как наказанный малыш, и, как ничем другим на свете, дорожит внешним сочувствием, пониманием.

Он проговорился о намерении развестись с женой, считая ее родственные симпатии виной несчастья. Вина явно косвенная, и я с трудом доказал ему, что Наталья пострадала от родственников (ее тоже исключили из кандидатов) не менее, что благоразумно будет пойти в ячейку и с самодоступной искренностью изложить историю с гостями.

— Попробую, да только навряд... Крепко застучался. А момент теперь такой: борьба, наступление... Не простят. Работать теперь охота, веришь?.. во! — сморщился и глотнул, обжав ладонью кадык. — Ладно!.. Пока!

От его рукопожатия у меня хрустнуло в плече.

Месяца через два он был восстано-

влен, но Наталья так и осталась вне партии. Через полгода, уже в другом городе, прочитал я в комплекте знакомой газеты заметку за подписью «Матвей Петров» и не понял, почему Матвей пишет о деревне?

Дела сложились так, что заглянул я в знакомый город, в знакомый жакт. Все было по-старому, исключая бревен, привезенных для ремонта и раскатынных по двору. Между бревен бродили куры и поросята. Из кондитерской инвалидов пахло пряниками. На подоконках ее роями висели мальчишки и глотали вкусные слюни. Скопидом пожарник Палтусов, бессменный председатель жакта, пилил одноручкой натасканные с реки пластушины. В открытой сарайке Петровых шевелилась горбинка дедки-музыканта...

— Здорово, радушный... Табачку?.. Вот с табачком-то и плохо. Весь жакт обнищал табачком. Маленько, рази, одолжу тебе пыли... Она не совсем пыль и дельное есть. Сынок, спасибо, радует, из колхозу прислал. А в колхоз она из Москвы пришла, на удобренье. Матвей и то говорит: у государства крадем. А что делать? Покурить захощь — у бога украдешь.

С ребяческим смаком попыхивая цыгаркой, музыкант сообщил, что Матвей работает в деревне с зимы, называет себя двадцатипяти тысячником, разбогател в роде-как...

— А пес с ним и с богатством! — отмахнулся музыкант. — Тады с богатством приехали — какую канитель завели? Сын с невесткой кольки часом не извелись с горя... Да и теперь еще... Вот, девочка, комсомолка, поехала с Матвеем — убили.

— Кто убил?

— Злые люди... Матвей хоть и хвалится: «Хорошо... ужился... уважают», а поди так, хоробрится. Я его знаю. В газетке об ём писали. Она в сголовах у меня, не интерес ли, так — достану.

Вот что прочитал я в газете музыканта:

...Мисковский колхоз родился весной текущего года в условиях жесточайшей борьбы с кулачеством. Условия работы были тем трудны, что попутно с организацией колхоза нужно было разрешить задачу замены нерентабель-

ной хмелевой культуры, огородническими культурами и развить широкое травосеяние, необходимое для района со скотоводческим уклоном. Одним словом, заново перестроить уклад жизни.

В настоящий момент колхоз насчитывает 175 семейств. Открыты ясли. Организована агроконсультация, обслуживающая единоличников. Колхоз развернул на селе большую политико-просветительную работу. Главную роль в организации колхоза сыграл председатель его, рабочий-двадцатипятилетний тов. Петров...

3. В избе-читальне села Игодова в зиму 1927 года работали месячные агрокурсы. Лекции читал набегом молодой районный агроном. В числе 50 слушателей находился середняк из Большого Подлужья. Павел Смирнов, многосемейный, владеющий еще плотничьим ремеслом. Он работал вровень с однодеревенцами, на трехполке. Но, прослушав курсы, он загорелся и твердо решил переделать уклад Большого Подлужья, деревеньки в 15 дворов, завалившейся в низину Галичского района. Зерно советской науки проросло в Смирнове практически.

С весны свою отходническую котомку он не тронул, — занялся собраниями. Все мужское в районе с весной оттаяло, раскочалось, расшевелилось, сбивается в артели, сколачивает деньги на билет, обмозговывает, куда выгоднее податься плотничать — в Ленинград или на Урал, или на юг, к дешевому хлебу?.. По улице к станции Рассолово косяками прут люди с котомками. Сердце перевернули они жене Павла Смирнова. А он спокоен. Вечерами собирает к себе в избу баб и опять зудит им о клеверах, о лишнях коровах. Жена с досады из кути не показывается. После собрания Павел ей: «Чего ты нахохрилась? Разве я не знаю, что делаю? Знаю!.. И в деревне найдем».

— У кобылы в хвосте!.. Люди начнут присылать и деньги, и ситцы, и... Леший тебя копнул тоды учиться! Люди на дело поехали, а ты дери глотку. Заучили тебя в Игодове на великий грех!

— Отстань!

Уехали плотничать и подлужане, а

Павел все еще воюет с бабами. По летам, без мужей, они необычайно самостоятельны, трескучи на слово, даже со вступлением в хозяйственную бо́льшую матюги практикуют. Но тупы, упрямы они, как любая баба, воспитанная в «страхе божием», в древних привычках, в боязни всего нового, решительного. Забрызгали они Смирнова: «Удумал тоже, землю ломать. Жили, не евши, спать не ложились, а вот с новыми-то порядками того гляди!.. К лешему твои запотрой!.. Умру, ну ж полосы свои ломать не дам!.. А сам-от, сам-от... да он меня за такое по осени убьет!»

Собраний 20 провел Смирнов и осилил баб.

Зацвел вокруг Большого Подлужья клевер, взятый в кредит. Но не у всех: две «хозяйки» побоялись или закапризничали, или еще что, только отказались от клевера. Осенью излишек кормов подсказал, что делать. Кто купил вторую корову, кто телку в зиму пустил, кто овец приберег. Только две оплошавшие «хозяйки» искренне шлепали себя по ледвиям: «На-ко, трешницы пожалела! Ай, плёха, вот плёха-а!»

Тем не менее в престольный праздник мужики за новшества Смирнова побили.

Зимой он огласил новую затею.

— Граждане, давайте подумаем насчет окустинского болота. Не пора ли его обратить в дело. Двадцать десятин. Числится выгон, а пользы в аккурат. Тут и трудов не так, чтобы... Перекопать канавой, сделать воде спуск. Постепенно тут можно сделать хорошее поле. Овсы тут... А?

— Перерывай, говорю, мерзло-то, много нароешь!

— Не сейчас. Конечно, сейчас не рытье, с весны надо.

— Благодарим покорно. Весной ты меня в Ленинграде ищи, либо где... К бабам опять адресуйся, хозяйство — ихнее дело.

Бабы в крик.

— Всего пуше, пошли!

— Нас...м мы в его болото! Придумал, баб в землекопы... Сами в города, а нас в грязь, как не стыдно говорить!

Смирнов нахмурился.

— А вторую корову доить не стыдно? А за молоко из артели получать не стыдно?.. А ты, Осип, людей не сбивай. Против говорить ума не требуется. Ты вперед скажи.

— Скажем, где требуется... Тебя об рождества богородицы били и еще по-бьют.

— Бал-лда!.. Да я, коли захочу, завтра же тебя посажу, только за одни слова!

Поднимался всеобщий крик — Осипу делалось всеобщее внушение.

С весны опять 20 собраний. С руганью, с угрозами, с проклятьями, но все же часть болота была задренажена. Вспахано болото и сообща засеяно овсом, взятым в кредит.

На нови, на влажном месте овес уродился выставочный. Он фигурировал на губернском с'езде советов. Он был реализован и обращен в двухконную молотилку. Она создала в Большом Подлужье социалистическое ядрышко: машинное товарищество.

Но было в деревне неспокойно. Так, во время молотьбы общественного овса урожая 1928 года кто-то вместе с соломой закатил в барабан молотилки булыжник. Со скрежетом вылетели из молотилки пять зубьев... Смирнов кропотливо разбирался — кто повредил машину, но безуспешно. Тогда Смирнов осерчал и поставил на деревенском собрании крутой вопрос:

— Есть среди нас враги, желающие сорвать общественное дело. Они скрываются, и кто-то их скрывает. Но только это — до времени. А сейчас я перед лицом всей деревни им заявляю: не удастся сорвать!.. Граждане, призываю общественный инвентарь расширить. Поскольку всем и каждому предстает своя молотьба — предлагаю сложиться на веляку...

Веляку взяли в кредит. Были деньги у каждого, но никто не раскошелился на общее дело. «В будущем оплатим из молодого овса!»

...Зимой 1928 года я встретил Смирнова в Игодове во время работы по зерноочистке. В читальне был наш доклад и мы — бригада — пришли на постой за-полночь. Однако, в избе ждал нас высокий, серьезный крестьянин в новом, огненного цвета, тулупе.

— У нас в деревне образовывается колхоз, — сказал он, поднявшись головой до потолка, — так что желательно, ежели бы кто из вас пришел к нам на вечерок потолковать.

Это был Смирнов.

Бригада поручила мне обслужить Большое Подлужье беседой. Следующим вечером изба Смирнова рвалась от крика. Бойкие жонки отходников, к тому же подвыпившие на свадебных ладах, выстроились в ряд и трещали пулеметами:

— Развел: «15 баб топят 15 бань». Как топили, так и будем топить! Натопим, так-к уж-ж... приходи мыться! Как жили, так и будем жить! Хотя ты год доказывай — не докажешь! И машин ваших нам не надо, к лешему! Сохой запашем, цепом смолотим... убирайся!

Смирнов шептал мне: — Пока воздержитесь. Вот они накричатся, тогда и мы возьмем слово. Ихнева заряду не надолго хватит, за три-то года я к ним примерялся.

...За переход от машинного товарищества к товариществу по общественной обработке земли первым поднял руку молодой, неразговорчивый парень, осенью пришедший из армии и не в пору — не в мясоед — женившийся. Вторым голосовал старый, хрипавый добродушно матюкавший баб за «язык» дядя Матвей, великолепный мастер по плотничьей части. Он уже распалился и обещал послужить своим ремеслом делу социализма в масштабе Большого Подлужья. Поднял руку и крепкий, румяный, старовёрского облика старик Степан Назарыч... Председателем новорожденного колхоза единодушно выбрали Смирнова. Назвали колхоз «Успех».

Следующий день был днем великой смывки. Наш триер чистил семена подлужьевцев. Молодухи заигрывали с бригадниками. Щуплый политпросветчик с одного маха бабьего валился в снег и получал засол. Самая крикливая молодайка, до боли зажмурившись и заранее вскрикивая, стреляла из моего револьвера в платок, приколотый к воротам амбара. Хозяин амбара кричал без памяти: «Сожжете, черти!»

— Вот тебе коллективный труд, видишь? — указывал я молодайке на со-

гласную, рьяную работу подлужан у триера... — Что тут страшного?

Шмыркнула носом: — Ничего...

— А вчера кричала?

— Она с другого, — улыбаясь и по-пыхивая огоньками масляных глаз, пришепнула другая, — муж у ей в Архангельске... дело молодое, силы много, вот она и кричит и бесится...

— Анька! Как не стыдно!

...Малейшее движение в колхозе Смирнов излагал мне в переписке.

«Был скандал насчет дележки остатков овса по рукам, который остался после сева. Скандалили известные вам бабенки и больше всех — которая стреляла. Ей недодали полковша...

Взяли в кредит еще сеялку. И еще обменяли второго быка. Приложили к быку 100 рублей и взяли в Салтановском совхозе другого, швицкой породы. И еще была попытка меня избить.

Приехал я из лесу, сильно уставший, сижу, греюсь у железки. Вдруг является Сашка, сын той вдовы, у дому которой вы чистили триером. Раз меня в ухо. Не успел я спросить — за что, а он уж скрылся. На другой день кается, просит простить. Пришлось простить.

Степан Назаров привез из Галича газетку и кричал: колхозы отменены! Сама советская власть против колхозов! Увел за собой троих: Матвея, Колгушкина Ивана и Сашкину мать. Остальные думают остаться. Теперь я уверен, что камень в молотилку был пущен либо кем из назаровской семьи, либо по его настройке. Это я расследую снова...

Был от колхоза в Галиче, приветствовал партийную конференцию. Подал в игдовскую ячейку о приеме. Не знаю, примут ли...»

4. Тук, тук, тук! — Загудит глухо переборка, отделяющая мой быт от быта Павлы Степановны Навоевой, работницы фанерного завода. Подхожу к переборке и кричу: — Что?

Или детский голос пропищит: «Сколько время?» (соскучали, проголодались, ждут мать со смены), или сама мать осведомится полумужским басом: «Вы дома?.. Сейчас приду!» — и появляется бесшумно, словно из пола вырастает. От возраста (ей за 40) бесформенная. На прядях, выбившихся из-под красной,

несвежей повязки, волос — нежная седь, словно Павла Степановна хваталась за виски руками после мучного. Черные с желтинкой на белках глаза моложавы. Нос башмаком и добрейший, широко разведенный рот.

— Здорово, товарищ дорогой, с приездом.

— Я никуда не ездил.

— Ну! А мне показалось — ездил. Машинка не стучала... Напиши-ка мне заявление на деток.

— Куда? В суд что ли?

— Ты скажешь. В суд... Чего мне судиться с младенцами? На площадку пиши. Хочу двоих обхлопотать. Там им хоть питанье будет, призор, а то что они у меня сидят под замком, как арестованные.

И действительно, уходя на работу, она запирает детей на замок.

За пять лет, за время ее вдовства, я написал ей не менее 50 заявлений.

Собес, страхкасса, жилкооп, ЦРК, дирекция завода, завком, школа соцвос, семилетка, музтехникум... не перечислить всех адресатов Павлы Степановны. И все заявления — по существу, по ходу жизни, по конспекту воспитательных задач матери, имеющей пять малышей. Помнится, было заявление заведующему семилеткой «против сна»: Павла Степановна так сказала, желая выразить просьбу об освобождении дочки Шурки от мертвого часа в школе. Пусть Шурка этот час проводит дома с братишками.

Сейчас старшему сыну Павлы Степановны 18 лет. Он работает на фабрике и в комсомоле. Но в первые годы вдовства ей было очень трудно. Почти ежедневно бывала она у меня, по делу и без дела, — привыкла. И я привык к ее виду. Ее житейский стоицизм вливал в меня бодрость.

Придет, молча сядет на укладку возле печки и дремлет: 8 часов работы берут свое. Дети отчаянно барабанят в переборку. Они очень любят Павлу Степановну и дома льнут к ней, как цыплята.

— Погодите. Ну вас к дьяволам. Минуты не дадут вздохнуть, так и завозят, и завозят, точно кузнецы... За чем я пришла?.. Да! Нет ли песку полчашечки. Свой с'ели. Без приварку хлеб

с песком ходко идет. Пять ртов, мало ли им требуется.

Свой рот она не считала. Она не кривлялась, не лгала, как многие домохозяйки, а говорила прямо: паек выбран, отдавать будет нечем, прошу на доброе, товарищеское желание.

Она могла бы, как большинство соседей, подрабывать на сезонниках, сдав им под ночлег кухню или чуланчик. Но она не делала этого, оберегая детей от вредного влияния.

— Пьют да матерщинничают... нагяделась я на этот народ. И без чужих-то задыхаемся, с открытыми окошками спим: дети растут, а комната не растет, те же 15 метров.

Деревенские, родственники по мужу, навевались к ней часто, но помощи от них она не ждала. Наоборот, они, чтобы не тратиться в чайной, задавали Павле Степановне дело с самоваром, а после их отъезда она отгребала от крыльца следы лошадиного постоя. Постепенно она отучила их от побывок.

— Ну их к чорту! Не жалко воды—пей, нагрею, да только не ной. Все им мало да все нехватает, а у самих и хлеб, и мясо, и масло... А как я живу с семьей на 50 рублей — того они не видят.

Ни с кем из соседок она не дружила. — Эти ихние сплетни да перетыки я терпеть не могу! Кто что ест, да кто в чем ходит — непристало мне вести эти разговоры.

Даже из-за детей она не ссорилась с соседками. — Подрались, ну и что? Глупые. Разве взрослый ихни дела разберет. Они за день сто раз подерутся и сто раз помирятся. А ты над ними и стой, и следи. До того ли мне, рабочей, ты рассуди?

Я опасался, что в беспризорности вырастут ее дети криво, но это было напрасное опасение. Павла Степановна при всей ее невероятной житейской загруженности умела влиять на детей, и они росли прямее соседних «деточек». Павла Степановна не прибегала ни к перкам, ни к истерической ругани,—природный ум и сверхматеринство помогли ей выработать особую воспитательную тактику. Она заключалась в контрастах, в возвышении детей над уровнем житейской этики, господствующей на этом

обывательском, нечистоплотном дворе. Мальшей она звала не прозвищем, не полуименем, как соседки, а сполна: «Николай», «Анатолий», «Алексей». И только дочку — «Шурка». Она ухищрялась одевать их чище, опрятнее соседних детей. Все это малыши по-своему сознавали и готовно шли навстречу материнским внушениям, советам, предостережениям. Они по-своему знали, что мать устает на заводе, что ей трудно, и понимали ее с полунамека.

Однажды старший сын, еще будучи мальчишкой, разбил единственную в хозяйстве четвертную бутылку. Терзаемый оплошностью, он сказал матери:

— Достану такую же, чего расстроилась.

Как вскинулась Павла Степановна:

— Не смей доставать! Я тебя и в дом не пушу! Из головы выкини эту затею!

Тоже многодетная, но недалекая жена рабочего Тарасенки удивилась:

— Что тебе запрещать. Пусть достанет.

— А где он достанет, подумай?... Я знаю, где такие молодцы достают. Пойдет на базар, к подводам... Разве я к тому их воспитываю?

Удалось мне слышать и другой, не менее любопытный разговор. Жена кустика-кондитера, считающая Павлу Степановну «не в уме», говорила ей возле крыльца:

— Приварок видишь в месяц раз, вся избилась, оборвалась... Ты гляди, пальто распухло от заплат. Ужели прежде ты так ходила?

— Матушка моя,—прежде... Прежде то я за мужем жила.

— Все равно. Не тебе бы хвалить большевицку власть.

— А я хвалю. И везде говорю: советская власть дала рабочим много.

— Ну и хвали на здоровье. А варить-то нечего.

— Это мое дело! К тебе занимать не ходила и не пойду!..

Несомненно, Павла Степановна, живущая на сужомятке и все же расхваливающая большевиков, должна иметь опорой большую, центральную идею. Было любопытно раскрыть это, и однажды я повел в этом направлении разведку.

Оказалось, что в сознании Павлы Степановны нет ничего принятого на голую веру. Все является продуктом житейских испытаний, размышлений, сравнений и конкретных замыслов, постепенно осуществляющихся. Вот что она говорила:

— Кабы я овдовела при старом режиме — пропадай! На похороны мужа... ну, на похороны, может, подали бы деревенские, да и то, как сказать?.. Ведь тогда мне на заводе 120 рублей насобирали. При старом режиме мне на детей копейки бы не пришло. Волей-неволей пришлось бы их пустить в нищие, в мазурики. А нынче, как ни трудно, как ни тяжело, а до отчаяния не дойдешь. Знаешь, что тебе помогут, тебя поймут. Покойный муж был с умом, но воспитанье детям он не дал бы, нет... Распищал бы их, кого в столяры, кого в маляры, — я помню его разговоры. А сама-то я, при теперешнем доступе, туго-туго, а выучу, поставлю их на путь настоящих людей...

Бытовые заботы вытесняли из сознания Павлы Степановны завод. О работе говорила она мало, но если говорила, то непременно в большом разрезе:

— Фанера наша за границу пошла. Теперь одну березу работаем, осину оставили. Лушпилки новые скоро придут, с широким ножом. С—шкин, директор, в Москву за ними поехал. Арестантский дом, рядом который, нарушают — тут будет общежитие для приезжих рабочих, а внизу столовая. Церковь «Петра и Павла» хотят нам под клуб отдать. Сейчас по заводу подписи собирают...

Читала она плохо (прошла ликбез), но выписывала местную газету и профсоюзный журнал. Принесет мне пачку газет. Я говорю: — Павла Степановна, у меня есть газеты!

— Нет уж, давай по моим разберемся. Местные дела мне Николай прочитывает, а на политику он еще слаб... Еще что и спрашивать: восьмнадцатый год. Я—взрослая, так и то не очень... Нуте-ка, взгляните, какое движение в международном мире... Говорят, поляки бомбу к нам подкинули. С покойным мужем поляк служил, в агентах, на пристани — нехороший... Самый они лестный народ.

— Лстыивый, ты хочешь сказать?

— Ну, лстыивый. Все одно. Как ни скажи — все против нас.

— Не все.. Польские рабочие—за нас.

— Ну!.. Может быть. Я говорю по человеку, которого видела. А рабочих ихних мне где встречагь?..

Только однажды услышал я ее жалобу на жизнь. Ей, не имеющей возможности толкаться в очередях за продуктами, частенько приходилось питать семью сухомяткой, чаем. Хлебного пайка нехватало. На обеды из столовой ее бюджет тоже был не в силах подняться. Пришла расстроенная и говорит: — Что не надо, то обследуют, а что надо — не дозовешься... Голодную с детьми! Сегодня заложила часы покойного света, купила на рынке полпуда муки. Хорошо, как выкуплю часы, а как не придется? Николай знает о часах, носить их собирается, — он меня за часы... не знаю что...

— Комсомолец?!

— А что — комсомолец. Я не знаю, досрочно ли у него сознание... Будет ли лучше с питанием, скажи? Мстаешь, мотаешь вот так, да из веры выйдешь.

Месяца через два она торжествующе сообщила: — Паек увеличили, теперь я успокоена!

В одну из получек она выкупила часы, в другую сделала дровяной запас. Дрова выложила поленницей возле сарайки Тарасенко. Он взбесился:

— Убрать! Я нынче стенку чинить собираюсь!

— Когда соберешься! — скажи, я освобожу ее.

— А я говорю: убрать немедленно!

— Что тебе жалко, ненавистник?

— То и жалко... Надо было спроситься.

Павла Степановна распрямилась и в упор наступала на Тарасенку.

— Да ты что на меня зычешь, как на девчонку? Какой ты есть на дворе хозяин? Что в членах губисполкома ходил, так мы знаем, как ты ходил... Чай в накладку пил на заседаниях, вот и весь твой губисполком. Злопыхатель ты, мелочной курятник. Тебя и избрали по ошибке, за усы... Тьфу!

Весной Павла Степановна попросила меня о необычайном деле.

— Здорово. С приездом. Не свободен ли на полчаса?

— Заявление что ли писать?

Заулыбалась. Закрывает ладонью беззубый рот.

— Нет, повыше... инструкцию по порядку бригады. — Приятельски ткнула меня рукой. — В бригадшах хожу!.. О-о-х. Девчонки, понимаешь, насели: «Даешь тетю Пашу!» — так и не отбудалась. Из газеты мне дали положенье, так вот... Это положенье... Где оно у меня? Вот оно: в юбке! Это положенье — на все бригады, а я должна его подвести под свою работу. Помогите мне, пожалуйста. За все твои хлопоты — на, подарю тебе «Сафо»!..

В первых числах июля без всяких «Сафо» написал я Павле Степановне последнее, важнейшее заявление: в ячейку ВКП(б) фанерного завода... пресовщицы Павлы Степановны Навоевой...

— Имеюще сына-комсомольца, — диктовала Павла Степановна, — и целиком сочувствую политике партии, как сама руковожу бригадой, на производстве 7 лет до замужества и 5 вдовой, то и прошу не отказать принять...

Текстуальное оформление порыва Павлы Степановны вышло, конечно, слаже. Павла Степановна согласилась с редакцией заявления. Под ее подписью я, рекомендуя, поставил свою.

5. Для товарищей, прошедших студенческий путь от производства, от раб-аков, от комсомола, соединение коммуниста и инженера является завершением личности. В таких людях убеждение и специальность связаны неразрывно и взаимопоглощающе. Но я... помнится, политическую практику должен был подменить зубрежкой Бердникова и Ветлова.

До вуза я был самоучка, крестьянский паренек, секретарь сельсовета. Революцию я видел лишь в газетах и в пределах трех подведомственных сельсовету деревень. Советскую власть чувствовал от... штампов на «входящих» бумажках. Практику социалистического строительства видел лишь в директивах о скорейшем сборе сельхозналога, в предписании починить мост через «Бабе» озеро и отремонтировать парты в местной трехгодичке... Согласитесь, что этого мало для большевика?

Я был до того дик, что, получив пу-

тевку в вуз, хотел двинуть из костромской деревни в Ленинград пешком. Нетерпение и нужда породили это нелепое намерение. Теперь уже многое от той поры забылось, многое утратило всякий смысл, но помнится — и, вероятно, на всю жизнь — отъезд на учебу. Мать отказала себе в башмаках и еще во многом, чтобы шить мне новые штаны и обувь меня в новые сапоги. Не перечислишь всех ее советов и наказов по пути на станцию. Радость и боязнь переживала она за меня, едущего в большой, неизвестный город.

Осень. Дождь. Сивер. Дорога среди тощих, сквозных перелесков и скользких жнивий. Доставшаяся после гражданской войны клячу тащит похожую на корыто телегу. В телеге — укутанная во что попало мать, я, сено и под сеном мешок с сухарями и кокурами, сундучок с книгами и бельишком и постельный сверток. Под колесами переливается грязь, телегу мотает. Под моим «демисезоном» циркулирует холод, но мысли мои готовы перелиться в крик радости, благодарности и еще чего-то такого...

Я думал: веками ездили по этому поселку люди с серыми мыслями, с будничными целями и интересами... Такие же телеги, в такую же ненастную осень экспортировали из деревень груз новобранцев к «воинскому» и далее, в казармы страшных городов. И не впервые ли по этой дороге бедняцкая кляча везет парня к большой учебе, к большой жизни?.. Возможно, что те вдохновенные размышления зерном застряли во мне, росли, оформлялись... В природе ничто без пользы, без следа не пропадает.

На станции, пока компостировал я литер, мать испортила мне вещи. Ее с клячухой затолкали извозчики. Растерявшись, она сложила вещи на обрез перрона, но в суете кто-то спихнул их в лужу. Так и привез я костромскую грязь в Ленинград.

Я приехал за месяц до приемных испытаний, — и этот месяц задал мне испытание общежитейское. Истратив родительский, напутственный червонец, я стал познавать взаимоотношения между городом и человеком. Приютился я у знакомого студента, на «птичьих» пра-

вах. Зайду к нему вечером да и заночую. Такой номер можно было проделывать раз, дав... но двадцать раз — это уже не могло ускользнуть от внимания квартирохозяина, сухого и осторожного в части всяких бытовых формальностей обывателя. Студент получил от него замечание, но все же оставить меня на улице он не хотел. С тех пор, чтобы проскользнуть в знакомую комнатку, я должен был проявлять чудеса выдержки, ловкости, терпения и, ночевав, уходил на рассвете.

Студент, бывший слесарь, подрабатывал на ремонте водопроводов, того-сего. По мере надобности брал меня в подручные. Но это было редко. Коренной хлеб я добывал на ампула носильщика и грузчика. Однажды, при разгрузке баржи с дровами, слетел с мостков в воду. От недоедания и недосыпания я очень ослаб и вот чувствую, что тачка с дровами скользнула с доски и тянет меня в сторону... Лишнее усилие, и я удержал бы ее, но меня одолело странное безволие, непротивление... Лишь в последнюю секунду я собрал силы и кинулся вперед, через тачку, и таким образом избежал ее удара в воде...

Приемные испытания. Длинный красный стол в зале, такой огромной, что свою фамилию я слышу из невероятной дали, и кажется, что до стола надо идти минимум полчаса...

Вызывали по-трое. Я стою рядом с незнакомыми, хорошо одетыми парнями. Между волнением, осмотром сидящих за столом и концентрированием знаний по Бердникову и Светлову нахожу возможность стыдиться своих широких, деревенского покроя штанов и больших, нестерпимо новых сапогов.

И вот я вижу: с дальнего конца стола смотрят в меня большие, испытующие, чуть грустные глаза. Никогда до сих пор человеческий взгляд не казался мне столь выразительным и властным. Я чувствую, что тону в этом взгляде, как тогда, в Мойке, но только медленно и нестрашно. А вот и палец этого человека манит меня к себе, я иду и становлюсь против, не чувствуя пола.

Вблизи глаза ошазались естественнее, но жестче. Они говорили мне: «Знаю, откуда ты прибыл, такой несуразный, чего хочешь и что стоишь... За штаны

стесняться брось, дело не в штанах, а в познаниях... Отвечай!»

— Социальное положение родителей?

— Бедняки.

— Та-ак... А вот скажите, товарищ, откуда образовалась человеческая речь?.. Та-ак: из трудовых процессов... Когда был и какие вопросы решал четвертый съезд советов?.. Та-ак... А кто стоит между городом и деревней?..

Все совершалось в странной, совершенно новой для меня прострации. В секунду, когда испытующий щупал меня глазами, я чувствовал себя так же далеко от стола, как и в момент вызова. Но уже после первого ответа, после того, как вслед за словом «бедняки» испытующий игранул бровями, мы стали ближе...

По мере ответов, — а я считал их удачными, — по мере согласных «та-ак» я чувствовал, что пол под ногами твердеет, зал становится меньше и теплее; слово «товарищ», вначале будто отгораживающее красный стол от меня, теперь, наоборот, стягивало меня с испытующим подобно тому, как винт стягивает «щеки» тисков. И когда, наконец, услышал я: «идите, товарищ, хватит с вас!» — мне казалось, что знаю я этого человека всю жизнь, уважаю его и очень люблю.

(После с этим самым Оськой Изельсоном мы работали во многих студенческих комиссиях, и я действительно его уважал и любил).

День приемных испытаний в вузе — день, когда взрослые превращаются в малышей. За дверями зала, где происходило испытание, — я отделался первым, — стояла тысячная толпа ожидающих. Она облапила меня, она дышала в меня жаром нетерпения, гудела глухо, страстно: «Что спрашивали?.. Строго спрашивают?.. Товарищ, выдержал или провалился?.. Из чего больше спрашивают — из материализма или из политграмоты?..»

Я сначала отвечал пространно, успокоительно — и попадал в новое оцепление. Минут десять вертел меня этот человеческий водоворот. Я взмок, замотался... но попрежнему десятки ботинок преграждали движение моих сапогов, мои сапоги отвечали им взаимностью... В коридоре я уже раздраженно отма-

хивался: «Спрашивают чепуху!» — не зная, относится ли это к испытующим или к ожидающим испытания. Один нетерпеливец настиг меня с расспросами на улице, но этому я уже совершенно непроизвольно ответил на непечатном диалекте...

И вот я в институте, в огромной фабрике знаний. День и ночь кишит студенческий муравейник. В толчее коридоров, в тишине читален, в согретых повышенной человеческой теплотой аудиториях растет, совершенствуется, обогащается бесконечно ёмкий человеческий ум. Батраки, слесаря, забойщики, ватерщики — теперь студенты. Сколько характеров! Сколько скрытых, невиданной красоты процессов совершается в людях, посещающих эти залы, читальни, кабинеты, мастерские!.. Институтская печать и в тысячной доле не освещала эти характеры и процессы.

Я слушал лекции, работал в мастерских, корпел над формулами в читальнях (своих учебников не было) и заметно рос. Но меня отбивала от учебы работа ради хлеба и заедала мужицкая рефлексия. Я завидовал получающим госстипендию, а людей, от которых зависело получение ее, ненавидел. Может, несколько лет потребовалось бы для того, чтобы моя немудрая студенческая оживленность выварилась диалектически в сознание быть в партии. А может, это и совсем не пришло бы ко мне...

Процесс моего идейного оформления подтолкнуло одно, с виду отдаленное, обстоятельство: лекция по статике. Читал профессор М., человек громадного роста, уважаемый всем институтом за прямой нрав и за то, что в пору реакции — это заповедью передается из одного студенческого поколения в другое — он воевал за сохранение в институте духа вольности.

— Возьмем величину икс , — гремел он в аудитории, — и дадим ей бесконечно малое превращение...

Понятия статике сухи и почти неуловимы для чувств. Но профессор читал до самозабвения страстно. Научная суть, проработанная профессором, одевалась в ткань живых, волнующих образов. Профессор играл формулами. Мелок плясал по доске и крошился в брызги... И конечно, не формулы, а си-

лица, экстаз этого человека вздымали меня. Я впервые увидел совершенный человеческий труд.

— ...И как бы она ни была мала, как бы она ни была ничтожна — она придет, она при-идет к своему пределу!

Я заплодировал профессору совершенно как в театре. Аудитория подхватила. Казалось, что лекция целиком относится ко мне. Я, Павел Аносов, сын вдовы-солдатки, ничтожная величина в прошлом, получил такое изменение, такое превращение, что — по статике — возвращаться вспять не желаю. Нет!.. Я — человек и должен биться за жизнь. Пусть впроголодь, без учебников, через силу, но — вперед. Меня подняла и привела сюда пролетарская революция. Без нее мне мимоходом даже не видать бы этих зал, книг, людей...

Я пришел в студком за нагрузкой, — пришел к людям, которых в мелком своекорыстном озлоблении считал чиновниками, карьеристами и т. п. Со второго курса я уже получал стипендию.

Во время учебы мне везло на добрых, верней, своих людей. Помню, по пути в Пермь на первую практику я, едущий без копейки в кармане, питался на счет сочувствия военмора. «А брось, чего там «неловко». Мы — из одной семьи». Такие встречи потрясают и оттачивают в тебе классовое миропонимание.

Предприятия — директор, ячейка, завком — доверяли мне авансом, по виду. Зато авансом чуждались меня многие прорабы, десятники, артельщики. Какой-нибудь старый инженер — в форменном, с апломбом, с морозом в глазах и к тому же еще с собачьим хлыстом в руке — цедит тебе за пять шагов: «Товарищ Аносов, обратитесь к десятнику Пипикину, чтобы он ввел вас в курс нашего строительства». Ни участия, ни поддержки, ни даже обязательного, законом, этикой установленного разговора при встрече двух почти равноценных людей: инженера и будущего инженера. К Пипикину — и никаких! Точно тебя вежливо послали к таковской матери.

Пипикин — в жилетке, с луковицей часов на толстой цепочке, в растрескавшихся лаковых сапогах. Без нужды перепачкан известкой, — намек на необычайную деловитость. Рожа хитрая. Го-

лос со скрипом: «Тэк вот, будущий товарищ инженер, порядочки наши начинаются отцеда и будут несколько противны науке».

Такой тип служит не пролетарской революции, а инженеру с хлыстом.

Прорабы меня прижимали. Я не поднялся выше надсмотрщика за выполнением деталей, — работка десятищкая. Но это к лучшему: роль надсмотрщика близила меня с рабочими. Скажу не хвастая, что строительного рабочего я знаю вдоль и поперек и крест-накрест. Удивительный народ! Могут они тебя с легким сердцем подвести под суд, но могут и пожертвовать последним, чтобы тебя выручить. Расскажу два эпизода...

Вторую практику проводил я на стройке текстильной фабрики. Она должна была явиться образцом промышленного предприятия во всех отношениях и образцом архитектурной формы — гордостью Советского союза. Работавшие на стройке это сознавали, и обстановка на стройке была особенная: сугубо ответственная, приподнято-деловитая, даже торжественная.

Я говорю о настроениях основного кадра строителей. Но, кроме того, на стройке были сотни людей случайных. И рвачество проявлялось, и плелись мелкие интриги, и полоскались дрязги... обычной! Мне удалось заметить, что десятник и старший артели бетонщиков ведут странную линию: на стройке грызутся, а вне стройки пьянствуют. Я отвечал за бетонные работы и это обстоятельство взяла на учет.

Делали железобетонную плиту по опалубке. Я наблюдал неотлучно. Но после обеда меня вызвали в стройком по поводу вечерних занятий в красном уголке (вечерами я учил рабочих математике) и задержали разговором. Прибегаю на стройку и вижу: плита подалась вперед метра на два. За час!.. Проверил и нашел, что в одном месте молметра забетонировано без железа, замазано наспех, в погоне за заработком. Общий проект я знал наизусть, смекнул: в этом месте должна встать шпильная машина весом в 8 тонн... Она провалится в первую неделю работы, если не скорее!

В конце дня отвожу артельщика в сторону и спрашиваю: «Ты сознаешь

важность этой постройки?» Как срезанный, плюхнулся в ноги, бормочет: «Пал Ваньч, не погубите!.. Переделаем... Всю ночь... до ветру никому отлучиться не дам, только не доводите до властей!»

Ночью на стройке мне делать было нечего: все будет в порядке. Утром смотрю: опалубка что картинка! Даже прочное, где не приказано, выведено под лок.

Второй эпизод был в Я. на стройке вентиляционной шахты для текстильной фабрики. Прораб, чиновник и пьяница, на постройку не заглядывал. Утром неизвестно откуда прохрипит телефон: «Товарищ Аносов, вы там того... толкайте!» И мне кажется, что из телефонного рожка пахнет пивом...

Прочного основания шахты не было: проектировщик не указал, на какой глубине заложены фундаменты. Грунт — пльвун, а под ним трясина. Обозначенную в проекте глубину сделали, но свайть нельзя: почва зыбается, кирпич тонет... В одном месте попробовали углубиться на два лома — грунт законный! Значит, надо углублять весь котлован. Звоню в контору — прораба нет... Пьет. Тогда на свой риск отдаю землекопам распоряжение, — вышло два лишних дня. Прораб ругается по телефону: «Какого чорта копаются — свайте!» Даже землекопы понимали, что на первой глубине нельзя было свайть. Но прораб возбудил против меня дело за превышение прав.

Пока все это разбиралось — начались livни. Добавочные работы я вел наскоро, без распорок; получился размыв, и в одном месте стрельнул он до фабричной трубы... Даже фундамент основания оголился.

Меня охватил ужас. Днем и ночью неотступно мне кажется, что труба качается... Потерял я сон, аппетит и, как маньяк, тянулся еще раз взглянуть на трубу, проверить. Наконец, не выдержал и поделился своими опасениями с артельщиком землекопов. Ушли мы с ним на луг, легли, прижмурились и всматриваемся...

— Качается!

— Верно, Павел Иваныч...

Еще минут десять смотрели... качается! Тогда я говорю артельщику: «Семенов, я пропал... Шестьдесят метров

кладки... мне десять лет придется работать на трубу!»

Признаться, я не ждал, что тугословный, кряжеподобный вологжанин скажет что-либо, кроме обычного: «сожалею», «такое дело», «авось вывернитесь». Но заговорил он иначе.

— А может, так, от облаков показывается?.. Да мы до этого не доведем. Я тебе, Павел Иваныч, уважу... За простое обращение, ну и за то, что до дела ты доходишь как следует... Ужотко я поговорю с ребятами...

Не знаю, что он говорил с ребятами, но только размыв — кубометров 25 — заделали они без копейки. После я узнал, что оголение фундамента трубы не опасно. А качание трубы было просто самогипнозом.

Постскриптум:

Этот рассказ я слышал от молодого инженера т. Аносова на волжском пароходе. Тов. Аносов — коммунист, в партию вступил в институте, в день выпуска.

6. Впервые я встретил его в поезде, на участке Москва—Ярославль. Маленький, чернявый, нервный человек лет 25 буквально не находил себе места. Заглядывал в соседние купе, выходил на площадку, возвращался к жене, молоденькой, розовогубой пышке, склонившейся над спящим ребенком, спрашивал ее с особой нежной интонацией, которую можно услышать лишь в еврейских семьях:

— Спит?.. Так ты чего над ним вишишь? Ты думаешь, это ему спокойно? Ляг рядом с ним и отдыхай.

Предлогом для нашего разговора послужила папироса. Он при виде моей папиросной коробки округлил глаза.

— Слушайте, где вы достали эти папиросы?.. Хотите за одну папиросу две? Я привык к южному табаку. Только пойдете на площадку, чтобы ребенок не дышал дымом.

Он оказался из тех парней, с которыми хватает разговоров от Ярославля до Америки и обратно. Он, раскройщик по профессии, довольно живо рисовал мне советский юг. Ехал он работать в Кострому, подчиняясь великим маневрам пятилетки.

— Значит на юге мало работы?

— А, что — юг. Вы спросите, сколько

там кож и сколько раскройщиков. Там столько умелых парней, что на каждую кожу приходится по раскройщику. Я еду по профсоюзной линии, мобилизован как мастер... Скажите, здесь постоянно такой климат? — указал он на мучнистое от мороза окно.

— Бывает и хуже. Нынче зима сравнительно теплая.

— Хорошенькое тепло. В Одессе, вы знаете, сейчас уже польта несут в ломбард, а здесь, если прибавится еще три градуса, так я не знаю, что делать. Это не климат, а погибель!

Затем, как водится, мы расстались, обменявшись остатком папирос. Вторично встретил я его уже на работе.

Кожтрест приспособил под раскройную фабрику одну из костромских мукомольных мельниц. Было любопытно взглянуть, как мельница превратилась в фабрику. В марте нынешнего года я попал на раскройную и никакой фабрики не нашел.

В большом корпусе, приятно пахнущем кожей, за столами работали человек сто в синих халатах. В одном месте рабочие грудились, как бывает на улице вокруг продавца необыкновенной игрушки или хозяйственной дешевки. Я пробрался туда и через плечи рабочих рассмотрел знакомую черную-лохматую голову одессита. Он учил молодого рабочего раскройке, учил артистически.

— ...Смотрите, товарищи, все. Шире круг! — рассовывал податливых рабочих по сторонам. В его худых, гибких руках сквозила рациональная четкость. Для удобства он снял халат и остался в сиреневой, с самовязом рубашке.

— Если вы хотите раскрыть кожу правильно и экономно, так вы знаете что нужно?.. Вы должны представить себя лошадью и будто эта кожа гуляет на вас.

Рабочие хохотали.

— Во, чорт!.. Ну, дальше?

— Я хочу сказать: человек знает на себе мозоль, бородавку или чирий, так, извините, он на чирий не сядет. А лошадь не может сохранить свою кожу. На ней остаются засечки от ударов копыт, свищи от укусов слепней. А где на живой лошади болело, тут и в обделанной коже не будет прочно. Вот — кожа. А вот — болячки. Вот!.. Вот! — черкал

по коже карандашом. — И надо так расчитать, чтобы болячки пришлись в раскрой, в срез.

Раскройщики грудились плотней, висели на плечах друг друга, жгли друг друга дыханием и не замечали этого.

— Но весь вопрос, товарищи, в том, как расчитать. Можно до того рассчитывать, что кожа будет готова к концу пятилетки. Кому это выгодно?

Раскройщики шевельнулись. Кое-кто засмеялся.

— Вы берете большие места на учет в уме и смекаете, какие номера плашек вам нужны, чтобы после уже не копаться. Вот я кладу в уме: 86, 79, 48 приблизительно 52, 12, 43 условно... сейчас!

Он рванулся к столику, где лежали фанерные, отшлифованные работой плашки-выкройки, но это было излишне. Двое рабочих предупредительно отобрали и кинули на раскройный стол нужные номера. Он разметал плашки по коже, — и действительно, зачерканные карандашом изъяны пришлись между плашек.

— Разметка готова, теперь можно сказать, что 99 проц. работы сделано. Остается технический процесс раскрой, но это уже пустяк. Дайте нож, товарищ...

До бритвенности наточенное лезвие он попробовал на пальце, левой ладонью придавил плашку к коже, а дальше... не успели раскройщики вздохнуть, как нож молнией мелькнул мимо коготков мастера... Еще молния, еще — и вот из кожи выскочил отрезок, похожий по форме на палитру. Через минуту от кожи осталось на столе несколько лоскутков отхода.

Он раскроил на показ пять кож различной величины и качества, и с каждой кожей усложнял задачу. Кроил он разговаривая, не глядя на нож, и при каждом движении ножа меня пробирал холодок: вот отлетят в сторону обрезки пальцев!..

То, что делал он в общей сложности, мало назвать работой.

Комплекс движений, самых привычных, ловких, устремленных, то, что называется рациональным физическим трудом (что видел я десятки раз на раз-

личных производствах), все же не лишен некоторой инертности, будничности. Работу такого ловкача познаешь умом и сквозь сетку его движений видишь стимулы, иногда высокие — ударность, соревнование, а чаще — заработок. Менее способный сосед такому ловкачу завидует, но учиться у него он не может потому лишь, что ловкость — владение субъективное и замкнутое.

Учат ловкачи, поднимающие свое умение до творчества, сдобривающие его приправой подсобных знаний и — самое главное — рьяным, до нутра вывороченным желанием передать свой опыт коллективу. Они создают искусство труда, массовое искусство — нужнейшее из искусств!

Раскройщик-одессит был несомненным мастером такого искусства.

После показательного раскроя молодежь наперебой тянула его к своим местам.

— Товарищ Евсин, зайди сюда!.. Вот интересная кожа!

— Чем она интересна?.. Обождите, дайте поздороваться со знакомым человеком...

— Евсин, что это — свищ от слепниного укуса?

Мы отошли к столу табельщика и здесь разговорились.

— Как переносите климат?

— Трудно. Я живу за Волгой. Каждый день две дороги через лед, туда и обратно. И ничего, бежишь, не болеешь. Выписал из Одессы папирос. Хорошо бы тепла немножечко выписать, да это уже не так важно. Здесь температуру подкачивают, — видели?.. Да еще в ячейке работа.

— Вы давно в партии?

— Нет, я еще только кандидат, всего месяц как принят.

По пути из раскройной думалось: есть в нашей жизни такое, что приводит рабочих всех профессий к одному знаменателю. В степях, в шахтах, в снегах севера, в тайге Сибири, — где бы ни был живой, заряженный современностью человек, он найдет себе товарищей и друзей. Важно самое главное: владеть мастерством труда и учить этому мастерству других. А кто откажется от совершенства в труде?..

Повороты

Главы из романа

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

I. Закрученные мозги

Время пошло не торопясь: нога за ногу. Уже шестой год Старостин работал на Путиловском заводе, и, когда вечером он возвращался с завода домой в толпе других рабочих, никто бы не сказал, что когда-то этот человек был гвардейцем, носил белый франтоватый мундир, — ныне такой же он был закопченный, в просаленной куртке. Только осталась бравая выправка, широкий солдатский шаг да исполнительность, с которой он делал всякое дело. Да еще рост: ростом он был почти на голову выше всех. Вся его жизнь сложилась устойчиво и прочно, порядок и воля в ней были такие же, к каким он привык за время военной службы. Жизнь была похожа на большую дорогу, где хоть и ново все впереди, но уже заранее знаешь, что именно будет. Рабочие будни тянулись как скучные переходы, воскресенья — маленькие почтовые станции, где можно отдохнуть и оглядеться, а двенадцатые праздники и особенно царские дни были как села и города на пути — с большим отдыхом и законным весельем.

Уже было у Старостиных двое детей: Гришка родился через восемь месяцев после венчанья к крайнему стыду Марины и самого Старостина (не утерпели, не соблюли себя до срока) и дочь Наташка — на два года моложе Гришки. Как два равносильных вола, Старостин и Марина запряглись в одно ярмо, тащили сильно, тащили свою тяготу, хоть и трудно, но без жалоб и скуки. В первые месяцы по выходе из полка и работы на заводе Старостин поселился в

комнате Марины. Не густо у Марины имущества было, — Старостин пять месяцев спал на полу рядом с узенькой Мариной кроватью, пока наконец они не скопили тридцать два рубля на двухспальную кровать с блестящими шпиками по углам. Первые годы — да и теперь тоже — все их внимание влекло накопительство: решили купить комод — два месяца откладывали деньги на комод; решили купить Марине шубу на беличьем меху — семь месяцев копили деньги на шубу. Гнездо свивалось медленно, но прочно, — каждая вещь покупалась с разумом. Не обманулась Марина: муж ее такой был — соседушки завидовали, не пил, не курил, не ругался, был всегда бодр и вежлив. Один только расход и позволял на себя: три рубля тратил ежегодно на газету «Свет», впервые выписанную во время русско-китайской войны и тогда же вошедшую твердо в привычку Старостина. Ему нравилась эта газета, — в ней он будто слышал голос ротного командира гвардии капитана Риль, которого он продолжал уважать тем сильнее, чем дальше уходили в прошлое годы военной службы. Иногда случалось, что в воскресенье, бродя по толкучке, Старостин покупал за пятак или за гривенник книжку, десятка полтора их набралось у него, стопочкой лежали они на комод: «Как солдат спас Петра Великого», «Битва русских с кабардинцами», «Как львица воспитала царского сына», «В пасти дракона» — любимая книжка Старостина про китайскую войну, «Великий русский полководец Суворов», «Пожар Москвы». И еще в ящике комода лежала библия, завернутая в кашемиро-

вый платок. Библию Старостин держал для порядка, читал редко...

Каждый праздник Старостин ходил к поздней обеду, дома ждал его пирог с мясом или с капустой—на чистой ска-терти, Старостин любил во всем поряд-ок и чистоту, сам помогал «убираться», и Марина беспрекословно подчи-нялась его порядку,—сама изо всех сил выбивалась, чтоб у них было, как у хо-роших людей. Она слепо верила мужу, как верят любящие жены. И всегда, усаживаясь за праздничный стол, Ста-ростин строгим взглядом оглядывал, всё ли в порядке. Гришка в синей кур-точке сидел рядом с отцом, Наташка рядом с матерью, а в конце стола нянь-ка—Анютка.

Перед вечером в праздники всей семьей шли гулять — отец ташил На-ташку на руках, а мать вела Гришку. Ходили по берегу Невы, по городскому садику.

Как ясно все было в жизни Старо-стиных! Какой порядок и какой по-кой!..

И в этой размеренной, покойной, устойчивой жизни светлым маяком сиял тот день, когда Старостин разговари-вал с государем. Этот день осветил всю его жизнь. Он сам смотрел на себя, как на человека необыкновенного: с ним го-ворил государь император! Кто еще удостоен такой чести? И молитвенное благоговение перед государем Старо-стин понес в жизнь и нес с тайной, глу-бокой гордостью. При взгляде на мно-гочисленные портреты государя, развешанные по всем казенным учрежде-ниям, по магазинам и чайным, он вспо-минал о встрече, вспоминал слова, и тогда эти глаза на портретах оживали для него, и уста открывались. Народ говорит: «Не всяк царя видел, а всяк его знает». А вот он и знает, и видел.

Гостей к ним ходило немного, и сами они ходили в гости редко. В последние два года бывал только Костя, уже от-служившийся во флоте. Он работал в Адмиралтействе, жил на Васильевском Острове, ездил далеко, бывал он у Старостиных редко, только по большим праздникам. А в последнее рождество произошел такой случай, рассоривший их: Костя пришел парадный, в серой паре с гладкой прической на бок. Ма-

рина оглядела брата блестящими, весе-лыми глазами, засмеялась:

— Ишь ты, франт какой. Аль от На-сти хочешь бежать да жениться на дру-гой?

Костя засмеялся:

— Куда там еще жениться. Одной Настасьи довольно. Не тем голова за-нята.

Костя смешливо махнул рукой.

— Чем же у тебя голова-то занята?

— Да так, дело есть,—уклончиво от-ветил Костя.

— Ты скажи—какое?

Марина пытала брата, смеялась. Ко-стя отшучивался.

— Да будет тебе наседать-то! — крикнул Павел.— Чего пристала к пар-ню, как банный лист? Садись, Костя, к столу.

— Опять выдумка какая-нибудь, — решила Марина.

Она повернулась лицом к мужу и с гордостью, которой нельзя было скрыть, сказала:

— Он всегда у нас выдумщик был. Всегда чего-нибудь строгал да масте-рил.

Костя скромно сел у комодика, смо-трел в пол. Розовые уши двигались от улыбки, был он какой-то новый, сдер-жаный, без былой матросской лихости. Суется, Марина накрыла на стол. Па-вел строгими глазами посмотрел, все ли поставлено, как надо. Ветчина, кильки, пирог, колбаса в серебряной бумажке, две бутылки водки,—все хорошо.

— Садись, Костя! Господи, благо-слови!

Павел обернулся к иконам, покре-стился солидно, исполнительно,—и лицо у него было такое, будто он с фельдфе-белем разговаривал, как бывало, в пол-ку. Марина тоже покрестилась торо-пливо, Костя просто пододвинулся к столу, сел. Подняв руки к водке, Павел момент ждал, когда Костя покрестится. «Что ж он, забыл?» Костя смотре-л на сестру. Павел нахмурился: «Ишь у них как, бога забывать начали». Но не ска-зал ничего, налил в рюмку водку.

— Итак, значит, с праздником вас, со свиданьем, будьте здоровы.

Костя неохотно взял рюмку:

— Я, собственно, не пью.

— А я-то пью? А кто у нас пьет? Слава богу, мы не пьяницы. Ну, а раз полагается по закону, выпить в праздник, значит надо. Порядок требует. Ныне разрешение вина и елєя. Ну, будьте благонадежны.

Он опрокинул рюмку в рот, сморщился, поспешно стал закусывать.

— Ну, как у вас на верфи-то? Ты что-то долго не был...

Поговорили о заводских делах, о Костином пиджаке, за который Костя заплатил двадцать три рубля, выпили еще и еще. Гладкое, аккуратно выбритое лицо Павла покраснело, глаза заискрились. С улицы пришла Анютка с Гришкой и Наташкой. Усадили и Анютку за стол, Гришке дали пирога. Павел распоряжался строго, по-хозяйски.

— А ты все такой же! — засмеялся Костя.

— Какой?

— Строгий. Во всем требуешь порядка.

— А ты как думал? И себя, и семью надо в порядке держать. А то что ж, какая будет жизнь? Четыре года государю императору отслужил, порядок знаю.

— Да-а! А у нас вот стали про царя-то говорить совсем не то, что ты говоришь.

Костя прищурил левый глаз, насмешливо уставился в лицо зятю. Павел медленно откинулся на спинку стула, строго уставился в лицо Косте:

— Это как? Что ж говорят?

— Недавно разбросали бумажки по верфи — прямо читать страшно.

— На верфи?

— Да, у нас.

— А-а, социалисты! Это я знаю. Это они. Душить бы их надо!

Костя опять прищурил левый глаз.

— Ты чего косишь морду? Ты что, за них что ли тянешь? — крикнул Павел и вызывающе поднял голову.

Костя кисло улыбнулся.

— Как тебе сказать... Теперь-то я не таяну, а так что-то думается.

— Что думается? Сказано: всякая власть от бога. Государь богом поставлен. Господь на небе, государь на земле. Священное писание ясно говорит. Чего ж тебе еще надо?

— Ну, не всегда священное писание ясно говорит. Почитай-ка библию.

— Читал. Знаю. Я все знаю, что каеемо государя.

— Не все, должно быть, знаешь. Читал, что про царя там говорится?

— Кесарево кесареви...

— Я не про то говорю. Ты пророка Самуила прочти.

Бестолково насакаивая один на другого, они заспорили. Павел вытащил из комода библию. Костя развернул, полистал, ткнул в строчку пальцем.

— Читай. Читай вслух, пусть все слышат. Читай отсюда.

Павел раздельно, по-солдатски отчеканивая каждое слово, прочел:

«Вот как-кие пра-ва бу-дут у царя, который будет цар-ствовать над вами...»

В комнате встала напряженная тишина. Только умирающе попискивал самовар.

«Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его».

— Ну так что же? — перебил сам себя Павел. — Так оно и должно быть. За это им жалованье платят. Ты бы не пошел царю служить? Пошел бы. И все бы мы пошли.

— Читай дальше, — холодно откликнулся Костя.

«И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничий прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы».

— Теперь не кухарка во дворцах, а повара. По триста рублей околпачивают в месяц которые, — важно сказал Павел.

— Читай дальше, — отрезал Костя.

«И поля ваши, и маслинные и виноградные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами...»

— Слышишь? — перебил Костя. — «Сами вы будете ему рабами».

— Ну так что ж? — недоумевающе повысил голос Павел. — А нешто мы не рабы своему государю императору? Рабы! И должны гордиться этим. В библии сказано: возьмет то, возьмет другое. Он возьмет и за все заплатит... Чего ты мне библией тычешь? Знаю я библию, и все правильно. Видишь, и здесь сказано, что государь император богом поставлен. И народ говорит: «Царь — от бога пристав».

Он говорил громко, он махал руками, лицо было кумачевое.

— Тьфу! — яростно плюнул Костя.

Павел ошеломленно откатнулся. Поднятые руки замерли в воздухе.

— Это... ты... по какому же случаю... плюнул? — тихо проговорил он и пронзительно уставился на Костю круглыми ястребиными глазами.

Костя исподлобья, по-волчьи, глядел на него.

— По какому же это случаю ты плюнул? — повторил Павел громче и настойчивей.

— А по такому случаю, что закрутили твои мозги, они и не раскручиваются, — свирепо ответил Костя.

— Кто же мои мозги закручивал? Ежели я правильно говорю про государя императора, так у меня мозги закручены?

Павел весь напряжился, в каждом слове была злая сила, похожая на возведенное дуло револьвера, — сейчас ахнет выстрел. Костя побледнел, глаза загорелись... Марина обеспокоенно смотрела то на мужа, то на брата:

— Да будет вам спорить-то...

— Не-ет, ты мне скажи, по какому случаю ты плюнул? — твердым гвардейским голосом повторил Павел и полез из-за стола. Костя встал ему навстречу. Марина сбросила с колен полотенце, заметалась по комнате.

— Молчишь? — угрожающе крикнул Павел. — Говори сейчас, по какому случаю ты плюнул.

— Не желаю я с тобой разговаривать.

— Ага! Не желаешь? Ну, так я желаю разговаривать. Ты плюнул на мои верноподданные слова. Ты не в меня

попал, а в государя. Ты понял? В государя!

— Пошел ты к...

— Тут портрет государя, тут верноподданный государя, а ты смеешь плевать? А?

Марина встала между мужем и братом.

— Будет, будет вам, петухи!

— Нет. Я так это не оставляю. Ты у меня будешь отвечать по всей строгости. Я не посмотрю, что ты мне зять. Я...

— Доносить хочешь? Иди доноси, жандарм, иди! — закричал Костя.

— Я тебе не жандарм. Я с тобой своим судом справлюсь. Я тебе покажу, как плевать...

Он отодвинул Марину. Марина вцепилась в его руки. Костя взял со стола хлебный длинный нож.

— А, батюшки! — завопила во весь голос Марина. И тотчас на кровати в три голоса заревели Анютка, Гришка, Наташка.

— Уйди! — свирепо отталкивал жену Павел. — Он ножик взял? Он резать хочет? Я ему покажу. Уйди!

Он отталкивал Марину прочь. Марина вцепилась в него, как клещ.

— Павлушенька! Родной! Опомнись! Костенька, уйди ты Христа ради...

Павел толкнул стол, — посыпались чашки и бутылки. На кровати вой поднялся пронзительный.

В дверь стучали.

— Костенька! Уйди! Уйди! — вопила Марина.

Костя швырнул нож на пол, пошел широкими шагами к дверям, накинул пальто, шапку. Павел рвался к нему. Костя выбежал, хлопнув дверью.

Павел оттолкнул наконец жену, подбежал к двери, — Кости уже не было в коридоре.

II. Тревога

Ссора с Костей — случай сам по себе маленький — внес в жизнь Старостинных большой разлад. В этот день до глубокого вечера Марина проплакала.

— Что это, господи? Один единственный брат у меня, и того муж выгнал из дома. Живем, как барсуки в норе, — в кой век один родной человек пришел в гости, и то...

— Мне все равно: родной не родной, а раз про государя делает намек, получай по заслугам. Я не погляжу, что он мне зять. Я присягу принимал.

— Нешто драться ты принимал присягу?

— И побить могу, и убить могу — и ничего за это мне не будет. Должно, со студентами связался. Какую моду взяли: в министров из пистолета стрелять. Так они и до государя опять доберутся. Читала бы ты газету, узнала бы...

— Что узнала бы?

— Узнала бы, сколько врагов у России. Тут тебе и Англия, тут тебе и Япония. Мы все должны за правительство держаться, а тут на вот тебе...

Он сердито ходил по комнате широкими шагами. Марина лежала на диване лицом вниз, наплакавшиеся досыта ребятишки уснули в спальне.

— Да. Теперь вот Япония нам грозит. Как же мы можем победить, ежели у нас внутренний враг есть?

— Кто ж тебе враг-то? Костя, что ли?

— Все враги, кто против царя. И Костя сможет быть врагом.

— Знала бы я, что ты такой бугристый, нешто выходила бы за тебя?

Старостин остановился столбом.

— Это как?

— Да так. Раз ты такой драчун, не пошла бы за тебя.

— Ать, дура! Спихватилась. Детей уж нарожали, шестой год вместе живем, а она каяться вздумала. Да ежели хочешь знать, лучше меня мужа не найдешь. А что я за царя заступаюсь, так я должен заступаться. Что это будет, ежели мы все против правительства пойдем!

Он говорил долго, — откуда слова брались, а Марина все плакала, не сдавалась. Так и вышел праздник не в праздник это рождество, — весь третий день Старостин прошатался по городу: тягостно домой было являться после этой ссоры. Потом будни, работа, — мало разговаривать доводилось, — и ссора будто стала забываться. Как раз подспели вести, которые встревожили Старостина и всех, — вести о войне с Японией. Пошли слухи, те страшные российские слухи, от которых волосы

дыбом. Как-то, вернувшись с фабрики, Марина сказала мужу:

— Ныне на фабрике про японцев георили, будто у них один глаз во лбу, а другой в затылке. Будто трудно с ними справиться.

Это впервые после ссоры с Костей Марина дружески заговорила с мужем, и Старостин обрадовался, но сделал сердитое лицо.

— Наговорят вам турысы на колесах. Японцы такие же люди, как все. У нас на заводе полковник говорил, — он был в Японии. Только ростом будто поменьше.

— Едят, будто, белых людей, а сами желтые-прежелтые. Зовут их как-то чудно: макаки...

— Макаки это верно, а людей едят — не верно.

— Да зачем с ними связываются? Не надо бы войны затевать.

— Вот и выходит дура. Государь знает, что он делает, а наше дело молчать и его императорскую волю исполнять.

Марина не нашла, что отвечать, тупо поглядела на мужа.

— А тебя... не возьмут на войну?

В ее голосе Старостин услышал тревогу, возликовал сердцем, но виду не подал, что ликует, ответил сурово:

— А и возьмут, пойду с радостью. Как это говорится: нет смерти краше, когда человек положит живот свой за царя-отечество.

— Ну, нет. Это ты зря... смерть всегда смерть.

— Ну-ну-ну, — остановил ее Старостин, — помолчи, ежели чего не понимаешь. Понадобится, все пойдем.

Вечер принес примирение, Старостин увидел: Марина беспокоится за него.

А слухи росли. И в газетах, что ни день — то набат. На улицах, на рынках, на заводах и фабриках — война, война — только и разговоров. По улицам ходили войска с музыкой, с развернутыми знаменами. Песенка появилась, — мальчишки распевали ее на улице:

Япония? Вот те на!
Вся губерния одна!

Старостин ходил напыжившийся, — война государево дело, он тоже военный, он слуга своему государю, он не

выдаст, если потребуется, он сам пойдет на войну. Это общее тревожно-воинственное настроение его настраивало на воинственный лад.

Япония? Вот те на!
Лишь губерния одна.

— Ты пойми, Марина, такая можно сказать блоха против нас, а тоже прыгает.

— И блоха больно кусает.

— Ну, один, два раза куснет, а потом мы ее под ноготь.

И как памятно было, всю жизнь памятно то утро: Старостин подходил уже к воротам завода, воротник крытого полубубка был поднят, потому что мороз в то утро был ядерный,—ветер дул с Ладозья,—вдруг мальчишка-газетчик натужно-звонким голосом заорал навстречу Старостину:

— Японцы! Напали! На наш флот! В Порт-Артуре!

Старостин стремительно ринулся к нему, задрожавшими руками подал монету, вырвал газетный лист и прочел. И точно мир перевернулся перед ним. Он застонал, рывком отвернул воротник полубубка, будто ему сразу стало жарко, усы ошетились, глаза злобно округтели:

— Да как они смеют... ночью... не объявляя, та-та! — он обругался длинно и грубо, как не ругался никогда.

А возле газетчика уже грудилась толпа — возбужденные, охающие, негодующие люди. Старостин почувствовал непреодолимое желание что-то сделать, делать! Почти бегом он добежал до ворот завода, пробежал контрольную будку. Перед дверями конторы стояла густая толпа рабочих,—все с газетами в руках. Старостин, возбужденный так, что его сподыма была мелкая дрожь, подошел к толпе.

— Что ж это такое, ребята? Как же можно такое злодейство терпеть? Ночью! Ночью!

А с крыльца техник Цекин кричал:

— Мы с древности гордо объявляли врагам о наших намереньях. Князь Святослав посылал гонцов сказать: «Иду на вас!» А здесь злодейски ночью нападают, губят три лучших наших броненосца.

— Ко дворцу! К государю! Бери портреты! — глухим, упорным говором ответили из толпы, и Старостин выкрикивал громче всех:

— К государю! Все к государю!

Толстый черный человек замаячил на крыльце, замахал руками, и толпа сразу смолкла, потому что все увидели: на крыльце вышел сам начальник завода.

— Наш завод теперь должен наречь все усилия. Каждый час теперь дорог.

— Ваше превосходительство!—вдруг крикнул Старостин сам себе удивившийся: откуда у него взялся такой резкий, властный голос?—Ваше превосходительство, мы это сознаем: каждый час дорог. Теперь мы как будем работать? Мы работать будем и день, и ночь, животы положим на работе. А если государю понадобится, пусть нас пошлет на войну.

— Верно!

— А ныне мы хотим пойти к государю, сказать ему, что наша жизнь в его руках.

— Ур-ра!

Круглым жирным басом начальник завода ответил:

— Раз так, ребята, я с вами.

Ворота открылись, черная толпа вывалила на шоссе, пошла к городу. Старостин с портретом государя шел впереди и громче всех (так ему казалось) пел высоким тенором: «Спаси, господи, люди твои...» А по шоссе двигались еще и еще толпы с портретами, иконами. И когда путиловцы вышли на Невский проспект, они потерялись во многотысячных толпах. По всему проспекту играла музыка, несло протяжное пение и крики ура. Офицеров и генералов несли на руках. На Дворцовой площади народ стоял плечом к плечу на всем просторе. На всем!

Измученный вконец, охрипший, похудевший за один день, вернулся Старостин домой поздно вечером. Марина ждала его с готовым ужином. Старостин накинулся на еду, заговорил горячно, хвастливо:

— Видала? Все поднялись. Ну... мы покажем этим макакам.

— Подожди загадывать.

— Что там загадывать? Дело ясное.

Я вот и то... собираюсь добровольно пойти.

Марина уронила на пол тарелку. Старостин нахмурился.

— Что ты? Поаккуратней бы.

— Ты... это... правду говоришь?

— Конечно, правду. Понадобится, пойду.

— А я-то как же? И ребятишки как?

— Насчет денег ежели, так царь о вас позаботится.

— Я не про деньги, а как же мы будем жить без тебя?

Старостин увидел: Марина вся помертвела. Он внутренне засмеялся. Но опять виду не подал, что ее тревога будит в нем радость.

— Ты подумай-ка, Марина, война дело царское. В войне вся правда. И все мы должны итти добывать эту правду. Армия теперь — сердце народа.

Марина отвернулась молча, плечи у ней задержались. Старостин улыбнулся, сказал задушевно, как говорил лишь в хорошие минуты:

— Будет тебе плакать. Не сейчас ведь иду. Ежели понадобится. А то я тоже ведь, как на войне, — наш завод теперь нужен для войны.

— Детей-то пожалел бы.

Старостин нахмурился:

— Детей? Ежели каждый будет о детях думать, кто же воевать пойдет?

И ночью, уже в темноте, Марина обняла мужа крепко-накрепко, зашептала:

— Я знаю, ты у меня храбрый, того и гляди убежишь... Сердце мое не на месте.

Старостин ответил самодовольным мычанием.

... Дни пошли, похожие на раскаленные угли. Весь Петербург ждал: вот-вот начнутся победы. А вести с войны падали, точно набат ночью: столько же в них было тревоги. Погиб минный транспорт «Енисей», — наткнулся на свою мину, погиб броненосец «Петропавловск», и на нем утонул адмирал Макаров. В апреле произошло большое сражение при Тюренчене — оно было проиграно. Прицепиться не к чему было, нечему порадоваться, — набат звонил и тревожил. Старостин жил в эти недели и месяцы такой тревожной жизнью, какой не жил никогда. До

военной службы он был слишком молод, по-деревенски недалеко, военная служба дала ясность, устой, после же он жил прочно: так все было ясно для него. И вот теперь, будто тучей, налетели благие мухи, кусали нестерпимо, кусали так, что хотелось выбежать на улицу и во все горло закричать: «Братцы, да что же это такое?» Ему стало уже трудно уложить себя в прежние рамки — жена, дети, завод. Жизнь весенней рекой — бурной и мутной — выливалась из берегов. Старостин испуганными и пытливыми глазами смотрел направо и налево, стараясь уяснить, что делают и как живут его товарищи. Все жили плохо, беспокойно. Всем было не по себе, — всех кусали благие мухи.

Уже шел май с прохладными дождями, с изумрудной петербургской зеленью, еще боязливым, но уже горячим солнцем, май — месяц бодрости и веры, когда так хочется поверить, что все будет прекрасно. Старостин бодрился, ждал, верил. Утрами по пути на завод он покупал газету у крикливых газетчиков, тут же прочитывал одно и то же: «Наши войска отступили на новые позиции». И злой, как после оскорбления, приходил на завод, вставал на работу.

В переломе мая пришли вести о большом сражении под Циньжоу. Газеты две недели перед этим говорили: вот на этих позициях русские зададут японцам. И когда сражение началось, газеты замолчали на два дня, — и эти дни вышли мучительными для Старостина. Он ходил сам не свой. Весть об исходе пришла вечером, — в «Вечерней газете» было напечатано все то же: «Наши войска отошли на новые позиции...» Старостин не пошел домой, хоть и знал, что в этот час его ждет Марина с ужином, он прошел до Нарвской площади, не замечая пути. В красном вечернем свете четко возвышались среди площади Нарвские триумфальные ворота. Старостин остановился, блуждающими глазами поглядел на ворота. Два древних воина с венками в руках стояли гордо. Статуя победы недвижно ехала в колеснице, запряженной шестью лошадьми. На самом верху виднелась надпись: «Победоносной императорской гвардии благодарное отече-

ство». Он множество раз читал эту надпись, она будила в нем гордость; он, Павел Старостин, тоже гвардеец — потомок тех гвардейцев, которым поставлен этот памятник — ворота. Сейчас, прочитав надпись, он замычал от боли. Бьют Россию! И кто бьет? Немцы—это еще понятно, французы, англичане — понятно («хотя мы всех их били»), а то бьют какие-то японцы — «косоглазые макаки»,—так из номера в номер крыли их газеты. Долго неподвижно стоял Старостин перед воротами, не зная, что делать. Чей-то голос окликнул его:

— Павел, ты что здесь?

Старостин оглянулся. К нему подходил Костя. Со времени ссоры они не виделись. Костя был одет по-праздничному. Он первый протянул руку зятю.

— Ждешь кого-нибудь? Неужели прямо с работы? Что с тобой? Ты не болен? Похудел сильно.

Старостин понял, что Костя не сердится.

— Похудеешь,—угрюмо сказал он.

— А что? Или дома не благополучно? Как живет Марина?

— Марина здорова. И все благополучно. А вот... на войне-то... беда ведь. Костя быстро и пристально взглянул в глаза зятя.

— А ты как думал? Разинь рот,— победа сама свалится? Подожди, брат. Ты куда идешь? К дому? Идем, мне по пути, провожу.

Они пошли назад к заставе. Костя говорил, будто выведывал.

— А ты все такой же? Все веришь в победу? Подожди, не то еще будет. Вот увидишь, в пух-прах нас разобьют.

— Ну, ну, ну,— нахмурился Старостин,—это мы посмотрим.

— И смотреть нечего, разобьют. Нешто с такими министрами добьешься победы?

Старостин взял Костю за руку.

— Ты опять про это, Костя? Я тебя прошу не говорить.

Костя засмеялся.

— Чудак ты, Паша! Ты только пойми, к чему эта механика—твоя война. Захотели закрутить головы рабочим и выдумали войну. Как же, закрутишь! Видал, как зашевелились все? Слышал про попа Гапона? Союз организовал. У

вас открывается отделение. Я не верю ему. А все-таки, занятно. Ты побывай у них на собрании. Что ты забился в свой угол, будто сурок в нору? Не такое время, чтоб в одиночку сидеть. К людям иди. Ну, пока до свидания. Мне сюда. Кланяйся Марине.

И торопливо Костя свернул в переулок.

III. Лес по дереву не тужит

Комната уже была полна, а рабочие всё входили. Плотными рядами они установились вдоль стен, многие сели прямо на пол у эстрады, на скамейках они сжались плечо в плечо, пальца не просунешь. Кто-то закричал: «Отворите окна! Теперь не зима!» Старостин, сидевший возле окна, двинул шпингалетом, толкнул раму. Теплый вечерний воздух рванулся в комнату. Старостин вздохнул всей грудью, выпрямился и по былой гвардейской привычке тронул незаметно усы. Он был одет по-праздничному и настроен по-праздничному, как будто пришел в церковь. Серый пиджак, рубашка с отложным воротником, вместо галстука голубой шарфик с помпонами. Прямой и четкий, он был весь сила и исполнительность. Кругом маячило много своих, путиловцев,—вон бородатый Широков стоит у стены, вон Григорук, похожий на жука. В сдержанный гул мужских голосов ворвался чей-то строгий шип: «Тише, ребята!» Во всех углах отозвалось: «Тише!»

На эстраду по маленькой лесенке в три ступени поднялся священник в черной рясе с крестом на груди. Он перекрестился на икону, висевшую в углу, и остановился у стола. И тотчас же, кто сидел на скамьях, на полу, на подоконниках, все встали. «Так вон он какой — отец Георгий Гапон!» — про себя отметил Старостин, во все глаза глядя на священника. Так много разговоров он уже слышал о нем. Священник одну минуту стоял молча, в упор глядел в лицо толпе. Был он цыгански черен, густые волосы зачесаны гладко назад, молодая бородка подстрижена острым клинышком. И самое замечательное, что повергло в трепет Старостина, были глаза: черные, светившиеся, — они будто глядели в самое сердце.

— Братья-рабочие! — тихо сказал священник, и в напряженной тишине голос его показался громким. — Братья-рабочие! Как истинные христиане, мы начнем свое великое дело молитвой. Пойте все.

Священник повернулся к иконе и, широко крестясь, запел звонким баритоном: «Царю небесный, утешителю, душе истинный!» Старостин дрогнул. Горячая волна разом взмыла его вверх: «Иже везде сый и вся исполняя, сокроуище благих» — запел он трубно, во весь голос. Вся толпа пела молитву с трепетным, горячим под'емом. Старостин будто оторвался от земли, летел на белых, мягких крыльях, а вдали где-то завиднелся желанный берег, что был им потерян вот в эти последние месяцы. Он пел твердо, со всей силой, пело всё его сердце, всё существо. И все, должно быть, испытывали то же: голоса звучали дружно, как трубы в оркестре, цеплялись друг за друга, поддерживали и поднимали вверх, выше, выше.

Оборвалась молитва, священник, не оборачиваясь к толпе, перекрестился, запел: «Спаси, господи...» И уже со второго слова вся толпа одним артельным голосом подхватила молитву: «Господи, люди твоя и сохрани достояние твое, победы благоверному государю нашему императору Николаю Александровичу на супротивные даруя...»

Когда священник повернулся к толпе, его глаза пылали, как две свечи на ветру.

— Братья-рабочие! Мы начинаем свое дело в тяжелую годину войны, — начал священник, и голос его теперь звучал громко, властно, с такой силой, что и не хочешь подчиниться — подчинись.

— Наше собрание — собрание фабрично-заводских рабочих города Петербурга — поможет вам улучшить вашу жизнь и вместе с тем будет твердой опорой для нашей дорогой родины...

Рабочие мало-по-малу опять уселись на скамьях, на полу, на подоконниках, а Старостин все стоял: он позабыл, что у него есть место, — жадно ловил каждое слово, лицо было напряженное, на лбу выступили капельки пота. И будто речь была для него той же молитвой, только проще и яснее, — и молит-

ва давала устой, твердость, былую уверенность в себе.

Священник говорил о родине, о войне, об обязанностях человека перед богом и государством, о том, как надо жить... «Вот-вот, это верно. Так и должно быть!» — мысленно повторял за ним Старостин, становясь все спокойнее и увереннее.

И громче всех он сказал священнику «спасибо», когда тот кончил говорить.

Рабочие, сдержанно разговаривая, расходились с собрания. И этот тихий говор напоминал: вот так бывало в деревне, народ от всенощной в канун Николина дня, в декабре, так же уходит с тихим благоговейным говором. Старостин шел домой веселыми ногами. Он опять был сильный.

— Ну, Маришка, ныне для меня день больше всякой пасхи! — сказал он горячо жене, — ныне я видел святого человека.

И с того вечера опять пошла в устой вся его жизнь: есть за кем идти, есть во что верить. Каждое воскресенье и четверг он по вечерам воскресенье и четверг он по вечерам неизменно был в том же доме с вывеской: «Нарвское отделение союза фабричных и заводских рабочих» — слушал священника. Он пробирался в первый ряд, он упорно смотрел в глаза отцу Гапону, и отец Гапон заметил его упорный взгляд, и, обращаясь ко всем, он часто смотрел в его преданные глаза, будто говорил только ему.

Два месяца ничто не тревожило Старостина: всё ясно и всё правильно. Но вот как-то во время работы (уже перед концом) в токарную пришел рабочий Волнухин — молодой парень, задорный, зубоскал. Он подошел к Сырцову, что работал у станка рядом со Старостиным, что-то сказал ему шопотом. У Сырцова выпал из рук резец. Волнухин подмигнул, усмехнулся, пошел дальше. Старостин сердито посмотрел ему вслед — он не любил Волнухина за зубоскальство, за дерзкие слова о правительстве (он раза два слышал и уже собирался поговорить с ним поплотнее).

— Что он тебе сбрыхнул? — спросил он Сырцова.

— Говорит, сейчас на улице министра Плевае разорвало бомбой.

Старостин остолбенел.

— Ка-ак?

— Ну, обыкновенно, как... на мелкие ключья будто.

Старостин задрожавшими руками для чего-то схватил тяжелые щипцы, побежал за Волнухиным, уцепил его за плечо, зашипел злым шопотом:

— Ты это что говоришь?

Волнухин глянул ему в глаза, потом посмотрел на щипцы — и что-то понял.

— А что? Ты про министра? Убили, брат! Сейчас приходил товарищ из котельного цеха. Говорит, вдребезги! Да вон видишь, вон разговаривают, — гляди, уже все узнали.

Старостин оглянулся. Во дворе перед окнами стояла кучка рабочих: все о чем-то говорили сдержанно и все улыбались. Он, охваченный дрожью, вернулся к своему станку. Там и здесь станки работали вхолостую: рабочие побросали работу, сходились кучками. Уже вышло время: заревел гудок, мастерские мгновенно опустели, на дворе, у ворот, собрались черные толпы рабочих. Старостин услышал смешки, сдержанную радость в словах. «Это что ж? С ума сошли? Убили министра, государева слугу, а они радуются?»

Злобно озираясь, он пошел по улице. Везде виднелись кучки в три, четыре человека, — сойдутся, быстро разойдутся, — все с боязливой оглядкой, а на лицах усмешка, усмешку не спрячешь. «Убили». — «Вдребезги разнесло». — «Куда нога, куда рука». — «Сразу попал в царство небесное». Он слышал эти отрывистые фразы и под сердцем наливалась злоба. «Враги не на Дальнем Востоке, а здесь, в столице». На перекрестках городские стояли угрюмей и неподвижней, чем обычно, подозрительно всматриваясь в прохожих. Старостин сердито оглядывал их: «Эх, вороны! Проворонили!» Он представил, как проходил мимо них социалист с бомбой, вот мимо таких же городских, а они не заметили. Дома Марина встретила его со странным лицом: не то смеялась, не то печалилась.

— Слышал? Министра ахнули так, аж сапоги улетели на крышу.

Он нахмурился.

— Ты никак радуешься?

— Чего мне радоваться? А только чудно уж очень. Бомбой!

— Сама ты бомба, пустая голова!

— Вот тебе нà! — удивилась Марина, — сбесился, что ли? Чего лаешься?

Она сердито поставила чашку со щами на стол. Павел дрожал от злобы, не зная, к чему бы придаться. Он хлебнул раз, другой, швырнул ложку на столешник, в два счета переоделся — всё молча, не глядя на жену. И молча вышел на улицу. Что-то нужно было делать! Пешком он дошел до «Собрания». На улицах еще полуднело: везде маячили кучки народа. И шопот ядовитый слышался, и усмешки. А в «Собрании» было пусто, как в самый серый буднич- ный день. Два пожилых рабочих сидели в читальне, играли в шашки. Сторож равнодушно сидел у вешалки.

— Народ где? А народ гуляет, надо быть. Батюшка уехал в Полтаву, ну, никого и не затянешь, особенно в такой вечер.

— Да ведь министра убили! — наклоняясь к самому его лицу, вполголоса крикнул Старостин.

— Что ж, убили? Студенты, социалисты убили. Нам какое до этого дело?

— Собраться бы надо, поговорить.

— Министру теперь никакие разговоры не помогут. Куда рука, куда голова — все вдрызг.

Старостин посмотрел на старика, — какое равнодушное лицо! Все они радуются или вот так — всё равно им. И ему стало не по себе: почему он больше других волнуется?

— Може, облегчение теперь будет, — понизив голос, таинственно сказал сторож, — послушал я ныне: все его ругают, хоть и на положении мученика он. И все радуются. Голос народа — голос божий.

— Это ты зря говоришь, — сердито оборвал его Старостин.

— Чего зря? Ты сам послушай. Будто войну-то с японцами затеял эта самая Плева. А видишь? Бьют нас и бьют. Беда ведь!

«Верно, беда. Глас народа — глас божий? Все радуются?» И не сказал больше ни слова Старостин, вышел на улицу.

Уставший так, что ноги стали деревянными, он вернулся домой поздно ночью. Марина уже спала. Дверь ему открыла Анютка. Старостин прошел за

перегородку, — Марина, истомленная летней духотой, лежала разметавшись. «Бонба!» — вспомнил он и усмехнулся и, раздеваясь, притронулся к голому Марининому плечу. Марина приоткрыла глаза:

— Это ты? Пошел, пошел прочь, я сердятая.

— На кого?

— На тебя.

— Сердита — давно не бита.

— А ну, побей, побей.

— Ты что ныне про министра-то сказала?

— Ну... министр. Лес по дереву не тужит, одно засохнет — не беда.

— Что ж, и убить можно?

— Уж дело ваше, вы мужчины, вам виднее. (Она помолчала.) Значит за-служил, коли убивают.

— Тьфу, дура баба! Ты за социалистов, что ль?

— Ну тебя с твоими социалистами. Ложись, туши свет.

Она отвернулась к стене. Он минутку постоял над ней, не зная, что делать: ругаться или обнять? Разом ему представилось: Россия, японцы, социалисты убивают на улице министра — истинного слугу царя, Марина не злится на них, как должно: «Лес по дереву не тужит». А тут вот она с полными, белыми плечами, — жена! Он потушил лампу, обеими руками тронул Марину за плечо. Она тихонько засмеялась, шутиво оттолкнула его:

— Ты что? Уйди, уйди! Аль социалисты социалистами, а жена женой?

Она ждала: муж обнимет ее крепко, его горячее близкое дыхание обожжет ее лицо. А муж сказал равнодушно, трезво:

— Ну, будет дурака валять!

И лег, и повернулся к ней спиной. «Вот тебе на!» — про себя удивилась Марина и... рассердилась.

IV. Святой заступник

Незабываемым вышел этот день — день убийства Плеве — в жизни Старостина. Будто крутой поворот на дороге. Всё прямо, прямо путь лежал, вдруг — стоп! — сворачивай в сторону, а в стороне и валежник, и заросли — не разберешься сразу. Главное, убили верного царя слугу, двум царям служившего,

а все радуются. И рабочие на заводе заговорили откровенно:

— Авошь, облегченье будет.

Какое облегченье? Чем недовольны? Почему жизнь всем сразу разонравилась? Жили столько лет и, слава богу, сыты были.

Старостин замолчал, замкнулся, пытливо, по-волчьи всматриваясь в людей, соображал, старался понять: что же в мире происходит? Он даже похудел в эти дни: новые мысли глодали его, как черви листву. На заводе рабочие стали развязнее, говорили громче, смеялись веселей, — точь в точь как бывало солдаты вольнее дышат, когда из роты уйдет ротный и уйдет фельдфебель. И не так поспешно исполняли приказы мастеров, — бывало, мастер крикнет, рабочий бросится, аж земля под ним горит, а ныне развязно, с развальцем. И — что особенно было диковинно и страшно Старостину — рабочие стали равнодушно, а порой насмешливо относиться к нашим неудачам на Дальнем Востоке. Неудач было много. Точно набат в ветреную полночь, вести звонили все тревожней и тревожней. Наши войска отходили все дальше, газеты каждый день обещали близкие победы, а побед не было и не было.

В переломе августа пришла с войны весть о начавшемся большом сражении при Лаояне. «Вот когда мы должны поколотить японцев». И всех в эти дни охватил трепет и нетерпение. Так же, как в первые дни войны, люди хватали газеты, собирались кучками, опять все были русские вместе, потому что именно на русских надвигается беда. Напряжение росло сильнее, сильнее, люди становились все молчаливей, — вот-вот будет победа, и с нею придет радость. А пришла злая весть: наши войска отступили.

Точно крик отчаяния пронесся всюду: «а-а-а!» — именно так воспринял Старостин весть об отступлении от Лаояна. И сразу все стали еще насмешливей, еще развязней, заговорили еще громче, будто потеряли уважение к тем, кого надо уважать. У Старостина появилось чувство нетерпения: куда-то надо бежать, что-то надо делать, кому-то помогать, а так просто сидеть и ждать было невозможно.

В этот вечер — первый, когда была получена весть о поражении, — Старостин тотчас после обеда побежал в «Собрание». Низкий зал, освещенный двумя висячими лампами, был набит рабочими. Все кричали, спорили, у всех были бледные лица и злые глаза. На эстраду вышел председатель «Собрания» — низенький, коренастый рабочий с подстриженной бородкой, в куртке с двумя карманами на груди. Он поднял левую руку вверх, и шум в зале мгновенно упал.

— К нам приехал батюшка! — раздельно сказал председатель.

По залу пронесся вздох, — в нем была радость. Голоса из разных углов закричали:

— Просим... просим поговорить с нами!

Маленькая дверца в стене открылась, отец Георгий вышел на эстраду. Он шел к столу, кланяясь толпе, левой рукой придерживал на груди крест. Все глаза впились в него. И нетерпеливая радость была на всех лицах. Он остановился у стола, момент молча осмотрел толпу — в глаза всем — и заговорил голосом, полным печали:

— Я знаю, друзья мои, мои дорогие братья - рабочие, в этот день вы ждете утешения в той новой скорби, что постигла нашу родину. Все новые и новые испытания возникают на нашем пути. Но не будем приходить в отчаяние, будем надеяться, что пробьет час воли божьей, и счастье снова придет к нам...

Он говорил долго — о терпении, о божьей милости, о покорности, с которой надо нести крест. Старостин широко открытыми глазами смотрел ему в лицо, и каждое слово падало ему на сердце, — он верил. Батюшка поклонился, отошел в сторону, сел на стул. Председатель опять поднял руку:

— Хочет высказаться товарищ Хрущев. Возражений нет?

На эстраду прямо из толпы вышел высокий парень в синей куртке, в высоких сапогах. Он держался прямо, был похож на студента — лицо чистое, длинные волосы гладко зачесаны назад, брови сошлись плотно над переносьем.

«Эге, вот так волчок!» — про себя определил его Старостин. Хрущев кашлянул, заговорил громко:

— Товарищи! Я позволю себе сделать небольшое дополнение к речи нашего уважаемого батюшки. Батюшка не коснулся одного вопроса: где причина неудач наших? Кого надо винить? Разве народ виноват, что нас бьют японцы? Виновато правительство, виноваты министры.

Глухой гул прокатился по собранию. Старостин поднял обе руки в уровень с лицом, словно хотел защититься.

— Да! — громко, с решительной силой крикнул Хрущев, и лицо у него побледнело. — Да, виновато правительство! Мы, социалисты, предупреждали вас, что во главе страны стоят люди бездарные, люди нечестные, стоят казнокрады!..

— Неправда! Довольно! — закричали резкие голоса с разных скамей.

— Долой социалистов! — со злобой выкрикнул Старостин. — Не нужны они нам!

— Верно! Не нужны! Долой! Не пускать их в наше собрание! Дайте высказаться. Знаем, что они скажут! Довольно!

Злобный шум вырос горой, заполонил все. Хрущев махнул рукой, спрыгнул с эстрады. К столу опять подошел батюшка, и шум мгновенно упал.

— Я просил бы вас, дорогие братья, выслушать не только друзей, но и врагов. Голоса перекликнулись:

— Социалисты не враги рабочих.

— Знаем, какие не враги! Социалисты — студенты да господа. Нам не надо студентов.

— Батюшка! Позвольте я скажу! — поднялся Старостин со скамьи.

Он повернулся лицом к залу. Он выпрямился. Он был страшен пылающим лицом, решительностью. Он пальцем показал на Хрущева:

— Смотрите, ребята, враги открыто пришли к нам. Что они нам говорят? «Виновато правительство, виноваты министры». Это как? Значит, бей правительство? Убивай министров? Значит, помогай японцам? Ну, нет. Не дожидетесь! (Он погрозил пальцем). Не дожидетесь! Мы, народ, мы шли всегда с правительством, шли с царем. И пойдем дальше.

— Верно! Долой социалистов!

Старостин обернулся к эстраде. Отец Георгий из-за стола пристально смотрел на него, потом кивнул пальцем, позвал. Кто-то прошептал над ухом: «Иди, тебя зовут». Старостин, весь опутанный смущением, поднялся на эстраду. Отец Георгий взял его за рукав, сказал на ухо: — Ты проводишь меня после собрания.

Старостин — гордый и радостный — вернулся на свое место. Он проходил мимо Хрущева. Он заметил: Хрущев смотрел на него уничтожающим взглядом. И этот взгляд только подзадорил: «Посмотри, посмотри, друг любезный».

Не чувствуя себя, точно дух бесплотный, ватными ногами шагал он в этот вечер рядом с отцом Георгием от «Собрания» к Нарвской заставе и, весь обратившийся в уши, слушал, что говорил ему отец Георгий:

— И социалисты на что-нибудь нам пригодятся. Против них надо бороться, с этим я согласен, но не с такой решительностью, как хочешь ты. Я понимаю тебя,—тебе дорого счастье России. И всем нам дорого. И социалисты считают, что им так же дорого. Ты приоткройся, разберись. Твоя горячая любовь к царю и родине похвальна. Только пусть эта любовь не затемняет твоего сознания.

От крайнего волнения Старостин не всё понимал: «Социалистов защищает?» Он поднес кулак ко рту, осторожно кашлянул, сказал почтительно:

— Батюшка, у нас в полку говорили, что социалисты первые враги престола.

— Ага. Ты на военной службе был? Женат? Жена есть? Я очень рад, что ты посещаешь наши собрания. Такие люди нужны для дела. Приходи, приходи. Может быть, я буду поручать тебе кое-какие дела. Как фамилия? Старостин Павел? Я не забуду.

У конки он благословил Старостина, дал поцеловать руку. Недалеко стояла кучка рабочих. Они почтительно сняли картузы. Гапон издала благословил их, вошел в вагон. Старостин долгим взглядом провожал конку, и у него было такое чувство, что хоть сейчас встать на колени и так стоять,—вот как, бывало, в деревне бабы на коленях провозжают чудотворную икону от околицы по дороге полями, уже скрылась чудо-

творная, и не слышно пения, и успокоилась серая полевая дорога, а бабы все стоят, молятся, кланяются в землю.

Марина ждала его, обеспокоенная,— уже за полночь,—думала, он расскажет ей, что было в «Собрании» (он всегда рассказывал), но Павел не сказал ни слова: боялся, что жена неосторожным, глупым бабыным словом может оскорбить то важное, может быть, святое, что наполняло его всклеп. После исповеди до причастия в деревнях не разговаривают...

И с этого вечера жизнь Старостина наполнилась на все часы: работа на заводе, семья и как венец жизни вечера в «Собрании».

А вечера с каждой неделей становились многолюднее, живее, шумливее. Шла уже осень, дожди зачастили, рабочих в «Собрание» приходило все больше.

И война, как больной зуб, постоянно томила, волновала, раздражала. Наши армии всё отступали. Уже на улицах и на рынках насмешливо говорили о Куропаткине:

— Терпенье, терпенье, терпенье! Когда же дело?

На заводе в курилке молодые рабочие вслух пели новую песенку:

Куропаткин генерал
Всё иконы собирал.
Как проехал через Байкал,
Точно церковь обокрал.

Или:

Дело было у Артура,
Дело славное друзья,
Тоги, Ноги, Камимура
Не давали нам житья.

Перед битвой на реке Шахе (уже в исходе сентября) во всех газетах был напечатан приказ Куропаткина: «Пришло для нас время заставить японцев повиноваться нашей воле, ибо силы маньчжурской армии стали достаточны для перехода в наступление».

С какой радостью прочитал Старостин этот приказ! Две недели шла битва при Шахе, — каждый день звонили газеты о наших успехах и потом отрезали сразу и безнадежно: «Наша армия отошла на новые позиции».

И жить стало страшно. Пошли слухи: волнуются студенты, рабочие, земцы, солдаты. И разговоры приспели откоро-

венные. В «Собрании» всё чаще появлялись чужие люди с буйными речами. Старостин окрестил их студентами, хотя порой это были бородатые рабочие и даже путиловцы, которых он знал в лицо. Однажды крикнул с места такому оратору:

— Знаем мы вас, студентов! Вы — смутьяны!

И рад был, что нашел настоящее слово для этих людей: смутьяны. Смутьяны говорили, что рабочим плохо живется, — и день работы длинен, и плата низка, бесправие полное: что мастер захочет, то и сделает. Смутьяны ругали министров, интендантов, Куропаткина, жандармов, полицию... Еще маленький шажок — и доберутся до самого государя. Старостин приходил в ярость, весь кипит от злости, он забирается на эстраду, говорил немного, по-солдатски чеканил слова, но эти немногие слова были настоящие от сердца.

— Плохо мы живем? Верно. Да ведь мы сыты и одеты, и отцы наши жили. И еще проживем. Нельзя требовать в такое время, когда война, когда нас бьют. Мы можем только просить. Дадут — хорошо, не дадут — потерпим.

— Тут министров ругали, интендантов ругали. Тут, пожалуй, правда есть. Пожаловаться бы на них государю императору. Он бы с ними живо расправился. Как весь народ вздохнет, до царя дойдет. А то слов много, а дела нет.

На эстраде во время речи он не махал руками, стоял по-солдатски прямо, грудь бомбой, смотрел толпе прямо в глаза, — в нем была настоящая сила. И ему толпа отвечала:

— Правильно!

Батюшка кивал ему головой, одобрял. Старостин с довольным видом спускался на свое место... Но, возвращаясь домой после собрания, он проверял и взвешивал слова смутьянов и порой решал: «А ведь, пожалуй, этот чорт правду говорил. Вот беда-то».

И в эти вечера у него было такое чувство, будто его поддаливают огнем... Как свинью на костре.

Уже зима давно шагала белыми звонкими от мороза шагами, — надвигалось рождество. За неделю до праздника перед самым шабашем в токарную зашел

литейный мастер Тетявкин — черненький вертлявый человек — и прямым шагом направился к Старостину. Токаря, ненавидевшие Тетявкина, сразу замолкли.

— Ты Старостин? Зайди ко мне после работы.

И еще к рабочим — Кольцову, Прошкину, Младову: «Зайдите и вы!» И ушел.

Старостин забеспокоился. И все, кого Тетявкин позвал, забеспокоились.

— Что такое?

Рабочие смеялись:

— Ну, братва, попали! Не иначе уволят. Тетявкина даже во сне ежели увидишь — к беде. А тут на яву.

За стеклянной загородкой у Тетявкина собралось восемь человек из разных цехов. Тетявкин, по-собачьи скаля зубами, сказал:

— Директор узнал, что вы ходите на собрание, где ведете всякие разговоры про порядки на заводе. Вы это бросьте, ребята! Я предупреждаю вас. Если узнаю еще, что вы ходите туда, — расчет.

Старостин стоял ошеломленный. Как? Его уволить за то, что он говорил? Он враг хозяевам?

— Да ведь это как сказать... — заговорил он, — мы ничего преступного не совершаем. Куда же нам, в кабак что ли ходить? Там отец Гапон — настоящий священник, святой...

Тетявкин вскинул глаза на Старостина.

— Про этого попа мы слышали. Он в беду вас тащит.

Тетявкин рубанул по воздуху рукой:

— Одним словом, я вам сказал, чего хочет директор. Вы все хорошие ребята, мы вас ценим. А других мы просто бы уволил. Не ходите на собрание.

Старостин тупо оглядел рабочих. Те стояли, виновато опустив головы.

— Как же так? Я даже не знаю. Смутьяны там иной раз бывают, мы гоним их от себя. Мы за царя и за бога. Мы не социалисты какие.

— Я сказал, и разговор кончен. А ты, Старостин, смотри там.

Тетявкин повернулся, сделал вид: разговор кончен. Рабочие вышли во двор. Волнухин и еще трое поджидали их у ворот.

— Уволили?

— Нас-то не уволили. А вот других будто увольняют.

Волнухин придвинулся прямо к лицу Старостина, сказал со злым смехом:

— Вот! А ты постоянно за них. Пятки у них лижешь.

Старостин рванулся, будто его ожгли кнутом. Он схватил Волнухина за руку:

— Ты! Что говоришь? У кого пятки лижу? Я т-тебе дам! Я за порядок стою. А ежели Тетявкин грозит, так я ему сам башку сломаю. Найдем и на него управу.

Волнухин засмеялся.

— Эге! Задело? Ну, гляди, товарищ, гляди!

— И глядель нечего. Без тебя вижу. А смутьянов гнать будем от себя, шею накостилаем. Мы не посмотрим, что они наши товарищи, за одним станком с нами работают.

От злости он побледнел, брови сошлись,—еще одно слово, он ахнул бы его кулаком по улыбке: не смейся!

Как после Лаоянского сражения полно было «Собрание» в этот вечер. Рабочие сидели на скамьях, на полу, на подоконниках, плотной массой стояли вдоль стен. Старостин не мог пробраться на свое обычное место, — на первой скамье,—остался в толпе у двери. На эстраду выходили один за другим знакомые и незнакомые:

— Что с нами делают? Это что же? Смеются? Нешто мы преступники? Увольняют за то, что ходили послушать нашего батюшку.

— Верно! — громче всех выкрикнул Старостин, — Тетявкин виноват.

— Не один Тетявкин. Тут и директор виноват.

Вдруг на эстраде появился Хрущев. Старостин забеспокоился: «Чего этот

лезет не в свое дело?» Он громко сказал:

— Не пускайте социалистов!

Но кто-то рядом властно остановил его:

— Пускай скажет. Время такое, — надо всех слушать.

— Товарищи! — во всю силу, небывало властным голосом закричал Хрущев. — Товарищи! За что вас увольняют? Почему над вами измываются? Потому что у вас нет прав. Какие у рабочего права? Работай, ешь черствый хлеб, а если в тебе что не понравится,—вон, на улицу.

— Верно!

Старостин напряженно ждал: он сейчас крикнет Хрущеву: «Долой!» Он ловил момент, чтобы крикнуть у места, во-время. Но Хрущев говорил так, что не вяжешься. И рабочие кругом выкрикивали: «Верно!» Хрущев пошел с эстрады под гром хлопков. «Вот тебе и социалисты».

— Батюшку! Просим батюшку! Где он?—взывали голоса.

— Сейчас приехал. Идет.

Отец Георгий подошел к столу. Зал замер.

— Братья-рабочие!—утомленным голосом сказал батюшка. — Произошла ошибка. Я уверен: мы добьемся, что уволенных рабочих примут обратно. Разве мы преступники?

Он говорил просто, тихо, не поднимая голоса. Он говорил как-будто о мелком деле.

— Выбирайте делегатов от собрания, я пойду с ними к директору, поговорю.

Старостин не сводил преданных глаз с отца Георгия, будто видел самого государя: «Вот он, заступник наш!»

(Продолжение следует).

Трамвайный сосед

НИКОЛАИ БРАУН

В ладошах зудёж разнося по кварталам,
Шатаясь в растворе дремотной лентцы,
Уже разошлись по домам театралы,
Последние высосав леденцы.

Уже бесцветная, как утопия,
Красуется, белой назваться непрочь,
Несущая смесью болота и тополя,
Почти отмененная, куца́я ночь.

Уже к передышке готовятся рельсы,
Зябнут стрелочницы на посту,
И каждый вожатый последнего рейса,
Как вожжи, накручивает быстроту.

И если коснуться, — наверно, во всяком
Вагоне, берущем такой перегон,
Трясется осевший на градус гуляка,
Сопит торопыга, ныряющий в сон.

Натянуты лица, подобраны руки,
Души распоясаны, как животы,
Двигается марево стекол и скуки,
Дома отступают, гремят мосты.

Двигается в ночь разноразной биографий,
Разногласица дел и судебных,
Выложь им сердце — на всех не

потрафишь,
Хочешь — допрашивай, как на суде,

Хочешь — по-дружески вытяну наружу
Все, что по душам легло взаперти.

Думаешь — каждый, проверив оружие,
Пойдет за эпоху горласт, ретив?

Может быть, этот, не раз подыхавший
В стуже теплушек и сыпняке,
Этот, действительно, не промажет,
Всадит без мушки наверняка.

Может быть, этот, как лук зеленый,
Новый до пят на новой гряде,
Галстук подвяжет, башки не уронит,
В гроб, если нужно, пойдет, охладев.

А этот, бескостный, как мешок,
Сплошь начиненный остатками дури,
Примется, хныча, совать в платок
Слезы о гибнущей культуре.

Правда, не краше и этих лицо
С кургузым до жути багажиком:
Им бы служебное гнуть колесо,
Тупеть, пресмыкаясь барашком.

Из этих любого бери, потроши —
О палец в боях не ударят,
Им порох эпохи в семейной тиши
Назойливой кажется гарью.

Я мог бы, пожалуй, продолжить обзор,
Но рейс коротает. Редеют соседи.
И ночь, как поистине белый раствор,
Течет островами и тополем цедит
И Строганов мост подымает в упор.

Неотосланное письмо брату Максиму

ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ

1

Здравствуй, брат мой смуглолицый,
младший баловень в семействе;
из бунтующей столицы
шлю привет тебе и вести.

Много миль меж нами длинных,
много лет, как нет мне места
в перелесках и равнинах
Старобельского уезда.

Ой-ли солнце над Гайдаром,
луг, окутанный туманом,
шопот вишен за амбаром,
шум пшеницы за курганом,

белый склеп каменоломни,
кавуны, волю и пряжа...
Это все, что я запомнил
из родимого пейзажа.

Но зато я помню
до мельчайших эпизодов
нашу пору золотую
между хат и огородов,

как мы были шаловливы,
как в сады ходили тайно,
как ощипывали сливы
у Трофима Несвайгаило,

как в яру, в начале лета,
ты сломал мою сопилку,
как тебя я, брат, за это
стукнул палкой по затылку,

как бродил со мной ты рядом
(чуть стройнее, чуть короче),
как смотрел ты карим взглядом
(чуть задумчивее прочих).

Чем мы были, чем мы стали, —
перевернута страница, —
бить баклуши перестали,
стали бриться да жениться.

И не только стали этим
заниматься между прочим,
а и в избранные метим
и о будущем хлопочем.

2

Ты в Донбассе и в колхозе —
в двух важнейших единицах,
я — в статьях, стихах и в прозе
на сереющих страницах.

Четким шагом иноходца
ты шагаешь в ногу с веком,
мне же еле удается
оставаться человеком.

Бойким, добрым и наивным
я пришел в литературу,
петь земле земные гимны,
возвеличивать культуру.

Думал: многим давши «фору»,
самым умным стану скоро,
но в одной Москве в ту пору
было умных душ под сорок.

Вообще же в этом мире
умных может оказаться
двести семьдесят четыре
или больше раз в двенадцать.

И умом блеснуть не смея,
я за жанр хотел приняться,
но и здесь моя затея
гору встретила препятствий.

Нужно много группировок
и поклепов, и пощечин,
и дискуссий, и сноровок,
чтобы стиль ваш был упрочен.

Как же я, простой, как глыба,
чуждый методам и школам,
удержусь на этих сгибах,
чтоб остаться хоть веселым.

Если жанров штук пятнадцать
или методов штук двадцать, —
как за ними мне угнаться,
чтоб от масс не оторваться,

впрочем, стиль развязный этот,
да и все посланье это —
тоже некоторый метод
(растяжение сюжета).

3

Брат мой кровный, друг далекий,
вскрыт конверт, листки размяты,
как прочтешь ты эти строки,
как узнаешь в них меня ты.

Ты сурово брови сдвинешь
и глаза сощуришь строго,
увязая ими в тине
ритма, замысла и слога,

и подумаешь: куда же
я слова девал простые,
если в письма к брату даже
кренделя кладут витые.

Знаю, брат, и потому-то,
не предвидя оправданья,
окончательно и круто
отрекаюсь от посланья.

Очень многим в эту пору
я охвачен и волнуем,
и с тобой об этом скоро
мы попроще потолкуем,

чтобы зерна в поле сеять,
в рудниках взрывая камень,
ты не думал, что в Москве я
занимаюсь пустяками.

Зооферма

Очерки с фотоиллюстрациями автора

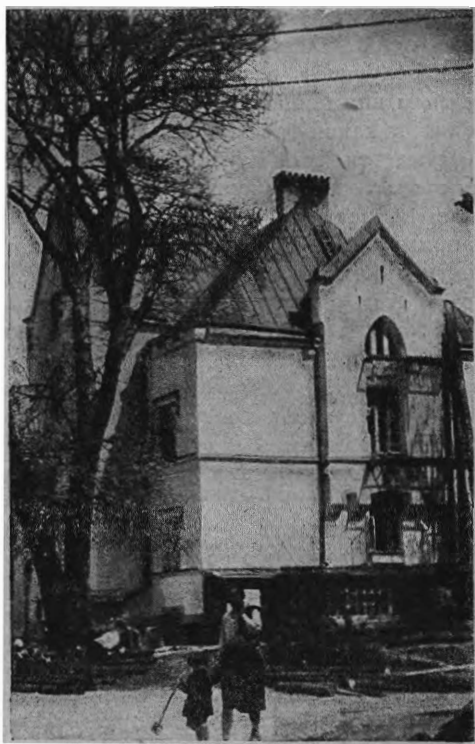
МИХАИЛ ПРИШВИН

I. Первая московская

Экспорт пушнины СССР в отношении других экспортных товаров стоит на первом месте. Общее мироснабжение пушниной мы делим с Канадой, потому что из других поставщиков пушнины Соед. Штаты дают сравнительно немного и совсем мало Океания.

Нельзя закрывать глаза на то, что такой огромный вывоз пушнины должен в конечном результате привести к полному уничтожению дикого зверя. Значит, совершенно необходимы чрезвычайные меры как по регулированию отстрела зверей, так и их разведению в искусственных условиях. Вот почему началась у нас лихорадочная работа и в деле охраны природы, и в деле пополнения естественной убыли пушнины путем разведения ценных зверей. Самая крупная в нашей стране и во всей Европе зооферма Лисья поляна или «Первая московская» находится в 13 километрах от ст. Пушкино Сев. ж. д. по Ярославскому шоссе. В нынешнем году в ней с приплодом около 1.500 серебристо-черных канадских лисиц и стянуто из других зооферм сюда для опытов приручения и размножения в неволе до 200 соболей. Кроме того, на ферме живут и размножаются в значительном числе американские норки, скусн, ондатра, этот американский, уссурийский и другие пушные звери. Некоторые из них попадают сюда лишь на короткое время, чтобы, отдохнув, следовать на другие зоо-

фермы. Эта текучесть состава населения зоофермы относится и к основному населению, к лисьему: новый приплод рассылается в новые зоофермы, потому что пока дело идет не о непосредственных барышах, а о грандиозном строительстве в соответствии с громадным вывозом естественного богатства пушнины. Так, вблизи ст. Салтыковка Нижегород. ж. д.



Главное здание зоофермы «Лисья поляна»

строющаяся «Вторая московская зооферма» с примыкающим к ней зоотехническим вузом. обещает превзойти Америку, значит, быть единственной в мире по своим размерам.

Можно сказать, что дело, более всех других питающее нас валютой в настоящее время, чрезвычайно обижено в отношении общественного внимания. Огромная масса населения страны до сих пор смотрит на охоту как на забаву и отдых, и жизнь зоопарка большинству кажется устроенной просто для развлечения. Много раз, проезжая станцию Пушкино, приходилось заводить речь в вагоне о грандиозной зооферме и потом рассказывать о ней, совершенно как если бы она находилась не в 13 километрах от станции, а где-нибудь в Канаде.

— Представьте себе,—говорили мы,—целое поле с вольерами, такое большое поле с таким множеством зверей, что для обзора их устроены на этом поле пять вышек по типу обыкновенных пожарных, на каждой такой вышке сидит дежурная барышня, выслушивает по радио звуки, сопровождающие, например, рождение маленьких лисят, ведутся журналы этих маленьких событий...

Все слушают рассказ такой с необычайным вниманием, как будто все происходит в какой-то сказочной стороне...

Думается, есть глубокие причины этому отставанию общественного сознания в деле разведения зверей сравнительно, например, с неустанным вниманием в области движения крупной индустрии. Дело в том, что польза технических изобретений выявлялась уже очень давно, и людей, причастных к технике, великое множество. Но звероводов в современном смысле слова почти можно пересчитать по пальцам. Десятки тысяч лет тому назад люди стали приручать диких зверей инстинктивно, и так все оставалось почти вплоть до нашего времени. Можно сказать, что только в самом конце века, в 90-х годах, началось движение в области приручения новых видов зверей. Теперь же мы, вооруженные всеми достижениями науки, обращаемся к делу дикаря и его прежнее дело, оставленное, забытое, берем вновь на себя: не только лисицы становятся вполне домашними, чрезвычайно рентабельными животными, но даже и страусы. Можно



Энот американский

сказать, что наука вот сейчас только взяла в свои руки дело, в привычном сознании связанное с жизнью отсталых людей или вовсе дикарей, — вот почему внимание общества пропускает новейшие события в этой области. Не надо быть, однако, пророком, чтобы предсказать в недалеком будущем стремительное возрождение интереса к приручению и разведению новых домашних животных: это сделает дремлющий в нас инстинкт дикаря в соединении с новейшими достижениями науки. Да, не нужно быть пророком, достаточно посмотреть на юных зоотехников, кормящих на зооферме лисиц, соболей и энотов: с каким старанием, охотой и любовью они все делают! Новое живое дело столь увлекательно, что милиционеры, стоящие на постах в зооферме, насмотревшись, бросают милицию и становятся звероводами.

II. Соболя

Новые и новые звери в последние десятилетия начинают входить в повседневную жизнь человека: канадская серебристо-черная лисица, канадский гусь, пятнистые олени, маралы, вапиты, страус и много других. Среди разных животных на зооферме, скунсов, нутрии, ондатры, норки, энотов американских и уссурийских, хорьков, лисиц всех разновидностей, канадских, чернобурых, огневок, сиводушек, самый для нас инте-

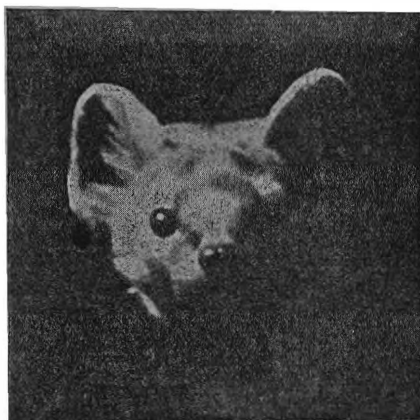
ресный зверек, без сомнения, соболь. Он мало чем отличается от обыкновенной куницы, непосвященный в пушное дело ни за что даже и не отличит куницу от соболя, разве только по хвосту: у куницы хвост значительно длинней и, кажется, пышней соболинного. Но куница стоит 20—30 рублей, а за живого соболя американцы нам давали по 10 тысяч долларов! Мы, однако, не соблазнились валютой, оставили за со-



Одна из пяти вышек для наблюдения за лисицами и выслушивания событий в клетках по лисофону (радио)

бой монополию: Сибирь — единственное место на земном шаре, где живут соболя. Имея в виду огромную ценность соболей, можно себе представить, какое громадное значение имеет вопрос о размножении соболей в неволе. Жизнь соболя в тайге — полные потемки. Это, впрочем, ничуть не удивительно; взять жизнь самого обыкновенного зверька, хотя бы всем известной белки, и то мы ничего почти не знаем о ней, только в самые последние годы наука действи-

тельно спускается с лабораторных высот, и натуралист начинает видеть ее в природе сам, без помощи сказок и Бремса. Снаряжались целые экспедиции в Сибирь для изучения жизни соболя, есть отчеты этих экспедиций в объемистых томах. Все свидетельства ученых, бесчисленные показания самих промышленников сходились на том, что гон соболей бывает ранней весной, в феврале или даже в январе. Не было возможности сомневаться в этом, до того много было указаний на зимний гон в предвесеннее время. Было еще убеждение в том, что соболей нельзя держать вместе парами, что так они загрызают друг друга. И потому, желая спарить соболей, их пускали в одну клетку в предвесеннее время. Никогда не было приплода от такого спаривания. И вот вдруг недавно Мантейфелю в зоопарке удалось получить приплод от соболей. Одновременно с этим случайно получился приплод и в Соловках. В обоих случаях спаривание соболей происходило не в феврале, а в июле. Тогда оказалось, что множеством лиц засвидетельствованный зимний гон есть гон ложный, от которого в природе приплода не бывает. Настоящий же гон, которого охотники не могли наблюдать в тайге, потому что не остается следов от него, бывает в июле и августе. После этого гона у соболей, как у коз и летучих мышей, или оплодотворенное яйцо остается до весны в скрытом состоянии, или спермозоид в стадии сперматофоры. Очень возможно, что начало беременно-



Соболь Куцак

сти у соболюшки в феврале сопровождается с ее стороны какими-нибудь движениями, оставляющими на снегу следы, и это их промышленники принимали за следы гона. Это открытие летнего гона совершилось можно сказать только вчера, и очень возможно, что все объясняется не так уж просто. Мы передаем здесь только то, на чем предположительно сходится большинство, чтобы ясно представить при огромной ценности живого соболя значение опыта на 1-й московской зооферме с размножением 200 экземпляров соболей!

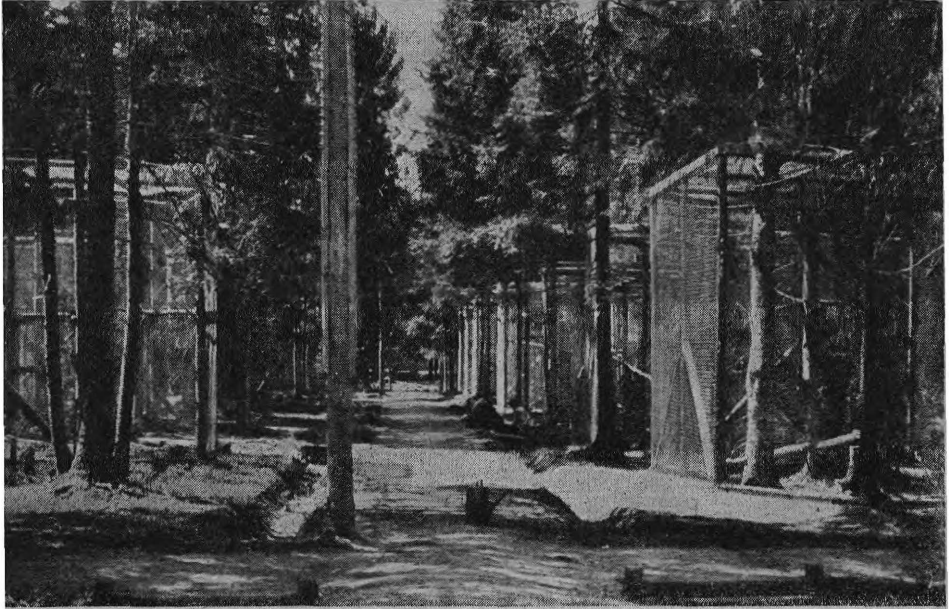
За границей делают опыты с куницами, там нет соболей, и обыкновенно имеют дело с небольшим числом экземпляров, там не может быть перебоя в продуктах для кормления телятиной или голубями, наконец, нет и такой спешки; словом, нашим строителям нечего было брать из немецкого и американского опыта, приходилось придумывать все вновь от мелочей. При новом деле, конечно, перемены на каждом шагу. Так первые вольеры представляют собой гигантские клетки, в которые можно вставить средних размеров слона. Эти клетки, вольеры, устраивались так, что цинковая сеть, охватывая деревья в лесу, оставляла их нетронутыми внутри вольера. Между рядами этих клеток, заключающих в себя основания елей с сучьями, делалась просека, и наблюдатель, проходя кварталом, видит направо и налево соболей. Такой парк с нетронутыми дикими деревьями и мелькающими среди солнечных пятен чрезвычайно грациозными зверьками с оранжевыми пятнами на горле имеет очаровательный вид. Птицы поют: соловей, кукушка, совсем как в лесу. Но пионеры звероводства не рассчитывали вначале, что дело будет быстро расти, и если соболя будут поступать сотнями, то и места нехватит в парке для обширных вольер. Есть еще ряд мелких и неожиданных обстоятельств, отчего приходится расстаться с первоначальным планом соболиного питомника. Тайга представляется темной, кажется разумным укрыть соболей в тень огромных деревьев. Но наблюдения показывают, что сами соболя стремятся к солнечным пятнам,—где пятно, там и соболю дремлет, свернувшись клубочком. Кроме то-

го, чем больше места занимает вольера, тем рискованней в том смысле, что где-нибудь в сетке случится разрыв и соболя убегут. Иногда бывает почти невозможно в огромной вольере предусмотреть разрыв одной или нескольких ячеек. Вот было в прошлом году: дерево в одной вольере, раскачиваясь от ветра, мало-помалу размяло прилегающие к нему ячейки, и между стволом и сеткой образовалась щелка, достаточная, чтобы собою в нее пролезть. Конечно, соболю, гибкий хищник, прежде всего исследователь, видит дырочку — пролезет, встретит закоулок — зайдет. В этом случае он, однако, не исследовал, потому что событие совершалось постепенно и незаметно. Соболю продолжает снова по дереву, не подозревая, что есть уже выход из тюрьмы. И очень возможно, что он так бы долго бегал и в питомнике долго было бы все благополучно. Случилось, одна молодая сотрудница вздумала через проволоку поделиться с соболем мишкой. Она очистила карамельку, половинку взяла себе, половинку отдала собою. Тот, любитель сладкого, быстро съел свою часть, а сотрудница пошла дальше, бросив бумажку от конфетки против клетки. Соболю заметил, возможно, изучил в подробностях эту бумажку, еще когда сотрудница ее развертывала, и теперь видит, что эта самая волшебная бумажка лежит около клетки. Конечно, он хочет достать ее и начинает бешено метаться по клетке, попадая в такие закоулки, которые при нормальной жизни были ему неинтересны. Так он попал в ту щелку, которую намало в цинке раскачиваемое ветром дерево. Случайно сотрудница оглядывается и видит в ужасе на дорожке соболя, занятого обложкой мишки. Она хорошо знала характер соболей: эти зверьки, если только не испорчены, вовсе не боятся человека, — какой прекрасный материал для приручения! Сотрудница вынула изо рта уцелевшую свою половину конфетки, поманила ею соболя и, когда он прибежал, немножко дала ему. Потом быстро пошла к вольере и по пути бросила еще кусочек, и соболю прибежал за этим кусочком. Так, деля драгоценную мишку, она вошла внутрь вольеры и заманила соболя. А то было соболю на-

шел разрыв на полу под землей, выбежал и забрался на дерево. Собрались сотрудники, рабочие, стали цепью вокруг дерева, наладили ловушку и внизу на длинной веревке привязали голубя. Как только голубь взлетел, соболь бросился на него, впился в затылок, замер, выпивая голубиную кровь; в это время его и схватили. Но не всегда проходит так благополучно: прошлый год сбежало шесть соболей, целое состояние, если взять американскую це-

ка. И — кто знает? — завтра, может быть, сделают какие-нибудь новые ценные наблюдения и выпустят соболей из тюрьмы жить в огражденном парке на полной свободе.

Самый домик внутри вольеры устраивается в настоящее время двойным: нижнее помещение из досок столбом, врытым в землю, — это летнее, холодное помещение; на этом столбе стоит ящик — зимнее помещение с сеном; впрочем, заметно, что соболя

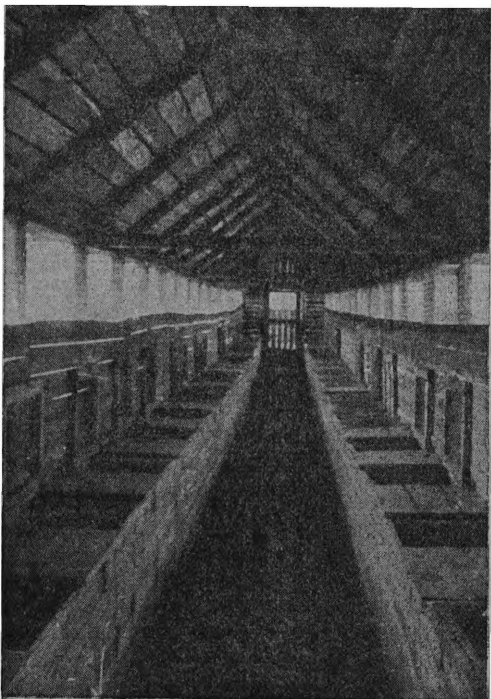


Соболиный парк

ну за живого соболя. По всей вероятности это обстоятельство сыграло некоторую роль в постройке нового сарая для соболей, похожего на образцовую тюрьму для людей: длинный коридор и в непосредственной близости дверцы соболиных камер, самцы и самки друг против друга. Конечно, таким образом получается громадная экономия в площади и отсюда лучшая возможность следить за животными. В смысле охраны соболей от побегов вопрос, впрочем, разрешается другим, тоже надежным путем: вокруг питомника теперь начали строить ограду таким образом, что соболь, забравшись по ней, встречается наверху с листовым железом, завернутым козырьком внутрь питомни-

и летом предпочитают это верхнее помещение. Конечно, все деревянные части жилья снабжаются металлической сеткой, потому что собою зубами рвать дерево все равно что нам рвать бумагу пальцами. В одном летнем столбике однажды заткнули входное отверстие деревянной втулкой и так оставили внутри соболя. Через полчаса разгрызенная втулка лежала на земле, а соболь сновал по вольере.

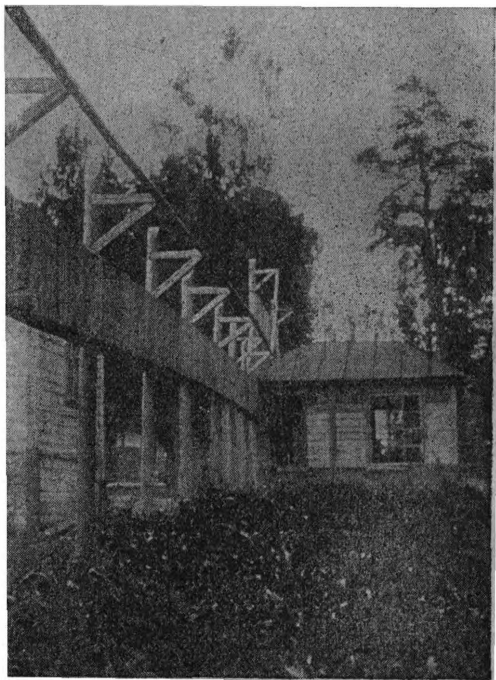
Как всякие животные, соболя рождаются с разными характерами, иные очень быстро приручаются. Одна практикантка, именем Нина, демонстрировала нам для фотографического снимка соболя, который доставал у нее изо рта леденец, — на снимке получилась Нина с сободем,



Соболиная тюрьма

напоминающая чуть-чуть Леду и лебедя. Эту самую соболюшку, прозванную Куца я, приходилось однажды очень долго стеречь у окошечка домика, чтобы снять, когда она покажет головку. После долгого ожидания оказалось, что она не в домике сидит, а за спиной в мешке распоряжается завтраком. И вообще, все соболя, можно сказать, представляют превосходный материал для приручения, если только нет каких-нибудь особенностей в характере. Рассказывают, будто Ясак, громадный экземпляр, повидимому помесь соболя с куницей, бросается на человека и очень опасен. Возможно, потому он выработался условный рефлекс: человек входит в клетку всегда с пищей... Так объясняют причины поранения Ясаком, хотя у меня лично однажды Куца я забралась в пустую сумку, конечно, в поисках пищи, и когда я, чтобы взять ее, запустил туда руку и она взяла в рот мой палец, приняв за пищу, то чуть пожав его зубами, сейчас же выпустила и отлично поняла, что это человеческий палец.

Из тайги на зооферму часто попадают беременные самки и потому можно видеть, как соболята рождаются, как ходит за ними матка, как они растут. Они рождаются слепыми в серопепельном пушке, приблизительно через месяц начинают смотреть, и цвет шерсти делается черным. О всем этом на ферме постоянно записывают в журналы, и уход за сободем теперь уже достаточно изучен. Но одно, самое главное, размножение соболей как в естественных условиях, так и в неволе, покрыто глубокой тайной. И сюда теперь устремлен весь интерес зверовода. С нетерпением каждый ждет июля, когда сотня пар соболей будет спущена и начнется опыт, имеющий мировой интерес.



Начало постройки забора с «kozyрьком»

III. Гон соболей

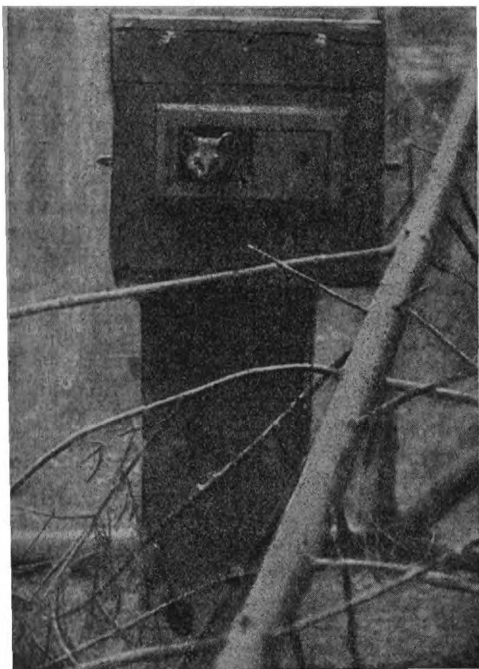
За месяц до начала гона стали открывать на несколько часов дверцы тамбура, соединяющего вольеры предназначенной для опытов пары соболей. Завидев друг друга, соболя, самец и самка, рычали, ворчали, но еще не гоня-

лись. В июле начался грандиозный опыт спаривания в неволе двухсот соболей. Как же узнать, с какой целью гонится соболь за соболюшкой, желает он ее покрыть или убить? Предшествующие опыты ничтожны, наблюдателей мало. Решили идти на риск и предоставлять соболям при гоне полную свободу.

Даже в самом Пушкине жители имеют слабое понятие о зооферме, но звероводы, пионеры этого совершенно нового дела, стали стекаться к гону, как к великому празднику с Урала, с Соловков, из Сибири. Мы могли приехать только во второй половине июля, когда гон был в разгаре и в драке уже погибли три самки и один самец. Сотрудники смущены, расстроены и еще бы: погибло четыре соболя и не произошло ни одного спаривания.

Вот говорят:

— Спермозонда в половых путях не нашли, значит, нет объективных данных изнасилования.



Жилище соболя внутри вольеры: внизу столбиком — летнее, вверху ящиком — зимнее

Это значит, что гибель самки произошла, может быть, вовсе даже не от садической похоти самца, а просто он зарезал ее как врага.

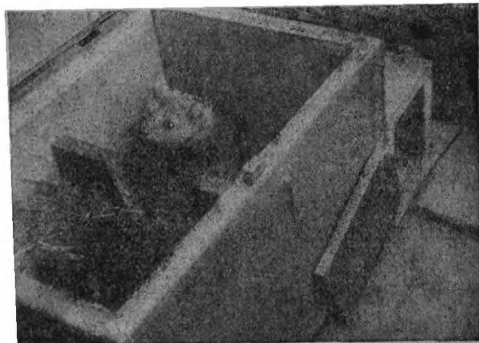
Спорить об этом можно сколько угодно, потому что таежная жизнь соболей совсем неизвестна.

Сокрушенно сказал один из сотрудников:

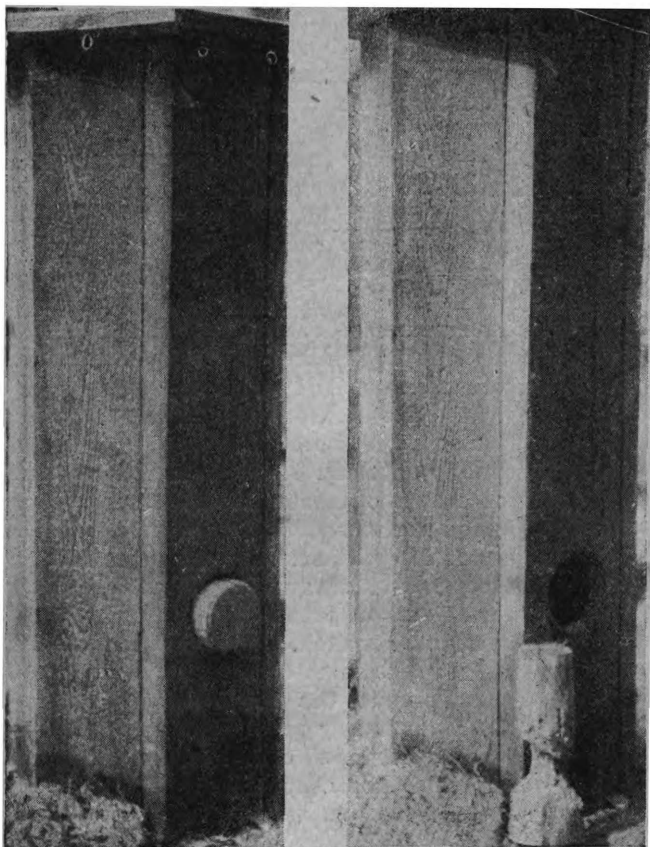
— Мозги отпадают!

Можно было подумать, он хочет сказать о всем соболином деле: такая темная ночь, что мозги отпадают. Но это значило совсем другое. Мантейфель, открывший в зоопарке истинный срок спаривания соболей, в то же время сделал предположение, что оплодотворение соболей зависит также и от условий питания, что мозговое питание по всей вероятности самое благоприятное для оплодотворения. Потому были поставлены опыты с питанием. И вот где-то, кажется в Новосибирске, случилось, привезли измученных дорогой соболей и за отсутствием телятины (несразу достанешь, — телят резать запрещено) покормили их кониной, притом самой старой и не очень даже свежей. И эти соболя, поев конины, без всякого крика и драки, спарились у всех на глазах. Извольте достать при современных условиях мозговой корм, где достать живых голубей, если и для людей они стали лакомством? Ловили полевок, ловили лягушек, птичек, отнимали у кошек котят. Какой это труд! и вот в Новосибирске спарились после конины, а у нас кормили мозгами и ничего: значит, «мозги отпадают».

Ум теряется в догадках. Может быть, для спаривания соболей необходимы условия молчания таежной глуши, и мы, прогуливаясь по зооферме, мешаем гону? И это предположение отпадает:



Зимнее жилище соболя с открытой верхней доской



Как освободился соболь

на какой-то зооферме в Сибири соболя спарились на сапоге заведующего фермой.

И множество таких гипотез-поденок, нечаянно возникающих и тут же отпадающих. Полные потемки! Конечно, хотя и на короткий срок, но мы ничем не отличаемся сейчас от первых дикарей, начинавших приручение животных. Утрами и по вечерам там и тут в парке слышится резкий крик, иногда до того определенно вызывающий представление о смертельной драке, что юноши-практиканты сломя голову мчатся в ту сторону. Мы выбрали себе для наблюдения гона одну пару соболей с оранжевыми пятнами на горле. Соболюшка, как полагается, была с более удлиненным рыльцем, более тонкая, грациозная, у самца рыльце туповатое, он потолще, поосанистей. Он бежал за ней с глухим урчанием, она же кричала,

сколько только хватало мочи: повышала тон, учащала слога в роде: ти-ти-ти! при его приближении, снижала звуки, когда опасность быть схваченной становилась меньше; через это получалось впечатление почти пения какой-то крайне нервной истерической недотроги. Он скоро открыл рот от усталости и так все время не очень ловко, упрямо преследовал ее и рот заметно открывал все больше и больше. Конечно, соболюшка тоже и, может быть, еще больше приуствовала, но вот что она придумала на ходу себе для отдыха. Где, правда, отдохнуть? Забраться в домик, — конечно, он тоже туда. Посередине вольеры стояло большое дерево, сучья его были раскинуты во все стороны. Бегать по этому дереву чрезвычайно опасно, потому что очень легко для соболя, привычно, тут он ее непременно догонит и схватит, чтобы вместе клубком свалиться на пол вольеры. И вот что она себе выдумала.

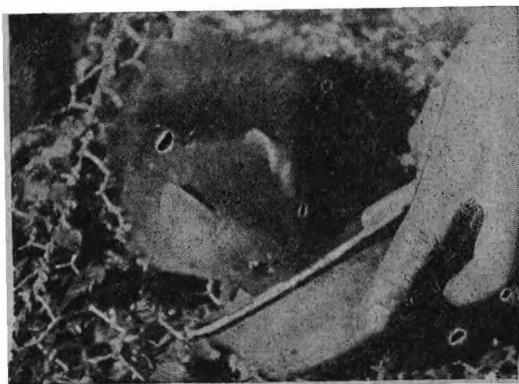
Забралась на потолок вольеры и по ячейкам цинковой сетки, цепляясь лапками, медленно добралась до середины и привесилась. Вбежав по стенной сетке очень быстро, самец на мгновение задумался, когда за соболюшкой пришлось итти головой вниз. Все-таки он пошел и очень медленно. Мало-помалу он стал было уже к ней подбираться, и она даже чуть-чуть подвинулась, но вдруг он оборвался и свалился на пол. Теперь это падение ставит его втупик, когда он взлетает наверх и надо итти вниз головой потолком, он предпочитает ринуться вниз и пробует достигнуть ее по дереву. По правде говоря, с того места, где дерево через потолок выходит наружу, соболю очень легко прыгнуть на привешенную соболюшку, чтобы свалиться с ней вниз по-кошачьему, но почему-то на это он не решается и летит вниз головой по дереву, и взлетает опять по стене, и там, мгно-

венья подумав, тоже не решается добираться по ячeyкам, и опять с раскрытым ртом летит вниз, и поднимается по дереву. Конечно, и соболушка не все время висит на одной ячeyке, приближение соболя ее возбуждает, она каждый раз пятится от него по ячeyкам туда или сюда, и вот однажды она как-то неловко перехватила проволоку, оборвалась и упала вниз. Мгновенно он свалился тоже, бросился, она не успела добежать до стенки, он настиг ее, схватил, и оба свернулись в один оурущий на весь парк клубок. Это не было спаривание, через какую-нибудь секунду, наверно, он нащупал бы своими страшными зубами ее шею, и все было бы кончено. Но юноша, наблюдавший гон, как ястреб, бросился в вольеру, легким ударом сапога разбил клубок на двое, соболушка взлетела наверх, привесилась, а соболь опять начал сновать.

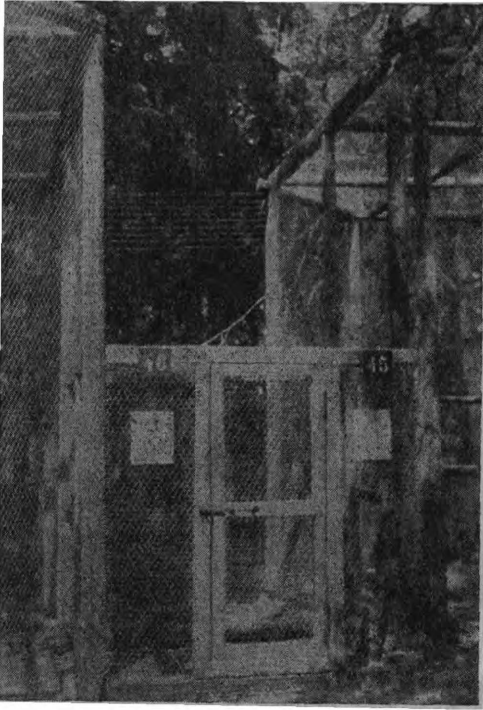
Мало-по-малу к нашей клетке сошлись все научные сотрудники фермы, и старый профессор, приехавший на гон с Урала, сказал, что так не должно быть, у них там, на Урале, будто бы злобы нет у соболей, что злоба эта не есть результат полового возбуждения, а чисто искусственная.

Мы все разместились на пнях, на траве и начали маленькую дискуссию о соболином деле. Уральский профессор стал вводить нас в вопрос издаалека. Вот мы долго думаем, и масса людей еще долго будет думать, что пение самцов птиц является брачной песней, что токующий глухарь или тетерев так же чарует своим пением глухарок и тетерек, как чаровали в свое время знаменитые певцы Шаляпин и Собинов дам в ложах и многих истеричек доводили до совершенного иступления. И вот оказывается, по новейшим исследованиям, что пение птиц вовсе не связано с половой деятельностью, оказалось, что у множества изрезанных каким-то немцем зябликов половые органы во время пения находились в наименьшей степени готовы для спаривания. На этом основании сделали заключение, что мы понимали пение птиц ошибочно через человека, это был грубый антропоморфизм, на самом же деле пение птиц является просто видовым признаком. Вот точно также и наблюдаемая

у соболей злоба при спаривании не связана с половым актом и что она чисто искусственная. Возможно, мы ошибаемся, разделяя соболей в клетках и через это воспитываем у них специфическую злобу, как у цепных собак. Вероятней всего соболей надо держать вместе, чтобы они привыкли друг к другу. Тогда, может быть, окажется, что половой акт у соболей самый мирный и что эта ныне замечаемая злоба так же, как пение птиц, не имеет никакого отношения к половому акту. Самый большой тормоз в науке—это антропоморфизм, мы никак



Соболята, зачатые в тайге и рожденные на зооферме



Соболиный гон. За месяц до гона стали открывать на несколько часов дверцы тамбура, соединяющего вольеры предназначенной для опытов пары соболей

не можем отделаться от своего человеческого опыта в любви и переносим это на зверей. Чтобы думать о размножении без «любви», гораздо лучше говорить о размножении проволочных червей.

Старый профессор долго рассказывал нам по червям о размножении в чистом виде. В это время научная сотрудница зоофермы упорно думала, что-то вспоминала, связывала и вдруг перебила рассуждения уральского биолога.

— Не может быть, — воскликнула она, — чтобы размножение соболей совершалось без выбора, как у червей. Пусть это не любовь, как у людей, но это надо назвать каким-нибудь словом, очень близким к любви.

Один за другим она передает случаи, записанные в журнал соболиного гона в прошлом году. Вот жили в одной клетке Мус и Муська, очень привыкли друг к другу. Спариться они пробовали, но не могли потому, вероятно, что

Мус при искусственном питании несколько ожирел и задыхался во время коитуса. Тогда ее решили спарить с Хромым. Это сильный самец и незадолго перед тем покрыл двух самок. Муську впустили к нему в состоянии сильнейшего полового возбуждения: клейкие выделения, опухоль, куньи запахи, половую щель постоянно повертывает к носу самца. И вот, когда ее впустили к Хромому, то он с ненавистью бросился к ней и чуть не убил, едва-едва удалось отбить. Вскоре после того ввели к нему самку «Кривой зуб», и он ее покрыл. Возвращение Муськи было встречено чрезвычайно радостно, и свой самец Мус долго ее мыл, всю мыл с головы до ног, постоянно повторяя любовно: «ти-ти-ти!»

— Разве это не «любовь»? — спросила сотрудница.

— Это учет влияния индивидуальности, — ответил профессор, — разве я говорил что-нибудь против этого? Мы строим теорию без «любви» по опытам с проволочными червями, но практическому звероводу прежде всего надо считаться с индивидуальностью.

Мы спросили:

— Но как же мы будем искать такую готовую войти в человеческую жизнь индивидуальность животного. Конечно же, мы будем искать в животном то, что ближе к нам и у себя самих, то, что ближе к животному, потому что, в конце концов, мы ведь те же самые животные. Приручая к себе животное, мы относимся к нему, как к ребенку, заманиваем его к себе, вызывая в себе самые нежные чувства. Это своего рода практический антропоморфизм. И нет никакого сомнения, что холодная мертвая вода научного анализа, стремясь найти общий закон, делает ненужным и вредным и даже ненавистным всякий антропоморфизм. Но, когда требуется горячее, живое синтетическое действие, чтобы среди диких и часто злобно настроенных зверей выбрать мирных и сделать возможным размножение в наших искусственных условиях, то приходится в себе самом и в звере выискывать некоторое чувство общего родства. Чувство это совершенно необходимо для приручения животных, и почему бы не назвать его тоже любовью?

— Да, почему бы и не назвать? — спросил сам профессор.

Ведь он с этого же и начал, что злоба у соболей искусственная и к человеку они в природе до того мирно настроены, что будто бы при встрече в тайге даже и не бегут от него. Надо не разделять соболей в парке, а, напротив, устроить их совершенно свободно, пусть живут, как им нравится.

Эта мысль была принята единогласно всеми сотрудниками, и тут же стали прискивать место, которое было бы удобнее всего для общей жизни соболей. Под самый конец разговор наш шуточно вернулся к Шаляпину и Собинову, потому что кто-то привел удивительные доказательства влияния пения разных индивидуумов на дам: Шаляпин, например, поет несколько не хуже Собинова, но никогда не приводит женщин в такое иступленное состояние, как Собинов. После того мысль вернулась к птицам, пение которых будто бы является только видовым признаком и совсем не имеет никакого отношения к их брачной жизни и половой деятельности. Верно ли это? Мы легко можем с помощью ножа и лупы проникнуть в половые органы, найти там спермозоид и яйцо. Но как проникнуть в самое пение и в нем найти эквивалент спермо-

зонда? Нельзя ли предположить, что у птиц так же, как и у людей, очень часто пение, как и всякая деятельность в области искусства, совершается за счет половой деятельности; что, может быть, ученые, не умея понять брачной силы в пении птиц, напрасно ищут ее в опустевших железках?

Есть большая прелесть в этих случайных собраниях занятых людей, когда они обмениваются своими догадками свободно и часто с улыбкой над этой походной философией. Мы еще говорили о потемках науки, когда она встретилась с живым делом приручения животных, чем занимались дикари, и потом цивилизованные люди почему-то перестали. Почему в лаборатории наверно изучена каждая косточка соболя, а самая жизнь его остается в совершенных потемках? Скажут, очень трудно наблюдать в тайге. Но в таком случае почему же о белке, живущей у нас под Москвой, той самой белке, которую мы ежегодно избиваем десятками тысяч, известно так же почти мало, как и о соболе? Почему—как часто об этом говорят и приводят в пример. — изучено 200 разновидностей блох, живущих на тюлене, но жизнь самого тюленя чуть только тронута наукой?

На боевых путях

Воспоминания

А. АРОСЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие товарищи, очерками я пытался дать представление о том, как просто и естественно небольшая группа моего поколения вступила на боевые пути. Мне хотелось заразить вас теми впечатлениями, которые тогда откладывались на нас. И разумеется — передать запах той эпохи, когда мы вступали в борьбу. Может быть, мои очерки послужат также материалом и для истории нашей партии (известного периода и района), и для биографии моих товарищей, которым теперь выпали на долю огромное счастье и величайший труд быть в числе руководителей

одной шестой части суши нашей планеты, где впервые был прорван фронт капитализма, где началось построение новой жизни человечества без зверского института частной собственности на те рычаги, которыми приведена в движение материальная, а вслед за нею и общая культура людей.

В конце второго тома, который будет доведен до февральской революции, я дам список, расшифровывающий тех, кто на протяжении всех очерков оставались скрытыми под вымышленными именами или кличками.

А. Аросев.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАША ВЕСНА

1. Своя школа

Дом был как сундук с добром... Немного мрачный, немного торжественный, старообрядческий. Тишина старобарская, гордая, наполняла все комнаты. Царицей этой тишины была краснолицая, с волосами, как солома, немка-гувернантка. Как все гувернантки, она, казалось, не имела возраста или вернее совмещала в себе все возрасты. Владея тишиной, ею же установленной во всех комнатах, она иногда сама ломала ее своим особенным жестяным, острым голосом, обучая детей всем склонениям немецкого языка и всем манерам хорошего поведения. Ту и другую премудрость дети воспринимали с покорностью

обреченных жертв, и «непослушным» оставался только один Виктор — «мальчик упрямый и сфойграфный», как называла его немка. Однако, будучи женщиной отважной, женщиной истинно германской крови, она сурово и настойчиво вела его по линии благочиния и пристойности.

Но мать Виктора, женщина вдумчивая, тихая, немного гордая, которая считала своим высшим призванием на земле — воспитать детей, разрешала сыну приглашать к себе почаще товарищей, уходить иногда к другим (не позже чем до десяти часов вечера) и постепенно ограничила над ним власть гувернантки.

Мальчик стал быстро забывать все те искусственные манеры «благопристойности», которые ему прививала немка; отучался отвечать заранее положенными фразами; стал терять то, что давали ему уроки музыки. Все развитие его, поскольку оно проявлялось во внешнем, главным образом семейном мире, пошло какими-то зигзагами: вдруг совсем не во-время мальчик требовал чаю; когда садились за стол обедать — он вдруг, только-что вернувшись из школы, как-то поспешно начинал «зубрить» уроки; в другое время, наоборот: целый день стоял в зале возле аквариума, наблюдая рыбок, а с вечера засаживался за книги и сидел чуть ли не до утра; то, повидимому, беспричинно пропускал уроки, то одним из первых являлся по воскресеньям в школу на так называемые «химические анализы». Во всем, во всем с внешней стороны проявлялась угловатость. Но так как он в школе неизменно продолжал учиться хорошо, то оставался все время в среде прилежных учеников. Из таких особенно сдружился с ним Борис Евгеньев. Это был здоровый юноша, воспитанный по всем правилам последнего слова науки. Может быть, поэтому он был страшным рационалистом. Законы логики были для него единственными, которым подчинялся он. Всякое противоречие, даже просто корявость в мыслях или в фактах жизни больно резали его сердце. Так, должно быть, путем наблюдения жизни и последовавших за этим наблюдением логических выкладок Борис Евгеньев очень рано, 15—16 лет, пришел к понятию о ненормальности окружающей его жизни и следовательно и к необходимости заменить ее другою. Задумавшись над этою новою «системой жизни», он стал читать литературу по социальным вопросам. Так как мальчик он был достаточно развитой и склонный к умозрению, к абстракции, к логической схематизации, то, естественно, для него не было непосильным трудом прочитать К. Маркса. Из этого чтения он вынес твердое понятие о социализме, но понятие это было каким-то отвлеченным, схематичным. То понятие социализма, какое сложилось у него, не могло служить толчком к революционной деятельности, так как социализм был в его

голове той системой, которая неизбежно, закономерно вырастает в недрах старой системы, разрывает ее и становится на ее место сама собою. Положение рабочего класса, эксплуатация его капиталом — все это для него было лишь некоторыми столбцами некоторых статистических таблиц, которые приводились Марксом, Чупровым, Т. Барановским и другими очень учеными людьми.

Правда, Борис Евгеньев — потому что был всегда сыт, потому что кишечник его правильно работал, потому что он рано ложился спать и занимался по утрам и в меру, потому что всегда было приготовлено ему чистое белье, потому что он каждый день брал ванну — склонен был к веселью и здоровому барскому юмору.

Социализм и с этой стороны сослужил ему некоторую службу: он давал ему психологические основания высмеивать окружающие его типы, остро язвить по поводу мещанства, едко осуждать торгашество, сочинять остроумные статьи против попов и богов и временами тонко какой-нибудь шуткой клеймить свое начальство.

Сравнительно большие знания Бориса и будущее ключом из здорового родника веселье притянули к себе угловатого и несколько замкнутого Виктора. Вместе они переходили из класса в класс. Борис и подтолкнул Виктора на идею социализма. Но Виктор, которому окружающая обстановка не только давала материал для юмора, но уже в детстве заставляла страдать, — хотя бы «посвоему» и по-детски, но все-таки страдать, — естественно воспринимал социализм не как абстрактную схему, которая с неизбежностью законов природы рождается из старой схемы, а как импульс к борьбе с окружающей действительностью.

Так как всякая малейшая приверженность к социализму каралась и преследовалась не только дома и в школе, но также и в обществе — всюду, то эту приверженность надо было скрывать. Скрывал ее Борис от Виктора, скрывал Виктор от Бориса. Скрывали, но не совсем, а просто в беседах кое-что не договаривали. Но так как недоговоренность мешает дружбе, то, естественно, стало необходимым для обоих когда-

нибудь об'ясниться друг перед другом начисто; об'ясниться в любви к социализму.

Такое об'яснение произошло зимой в пургу, за городом, на снежных горах, с которых приятели стремглав летели на лыжах вниз. В наивности своей Виктор ожидал услышать от Бориса, что он не только идейно социалист, но что уже принадлежит к партии социал-демократов, — ведь он так хорошо знал Маркса! — что, может быть, он уже комитетчик и пр., и т. п. Но каково же было удивление Виктора, когда он услышал от Бориса, что бороться с современными хамами в обстановке «полицией-государства» — так, немного на немецкий манер, он называл самодержавие — просто недостаточно высоко развитого марксиста, что наше, «с позволения сказать, общество», если что и может заслуживать со стороны марксистов, так только насмешку, издевательство над ним. А посему свои признания по поводу социализма Борис закончил предложением издавать юмористический журнал.

Виктор в смущении почесал за ухом, поставил свои лыжи рядом с лыжами Бориса, укрепился на них.

— Ну, что ж, летим что ли еще раз.

— Погоди, мне интересно, что бы ты ответил на мое предложение.

— Да, как тебе сказать... того... — Виктор говорил не совсем складно и особенно тогда, когда смущался,—по-моему: что журнальчик. Давай лучше вступим в комитет...

— То-есть? В какой такой комитет?

— Социал-демократов.

— Какой там комитет: надо сначала выучиться, а потом о комитетах думать. Ну, рраз, два, три... па-ли! Летим.

И оба, скользнув с вершины горы, заметаемые снежною пургою, полетели уже раз в пятый в снежную бездну.

* * *

Все происходило так, как происходит в юности: само собою, без многих слов. Семь или восемь учеников пятого класса реального училища сидели на стульях, на кровати и на кушетке низенькой комнаты мезонина, освещенной керосиновой лампой со стеклянным белым абажуром. Лики Каутского, Энгельса, Маркса, Михайловского, Успенского, Короленко,

Толстого строго и покровительственно смотрели со стен. В углу — этажерка с книгами. На корешках их можно было прочесть имена все тех же вдохновителей эпохи, портреты которых жались по стенам.

Воздух напоен был тем ароматом, который ощущается только нервами, как паутинки, протянутые от одного к другому и делающие всех родными и спяными, кажется, навеки, на долгие века. Молодые люди были едва знакомы друг с другом, но каждый смотрел на других восторженными глазами. Гордился и тем, что он тоже тут с ними, с другими такими же, как он, и тем, что они, другие, такие загадочные и тоже полные огня, — с ним. На лице каждого можно было ясно прочесть: я с сегодняшнего дня, с этой минуты, такой-то, такой-то уже вступил в ряды, в кадры борцов. И с этой минуты я уже особенный человек. О, если бы мои родители или полиция узнали бы, что сижу сейчас на собрании только-что возникшей организации, что бы они со мной сделали?! Родители, ну что ж, жалко стариков, ничего бы они не могли поделаться, а вот полиция бы, наверное, арестовала. Посадили бы в тюрьму, потом судили бы, потом надели бы кандалы, потом, вероятно, пошел бы в Сибирь. Пошел бы в Сибирь! Сколько в этих словах суровой революционной романтики. И потому что при мысли этой вставали образы тех, о ком эти юноши не раз читали, образы Чернышевского, петрашевцев, Бакунина, то в сущности не было страшно. Цепи казались медалями. Сибирь — похвальным листом. И было чертовски приятно вспоминать, какой холодный страх был в душе у каждого в тот момент, когда он подходил к этому дому, звонил в парадное, входил в дверь, отпертую самим румяным, улыбающимся реалистом, который несколько терялся, пропуская товарища: он не знал, надо ли его приветствовать как гостя или деловито проводить наверх, в мезонин, как пришедшего на конспиративное собрание революционного работника. Сам приходивший тоже был смущен, не зная, следует ли здороваться с любопытно высовывающимися из разных дверей в прихожую лицами, надо ли приветствовать строгую

мамашу румяного реалиста, сидящую в столовой, пристально и будто не совсем дружелюбно озирающую каждого проходящего по необходимости мимо нее.

У стола, у самой лампы, сидел худой реалист, только-что переведенный в этот город из Тюмени. Он большими серыми глазами озираал собравшихся и проклинал себя за то, что уселся у самой лампы, на свету. А встать и переменить место, ведь это как-то неловко. Неподалеку от него, у этажерки с книгами, как-то особенно отчетливо сидел маленький реалист с темным русским лицом, с невыразительными глазами, с руками маленькими и морщинистыми, непохожими на молодые. За ним, немного прячась за его спину, слегка развалившись на кушетке, покоился смуглый, несколько сумрачного вида пятиклассник. Сумрачность его была не угрюмой, а деловой, заботной. Он внимательно оглядывал всех, в глазах его не только искрился восторг, как у всех, оттого что они на первом конспиративном собрании, но еще и приметливость, наблюдательность, стремление понять по облику суть человека. Против него, на кровати, на самом конце, где кровать упиралась в зеленую круглую печку, сидел сам «хозяин» квартиры, румяный реалист, который чувствовал себя особенно гордым, потому что ведь он взял свою квартиру для собрания, он рискует больше всех остальных. Особенного, замечательного в лице этого юноши, кроме румянца, ничего не было. Даже и румянец его был обыкновенный. Рядом с ним на кровати, не зная куда деть свои толстоватые руки, сидел тоже реалист пятого класса с полным, немного угреватым лицом, с грустными серыми глазами, в которых светилось ожидание чего-то такого большого, что должно вот-вот сейчас произойти и на всю жизнь остаться и определить собою для всех все. Что-то должно необыкновенное произойти. Рядом с ним был я.

Все сидели и молчали. Каждому не хватало смелости открыть собрание. Сумрачный реалист хриплым голосом от стеснения и волнения, откашливаясь, заикаясь и запинаясь, сказал что-то о необходимости подготовиться к революции и получить самообразование, которое в отличие от школьного и есть на-

стоящее образование, дающее возможность революционно действовать. Почти не дав ему закончить, сопя и смотря в книгу, маленький реалист предложил, не откладывая дела в долгий ящик, прочитать брошюру Пошехонова «Хлеб, свет и свобода».

— Ну ты и начни сам читать, — предложил ему я.

— Я плохо читаю, — возразил он, — надо выразительно читать.

Хозяин квартиры предложил, чтоб читал его сосед с угреватым, полным лицом. Сосед согласился и, глубоким глотком проглотив от волнения слюну, весь раскрасневшись, как мак, начал читать со старательным выражением и усердием. Пот лил с его лба ручьем, словно он совершал тяжчайшую физическую работу. Без остановок, комментариев и пояснений залпом была прочитана вся брошюра. Молчание сделалось еще более неловким, когда чтение кончилось, ибо никто не знал, что надо говорить, но каждый чувствовал, что надо что-то сказать.

Кто-то заметил, что ведь нет председателя. Предложили председателем быть тому, кто у лампы. Он отказался. Предложили сумрачному, смуглому, он согласился. И тут же заметил, что книга прочитана, и раз все молчат, то говорить дальше не о чем. Остается выяснить, когда состоится следующее собрание. Необходимо также было установить пароль, чтоб уже на следующее собрание не приходил так, просто, как на это, когда хозяин квартиры должен был по догадке устанавливать, что к нему приходят не шпионы или провокаторы, а действительно члены организации.

Но и этого мало. Председатель предложил, чтобы все члены кружка еще надавали бы себе кличек. Правда, что все друг друга знали и по фамилии, но все же было решено, что при разговорах на улице или в школе, вообще там, где могли бы услышать посторонние, следовало бы называть друг друга по кличками.

Давать себе клички, выдумывать новые имена — заинтересовало всех. Я не помню сейчас всех кличек, но помню, что председатель назвался Дядей, сидевший рядом с ним сделался Бетой. Сосед его, хозяин квартиры, уж не

помню как, полнолицый, угреватый назвался Зетом. Последним остался тот самый товарищ, который сидел, освещенный лампой. Он долго думал, его из разных сторон понукали, сами давали ему всякие прозвища, он их отвергал и все смотрел в угол, где стояли калоши. И вдруг:

— Пусть, я буду «Калоша».

Взрыв смеха.

— Серый, Серый, — поправился он. Однако, прозвище «Калоша» еще долго применялось к нему в шутку.

Когда Зет, Дядя и Серый вышли на свежий воздух, остановились на низеньком деревянном крыльце дома приветливого, румяного хозяина, они сначала не решались, в какую сторону идти: если вправо, в темноту улицы, то выйдешь сейчас же к чахлому садику, расположенному на высоком откосе. Днем с откоса этого видно далеко, далеко на луговую равнину, теперь занесенную снегом, на той стороне неширокой реки, если пойти налево, там улица становится светлее, там будут они приближаться к центру города. Не соблазнил их центр. Темнота, чернота ночи осенней над пустынным обрывом невидной реки, где свищет на просторе ветер, где природа всевластна, показалась более соответствующей настроению трех юношей.

Долго бродили они в темноте, сокрушаясь о том, что вот ведь надо ж было им тогда вкусить от познания революции, когда она кровавой волной пошла на убыль. Спорили долго о том, в какое время мы вступаем — в реакцию или в революцию. Всем им хотелось, чтоб первый молодой подьем их жизни совпал с подъемом великой русской революции, и все отчетливо видели и понимали, что народное движение идет на убыль, что день ото дня становится чернее, что им суждено постигать революцию, глядя ей, уходящей, вслед. Ни у кого из них не было тогда смелой догадки или духу сказать, что наступит другая, иная по своей силе и достижениям. Всякий говорил про уходящую, что она вернется. Забывали, что в живом возврата не бывает. Философствуя о революции двое из них — Зет и Серый — отчетливо и не без гордости причисляли себя к эсерам, Дядя солидно, хотя и не очень ясно, как бы мечта-

тельно, каялся в том, что он марксист, социал-демократ, большевик.

Они долго гуляли по саду. С высокого откоса видно им было, как то один, то другой огонек одиноко разбросанных где-то в темноте невидных домиков гасли, будто звезды, пропадающие за тучами, невидно и неслышно наплывающими в тихую ночь.

Темно было глазам, но светло молодому уму.

* * *

Адрес, где должно было состояться собрание, надо хранить в голове, а не в записке. Элементарное правило конспирации. На этот раз и не особенно трудно было запомнить, так как соби- рались — шутка ли дело? — у городского головы. Известный в городе октябрист, да и то из приличия, а по-настоящему... Впрочем, кто его знает, кто он был по-настоящему. Дом его помещался на небольшой площади, и крыльцо с веселой резьбой сразу бросалось в глаза.

Когда в означенный срок к этому крыльцу подходил в рваненькой шинельке и фуражке без герба некий сумрачный реалист, он заметил, что около крыльца ходит какой-то странный субъект. Субъект, повидимому, отыскивал номер дома, так как усиленно всматривался в надписи на крыльцах и воротах. А может быть, он только делал вид, что искал надписи? Не шпик ли это? Очки на носу тоже плохая примета.

И вдруг — о, ужас! — этот подозрительного вида человек позвонил в ту самую дверь, куда спешил сумрачный реалист.

Выждав несколько минут после того, как подозрительный субъект прошел в квартиру, реалист решил все же идти на собрание и позвонил в таинственную дверь. Он сильно волновался: ведь он впервые должен был присутствовать на настоящем социал-демократическом собрании. А тут еще этот подозрительный субъект. И крыльцо такое неконспиративное, заметное.

В комнате сына городского головы, тоже реалиста, заседало несколько юношей и в том числе тот подозрительный, который только-что вошел.

— А, товарищ Дядя! — сказал кто-то из собравшихся, увидав входящего сумрачного реалиста.

— Вы от какой организации? — спросил, видимо, председательствующий.

— Я, собственно, — заговорил Дядя, — не то чтоб являюсь представителем от организации, но я являюсь членом ученической организации, беспартийно-революционной. Сам же я по убеждениям социал-демократ.

— Большевик или меньшевик?

— В этом вопросе я еще не разобрался.

— А в вашей ученической организации чье влияние сильнее — эсеровское или наше?

— Я бы сказал, скорее наше.

— Поставим тогда, — сказал председательствующий, обращаясь к собранию, — доклад товарища Дяди об их организации в порядок дня, а теперь приступим к основному докладу.

Заседавшие представляли собой комитет Р.С.-Д.Р.П. и обсуждали вопрос о бойкоте Государственной думы.

Споры затянулись, и Дяде не осталось времени для доклада об ученической организации. Этот доклад отложили до другого раза. Из конспиративных соображений решено было расходиться парами. Стали подбирать, кто с кем. Человек в очках, который с первого взгляда показался подозрительным, пошел к Дяде и, хлопнув его неожидан-но дружески по плечу, предложил итти вместе.

— Как вас зовут? — спросил Дядя.

— Моя кличка, — ответил субъект в очках, видимо, гордясь тем, что у него есть кличка, — товарищ Черный, а настоящее имя Виктор.

Тут только Дядя почувствовал к нему ту особую симпатию, которая всегда пробуждается, едва только мы неожиданно почувствуем друга в том, кого мы считали врагом. Тов. Черный оказался учеником того же реального училища, что и Дядя, только классом постарше последнего.

Однако, несмотря на пробудившуюся симпатию, несмотря на то, что исчезли все тяжелые подозрения, Дядя заметил за тов. Черном некоторые особенности, даже странности.

Так, например, т. Черный, будучи

очень близорук, никак не мог смотреть в одну определенную точку: его глаза все время часто-часто колебались вправо-влево, вправо-влево. И не только глаза. Несколько медленнее их и едва заметно вправо-влево почти непрерывно качалась голова. Особенно, когда говорил или тихо что-нибудь думал.

Вся наружность его — румяные щеки, высокий лоб, красные немного надменные губы — выдавала в нем барича. Черный курил почти без перерыва.

— Организация наша, — рассказывал Дядя Черному, — состоит пока-что из двух кружков: низшего и среднего. Кроме того, мы связаны с кружком техников. Там почти сплошь эсеры. И довольно сильные эсеры. Едва ли кто-нибудь из наших комитетчиков взялся бы поспорить с ними вплотную, как следует на теоретические темы. Связаны мы также и с кружком гимназистов.

— Надо, мне кажется, — важно заметил Черный, не то сам для себя, не то в ответ собеседнику, — надо позаботиться о распространении нашего социал-демократического влияния. А для этого надо определить наши силы и выделить их из общей массы интеллигентов... Недурно бы собрать все эти кружки и основательно потолковать, — добавил он, немного помолчав.

Потом разговор стал перескакивать с темы на тему. Говорили о терроризме, о роли личности в истории, о материалистическом понимании, о большевиках, о меньшевиках. Говорили с оглядкой: не идет ли сзади «шпик», но провинциальный город, вместе со своей провинциальной полицией и жандармерией, был упрямо глух ко всяким политическим разговорам. Все-таки, приятели неустанно друг друга предостерегали: конспирация! конспирация! Она так необходима!

— Так почему же вы не можете определитьсь? — спросил вдруг Черный. — Разве для вас не ясно, что большевики... большевики... ну, как бы вам это сказать... не то что они умнее, теоретичнее (скорее наоборот: теоретичнее меньшевики). Ортодоксальнее — все это не то... большевики, их положения проникнуты какой-то практической мудростью. Именно не умом, а мудростью. Мне кажется, когда-нибудь ученые еще

займутся, займутся общественной стратегией. И объектами изучения будут большевики.

— Это верно, — соглашался Дядя, — большевики — практики, что и говорить. Но Плеханов, Плеханов! Такой столп марксизма и вдруг... Вот что меня смущает!

Оба собеседника давно уже толкались на одном месте около ворот старого провинциального дома, который открывался огромным неблагоустроенным двором с помойной ямой посредине и заключался небольшим белым двухэтажным флигелем в глубине двора.

— Ах, как это неконспиративно толкаться на одном месте, — заметил Дядя, — тем более около квартиры, где я живу.

— Вот те на! Да разве вы здесь живете? Здорово! Рядом со мной?

Оказывается, дома, в которых жили Дядя и Черный, были смежными.

На прощанье Дядя признался Черному:

— А я вас, знаете ли... за шпика принял!

— Ха-ха-ха! — рассмеялся вдруг громко и по-детски Черный, — это со мной постоянно бывает: очки меня губят. Между прочим, хотите в воскресенье на массовку?

— Рабочих?

— Ну, да — чисто рабочая.

— Иду, непременно.

— В субботу вечером я сообщу вам пароль и место.

Черный и Дядя толковали о том, как бы связать беспартийную революционную организацию с партийной.

— Видите ли, — несколько беспокоился за свою организацию Дядя, — дело в том, что у нас есть и эсеры. Недавно у моего сокурсника прочитали вслух и обсуждали Пешехонова: «Хлеб, свет и свобода».

— А рефераты?

— Мы решили, что рефераты мы будем читать, когда перейдем в высший кружок. А в низшем и среднем только чтение книг и их конспектирование.

— Какие же книги у вас намечены?

— Следующие: «Хлеб, свет и свобода» Пешехонова, Дикштейн «Кто чем живет», Бах «Экономические очерки», Вандервальде «Промышленное развитие и

общественный строй», Струмилин «Богатство и труд» — это низший кружок. Средний: Богданов и Степанов «Краткий курс экономической науки», Каутский «Эрфуртская программа» и он же «Социальная революция и на другой день»... Вот все, собственно.

— А высший тип?

— Высший — пока еще не установлен, но предполагаем вольные темы для рефератов.

Черный не хотел сознаться даже самому себе в том, что намеченная перед ним программа есть та самая, которую совсем не худо бы ему самому пройти. И пройти основательно. Он не хотел в этом сознаться, потому что не вполне доверял Дяде и думал, не идеализирует ли тот свой кружок и свою программу. Чтоб укрепить себя в этом сомнении, он спросил Дядю.

— А вы из этой программы только Пешехонова прочитали?

— Да.

— Собственно, у вас хотя и есть эсеры, но не видно, чтоб это отразилось на вашей программе.

— Видите ли... программа у нас ведь не по социологии, а по политической экономии. Эсеры же заявляют, что положения Маркса в области науки политической экономии они принимают целиком. Будто бы этому учит и Чернов.

— Так, так. Значит, прений у вас не происходит.

— Происходят, так как мы, социал-демократы, всегда стараемся подпустить из исторического материализма. Эсеры раздражаются и начинается спор. И, кроме того, мы в промежутках между несколькими обязательными программными занятиями устраиваем «вольные рефераты» главным образом на темы, взятые из текущего момента. Тут уже спор разгорается.

— Какие же у вас были вольные рефераты?

— Их еще не было.

— Так вот что, дружище, — сказал Черный, ударив с силой по плечу Дядю, — приходите-ка вместе с кем-нибудь из видных ваших эсеров ко мне на квартиру. Поговорим. Необходимо обеспечить наше влияние.

Черный, 18-летний юноша, сам попал впервые на заседание социал-демо-

кратического комитета. Ему поручены были дела ученической организации. Но как раз в этот период тот ученический кружок, на который мог он рассчитывать, состоял по преимуществу уже из окончивших реалистов, разлетевшихся в разные стороны. Вот почему совершенно неожиданная его встреча с сумрачным реалистом, докладывавшим Черному об ученической организации, была сущей находкой.

Однако, некоторые тактические соображения не позволили атаковать сумрачного реалиста расспросами и открыть перед ним, насколько он был важен для Черного, как связь с ученической организацией. Наоборот, Черный, приглашая сумрачного своего знакомца на собрание рабочего кружка, тем самым хотел продемонстрировать перед ним свою полную и активную принадлежность к партии и побудить его искать с ним, с Черным, более постоянную связь. Тактический расчет Черного оказался довольно правильным.

На прощанье оба товарища обменялись рукопожатием, будто молчаливо условились считаться друзьями.

2. Дружья

Дружба. Что это такое? Каждый, вероятно, ответит по-своему. И каждый вопрос этот себе будет задавать тогда, когда дружба начнет стариться и, оставаясь все еще прелестной, со всем запахом молодости, удалства, готовности жертвовать для друга, все-таки будет требовать специального, пристального, охраняющего внимания. Либо вопрос этот всплывет тогда, когда от дружбы осталось ощущение тепла в глубоком уголке сердца, а сама по себе дружба пропала.

Но о том, что такое дружба, никогда не спрашивают себя тогда, когда ведут дружбу, когда она созревает, когда она совсем свежая, когда она приходит нивесть откуда и образуется невидимо. Она начинается с того, что один другому открыл такую сердечную тайну, которую никому раньше не открывал. А тайной в юности может быть что угодно: восхищение пролетающими облаками, восторг от бури, увлечение девушкой, мечта о неизвестных странах.

У Дяди был восторг перед музыкой. Звуки ее производили в душе его рядку особых чувств. В его мозгу, словно летние сполохи, трепетно мигали огни неизведанной, хорошей радости. Он не понимал ее, потому что источник радости был в нем самом. Восторг выбивался наружу, искрился в черных расширенных глазах, просился соскочить с губ в облатке слова.

И соскочил однажды.

Дядя рассказал Черному, как волнует его музыка. Черный понял его. Тогда Дядя сознался, что он играет на скрипке. Черный признался, что он не играет ни на чем.

— Может быть поешь? — спросил его Дядя.

— А как же, пою, только хором, — ответил Черный.

Черный, перемешивая серьезное с каламбурами, стал рассказывать, как волнует его музыка. Говорил, что в его семье почти все играют. Особенными музыкальными способностями отличается его младший брат. Черный обнаружил даже некоторое знание в области музыки.

И когда нашлись между ними точки соприкосновения по этому, немного постороннему для них вопросу, тогда увеличилось их взаимное понимание и в самом главном для них: в делах революционной борьбы. Тогда-то они и стали друзьями, сами еще не понимая того.

Как друзья они стали, естественно, перебирать имена товарищей, с которыми сталкивались и в особенности с которыми приходилось им бывать вместе на кружке, давали им характеристики, определяли, кто из них склонялся больше к «суб'ективизму», а кто к «об'ективизму». Из конспиративных соображений употребляли термин «суб'ективизм», чтоб показать принадлежность или склонность данного товарища к социалистам-революционерам. «Об'ективистами» назывались социал-демократы.

Большую склонность к «суб'ективизму» выказывал Зет, его сторонником оказывался Серый. Тогда и я, как говорится, «грешил» суб'ективизмом и подерживал их в этом.

Как-то раз я, Зет и Дядя после собрания долго прогуливались по пустынным ночным улицам, запорошенным снегом. Безмолвие улиц делало нас интимными,

а мороз заставлял немного теснее держаться вместе. Мы взялись под руки. Было далеко за полночь. Из-за углов, от столбов придорожных, от крылечных навесов по темно-блестящему снегу, как по распластанной мелкой чешуе рыбы, ползли неясные тени и стелились по белизне снеговой. Времени мы подозревали, что это тени от шпиков, неотступно «бдящих» за нами. Но на самом деле никаких шпиков не было. Эти тени — неясные зимние ночные передивы серебристых цветов — слушали наши неясные речи, наши слова, которые искрились одним: смертельно-жадным стремлением найти такую истину, чтоб всего себя отдать ей, чтоб бороться.

Мы обсуждали сначала прочитанного Каутского, потом Плеханова, Ленина, переходили к суждениям о Чернышевском и к образам нашей большой художественной литературы.

Дядя говорил, что тургеневский Рудин — прототип наших эсеров, которые благодаря своей полудеалистической философии, а также оторванности от определенного класса окажутся лишними людьми в великой революционной борьбе. Я и Зет почти обижались на такие выпады против нашей философии и нашей партии. Но увы! теперь я вижу, что нам приходилось больше напрягать свою память и изоощрять свои полемические способности, чем Дяде, ибо смутно чувствовали мы, что Дядя, если и не истину говорит, то где-то недалеко от истины бродит. А мы бродили не у подножия истины, а в туманах наших слов. И именно потому, что трудно мы подыскивали литературные примеры для доказательства своих положений, мы еще больше сердились на Дядю за его немилосердие к нам, за строгость суждений.

Может быть, оттого, что спор шел очень горячо, мы не замечали, как мороз не только дерет нас за уши, но еще пробует хватить лапой между лопаток по спине.

Почему-то мы боялись говорить о любви. А трудно было от таких разговоров отойти в сторону, ибо всякая строка художественной литературы говорила нам об этом. И всегда казалось мне странным, что Дядя из трехсот страниц романа, где двести девяносто страниц посвя-

щены любовной психологии, берет десять страниц, отведенных под характеристику социального лица героя.

Однажды Зет мне высказал такие же соображения, и мы тогда решили с ним, что это происходит не потому, что наши с ним друзья сухие, бесполое и бездушные люди, а исключительно от молодой застенчивости, от боязни произнести такое слово, которое вырвется вместе с куском сердца, оттого, что никто из нас тогда не знал физической любви. Краска бросалась нам в лицо, лишь только наталкивались мы каким бы то ни было образом хотя бы на отдаленное упоминание о существовании того сильного восторга, смутное представление о котором теснило наши сердца. Разумеется, где-то там, в скрытом тылу индивидуальной жизни каждого, были и любовь, и увлечение, и горячие бессмысленные слова, но эти вспыхивающие огоньки никак не могли поджечь всей нашей души, которая принадлежала другим огням. Любовь к девушке бессознательно, но вполне определенно относилась нами к разряду более низших переживаний, чем треволнения от революционного дела, чем неусыпное горение лампадой над раскрытой книгой Плеханова, Писарева, Белинского. Раскрытые страницы этих замечательных людей настолько заполняли нас, настолько слепили глаза, что, приподняв иногда усталую голову, мы с удивлением видели себя в комнате, затемненной зеленым абажуром лампы. И грешный, грязноватый мир для нас в то время был немного затемнен абажуром, который, однако, неустанно и неистово бросал яркий свет на черные строки по белому полю, на потоки извилистой мысли. Не знаю, как других, но меня обуревал восторг от вечности, стойкости и чудовищной безбоязненности человеческой мысли. И та мысль была особенно безбоязненной, в которой или вернее за которой чувствовалось что-то еще большее, чем мысль, нечто такое, совсем природное и непостигаемое, и непостижимое, вследствие чего человек не может не действовать в известном направлении, и до того велик порыв его к действию, что сама смерть, если она стоит на пути этого порыва, кажется смехотворным препятствием. Мысль таких людей и была особенно заразительной для нас.

Наша пробуждающаяся мысль поддерживалась всегда в бурливом состоянии оттого, что мы непрерывно общались друг с другом. И это общение отчасти заменяло нам то, что у других в юности делают любовь и соловьи. На этом выростала большая и крепкая дружба. Нежность к товарищу, заботливость о милом друге, способность смеяться его смехом и плакать от его горя и неизбывная потребность всегда поддерживать его и быть бережным друг к другу.

Прочтя однажды Вересаева «На повороте», Дядя порекомендовал прочесть эту вещь своему приятелю Зету. Тот читал ее вместе со мною. А потом, морозной ночью, опять мы сошлись вместе, и Зет сказал, что вот Таня, выведенная в «На повороте», есть настоящая партийка. Дядя стал возражать. Зету не понравилось это. Он потом высказывал мне свое недовольство в таком роде: чего нужно этому Дяде? ведь он буквально не может не спорить со мною, лишь только я открыл рот!? Неужели это происходит по инерции, оттого, что Дядя привык спорить со мной на собраниях? Дело в том, что Дядя порицал такой тип, как вересаевская Таня. Дядя говорил, что это очень сухой тип, что такие послушники монастырского типа не нужны для революционной партии, что они не способны большому действию. Максимум могут протараторить хорошие идеи. И то ухирятся, вероятно, вульгаризировать их. Меня, признаться, тянуло согласиться с Дядей. Недалеко ходить: у нас же в организации я видел такого человека, как Ганя, заучившего ходячие политико-экономические истины и выдававшего себя за революционера-марксиста. Дядя не переносил такого сорта людей. Я видел, то когда Зет читал Вересаева, то ему, видимо, нравились трескучие фразы злолущей Тани. Зет, как можно было заметить, был падок на внешность, на форму. Дядя же всегда стремился с каждой вещи совлечь ее внешний покров. Он походил в этом отчасти на мальчика, который, сломив ветку дерева, начинает ножичком счищать кору, чтобы палочка была тоньше и совершенно белой. Спор наш о Вересаеве и его героях ни к чему не привел. Для себя лично я сделал один вывод: стало быть, Дядя находит время

читать художественную литературу и волнуется ей.

*
* *
*

Как-то раз мы вдвоем гуляли с Дядей на окраине нашего занесенного снегом города. Шли, шли и очутились на Великом сибирском тракте. Было воскресенье. На большой укатанной дороге, сверкающей на солнце белым снегом, не видно было ни души. Мы шли то посредине тракта, спотыкаясь о «лесенки», выбитые крестьянскими лошадьми, то сворачивали к краям и скользили резиновыми невымытыми калошами по укатанным колеям. Солнце шло к раннему февральскому закату. Снег становился розовым, а вдали еще с голубым отсветом. Нас обогнала укрытая рогожей кошечка. Кучер-татарин, два седока — толстые татары, все трое весело-пьяные. Их несли разгоряченные кони куда-то вдаль от города, где темнела полоса густого хвойного леса. Дядя рассказывал мне свои впечатления от чтения Арцыбашева «Смерть Ланде». Я тогда этой вещи еще не читал, но слышал о ней от Зета.

— Значит и Зет занимается чтением художественной литературы?

— Не думай, что только он один. Я, например, теперь совершенно увлечен Андреевым. «Жизнь Василия Фивейского» и «Красный смех» совершенно овладели моей впечатлительностью.

— А ты прочти еще «Савву» того же Андреева. Это что-то изумительное по силе.

— «Изумительное»? Как же сам ты на той неделе вместе с Черным утверждал, что писатель Андреев — представитель интеллигентских упадочных настроений, что он не призывает к жизни, что он органический пессимист.

— Я это и сейчас утверждаю, но талант он все же огромный. К тому же «Савва», быть может, независимо от воли автора производит революционирующее впечатление.

Мы предавались литературным спорам и восхищениям до тех пор, пока Дядя, весело глядя на меня, не заметил:

— Три скорее твое левое ухо! три! оно совсем отморожено. Не закрывай, а три.

Это было поворотным пунктом нашего «литературного» путешествия по одинокой, забытой на-время, на воскресенье,

дороге. На обратном пути Дядя, который обладал удивительной способностью резюмировать, завершать беседу, сказал, что ведь как было бы хорошо, если бы мы все литературные вопросы или те, которые вытекают, возникают в поле нашего сознания на основании литературного чтения, могли бы более организованно разобрать, уяснить себе, понять.

— Уж не думаешь ли ты, — спросил я его, — уж не думаешь ли ты параллельно с революционными кружками организовать еще чисто литературные и сделать нашу налаженную теперь и имеющую определенное революционное лицо организацию типично гимназической, каковой бывали подобные организации во времена гимназичества Чехова и Чирикова?

Дядя энергично и немного даже досадливо возразил мне, что он ничуть не думал делать подобные совершенно культуртрегерские — самые тогда ненавистные для нас — предложения. Нет, Дядя думал о другом. Подойдя почти уже к крыльцу моего дома, Дядя осторожно высказал идею, что как было бы хорошо, если бы мы самой тесной, самой маленькой компанией могли бы регулярно хоть раз в неделю собираться, чтоб читать вместе художественную современную нам литературу.

Боясь, не кроются ли здесь у Дяди какие-либо фракционные замыслы, я не дал тогда прямого ответа, а обещал лишь переговорить с Зетом.

К моему удивлению Зет сразу же согласился.

С тех пор дом Черного, который часто служил нам местом для конспиративных собраний кружков, сделался своего рода литературным домом. Там стали мы (Дядя, Черный, Серый, Зет и я) собираться каждую субботу для художественного литературного чтения, для литературных обсуждений. Богатая и разнообразная библиотека Черного, его просторный и уютный кабинет, уставленный по стенам дорогими книжными шкафами, сделался для нас приютом, где мы просиживали целые ночи напролет, где были первые наши литературные субботники. Дымились горячие стаканы чая на маленьком кругленьком столе, который ставили мы у дивана, ломтики чуть подернутого черствением весового хлеба,

на столе лампа с зеленым абажуром, раскрытая увлекательная книга (первая, с чего мы начали чтение, была книга Горького «Макар Чудра»), и везде, всюду, над всем, подо всем бесчисленные окурки самого хозяина, Черного.

Иные субботы мы просто не возвращались домой, располагались на широком теплом диване Черного и спали сном юности до тех пор, пока в 12 или в час дня в воскресенье нас не разбудит ослепительное зимнее солнце. Тогда мы обычно надевали лыжи и до позднего вечера за городом оглашали холмы и горы своими восторженными криками по поводу того, что кто-то из нас удачно скатился с горы, а кто-то полетел кубарем, взметывая белой пылью девственный снег и теряя и лыжи, и валенки в снегу, как в легком пуху.

Когда мы таким образом сблизились, мы стали больше понимать человека, просто как он есть, литературное чтение еще больше развивало в нас эту способность в каждом, с кем приходилось нам общаться, подметить простые черты человека. наших товарищей по революционной работе мы начали судить не только с точки зрения того, какой он революционной школы, какого он революционного образования, но и то, насколько данный товарищ счастлив или несчастлив, насколько он страдает или радуется, чем, как говорится, он дышит как человек.

* * *

В этом отношении наибольшее внимание привлекал один маленький, почти детского роста товарищ, на класс младше нас, который сравнительно недавно был завербован в организацию братом Дяди Сергеем. Сергей был соклассником этого полуробенка полуюноши.

Острые, всегда насмешливые глаза маленького мальчика блестяли зеленоватым блеском, как поверхность навозного жука. Может быть, поэтому ему особенно подходило прозвище Жук, выбранное им самим. Жук считался в классе одним из первых учеников. Странно было видеть его среди старшеклассников такого низенького, тоненького, с руками почти как у девочек и постоянно в одном и том же, казалось, никогда не снимаемом прозеленевшем и изрядно потертом мундирчике. Словно он вечно был именинничком.

Когда он появился первый раз на кружке и все увидели его узенькое лицо, густо усеянное угрями и прыщиками, глаза мальчика не затуманились и не заискрились застенчивостью, он слишком деловито посмотрел на всех и сразу так естественно повел себя на собраниях, словно рожден был исключительно для этого. С первого же раза он заявил себя марксистом. И с первых же своих выступлений дал почувствовать всем, что природой дарован ему не язык, а жало. Немного хрипловатым голосом, даже симпатичным, даже как-будто согласным тоном он возражал своему оппоненту так, что тот грыз карандаш, записывая остро-ты, которыми мальчик убивал несогласного с ним.

Дядя радовался, конечно, тому, что в организации нашелся такой славный помощник ему по части марксистской пропаганды. А Зет старался быть на том кружке, где ожидалось выступление Жука. Всего в этом году у нас было три кружка из числа учеников реального училища, один гимназический, один гимназисток да два кружка учеников среднетехнического училища. Но если куда-либо являлся Зет, так сказать, на «гастрольное» выступление, то там же появлялся непременно и Дядя. Зету не легко было отстаивать эсеровщину перед лицом теоретика Дяди и отчаянного, беспощадного, какого-то даже озорного полемиста Жука.

Работа ширилась. Количество участников организации становилось все больше и больше. Чтоб теснее связать кружки между собою, решено было во всей организации ввести единый устав, своего рода программу краткосрочных курсов для выпуска революционеров обоих родов оружия: эсеров и марксистов. Устав этот поручено было написать Дяде. Эта работа Дядей была вскоре выполнена, и устав начал немедленно проводиться в жизнь. Согласно его каждый кружок должен был выбрать одного или нескольких депутатов. Один депутат на каждый десяток членов; если в кружке меньше десяти членов, то выбирается один, если больше, то — два и т. д. Депутаты кружков образуют комитет организации, которая согласно устава стала теперь называться «Беспартийно-революционной организацией». Это, как сказали бы те-

перь, организационное оформление и ясно выраженная в уставе цель работы кружков — подготовка кадра теоретически образованных революционеров — перепугали многих либеральствующих юнцов, которые вступали в кружки лишь для самообразования, для пополнения своих знаний общественными науками, которых недоставало в школьной программе. Такие члены организации вовсе не стремились готовить из себя какие-то там боевые кадры для каких-то страшных и опасных революционных свершений. Поэтому по поводу устава возникли жесточайшие споры. Один из кружков, наиболее наполненный либералами, грозил совсем отпасть. Само собою разумеется, и Зет, и я, и Дядя, хотя мы и сочувствовали различным партиям, тем не менее в вопросе о подготовке кадров революционеров мы шли вместе и по организационному уставу выступали объединенно. Наша заветная пятерка выступала ожесточенно и горячо. Нам удалось провести устав, связать кружки более или менее революционной дисциплиной. Отпали единицы, которых мы заклемили как трупов. Был избран комитет, в который вошла вся наша пятерка и внутри комитета образовала плотную группу. Всякий теоретический вопрос решался паритетной организацией из эсеров и марксистов, всякий организационный, вопрос объединял нашу пятерку, которая противостояла колебаниям и несмелости многих пугливых или неопытных комитетчиков. Жук также оказался в комитете.

* * *

Вскоре в нашу организацию и как раз в наш же кружок был завербован молчаливый реалист, сухой, от сухости кажущийся высоким. Он любил держать руки сложенными на груди по-наполеоновски. На собраниях предпочитал стоять, а не сидеть. В словах был скуп и говорил нескладно скрипучим голосом, но при этом выкладывал столько знаний, цитировал такие имена и труды, так серьезно профессорски смотрел своими немигающими глазами, неблестящими, невыразительными, что он мною и Зетом сразу был зачислен в опаснейшие оппоненты «субъективной» философии. Этот юноша, давший себе кличку Омега, действительно, сопричислил себя к ряду марксистов.

Когда в одну из морозных ночей Зет, Дядя и я опять попирали скрипучий снег молодыми ногами, Зет не без опасения вызвать полемику стал сравнивать Омегу с Таней из «На повороте».

Дядя действительно немедленно выступил против, заявив, что Омега, в сущности, образованный товарищ, он не трещотка, как многие, но только он весь пропитан квиетизмом, органическим невосприятием практики, он не способен на действие. Рассуждая так, мы свернули на вопрос о том, как в членах нашей организации воспитать, помимо теоретического знания, еще и способность быть практиками. Фигура Омеги нам отчетливо говорила, что даже самое хорошее революционное образование не принесет никаких плодов революции, не пробудит никого, не поведет никого, не воодушевит, если к образованию не будет придана практика, а практическое воспитание достигается пробными действиями, маневрами.

Возвращаясь к ночлегу (Зет жил через несколько домов от меня), я зашел в квартиру Зета, в скромный двухэтажный деревянный дом. Зет жил в семье своих родителей, помещался в маленькой комнатке, окна которой выходили в сени. Долго я сидел с ним при свете керосиновой лампы, долго полушопотом, чтоб не разбудить его спящих братьев и сестер, беседовали мы с ним по поводу предложения Дяди. Оно казалось нам слишком серьезным, чтоб сразу без раздумья ответить на него.

На другой день, сказавшись больными, мы не пошли в класс, а вечером—то была как раз суббота—мы уже были на очередном литературном субботнике у Черного. У него мы застали случайно зашедшего Евгеньева, который к тому времени, несмотря на свой научный аристократизм, был все-таки членом нашей организации. Черный горячо что-то доказывал Евгеньеву. Мы поняли, что речь шла о предложении, которое выдвинул Евгенийев. Он намеревался сначала в одном кружке, а потом и во всей организации предложить изучать естественные науки и прежде всего естественную историю мироздания. Он исходил из того, что нельзя сделаться хорошим марксистом и революционером, не зная, как возникли миры, в том числе и наша зе-

мля, как произошел человек, как стал он животным социальным. Общественные науки и прежде всего политическую экономию, он полагал, можно было бы немного и потеснить ради естественно-научного воспитания.

Хотя Евгенийев и принадлежал к крылу марксистов нашей организации, тем не менее на него жестоко ополчился лидер наших марксистов Дядя.

Он говорил, что все, что предлагает Евгенийев, хорошо, бесспорно, но одно из двух: либо это будет об'емистый, широкий курс, рассчитанный на два-три года, а за это время мы успеем сделаться студентами и проходить более основательно естественные науки в здании университетов, либо это будет куцая программа, сжатая до вульгаризации научных дисциплин. И, наконец, самое главное, Евгенийев забывал то, что наша организация ставила себе совершенно ясную конкретную цель: подготовить кадр практических борцов с тем минимумом теоретических знаний, которые элементарно необходимы для самостоятельной ориентировки в политических обстоятельствах, в политической борьбе. Организация наша—это краткосрочные курсы пропагандистов, агитаторов, техников и боевиков революционной, партийной организации, а не подготовка профессоров по естествознанию или культуртрегеров. И тут Дядя снова стал развивать свои идеи о необходимости нашей организации начать боевые маневры, чтоб приобрести чисто практические революционные навыки.

Спор тут ни к чему не привел. А когда Евгенийев, всегда веселый, размашистый, ушел, я и Зет заявили, что мы принимаем предложение Дяди о необходимости революционного действия, о необходимости попробовать силу и сплоченность нашей организации на конкретном выступлении во внешнем мире.

«Мирнообновленческие» тенденции, просветительские, проникающие в нашу организацию через таких товарищей, как Евгенийев, окончательно толкнули Зета и меня на согласие с Дядей.

Мы на собрании похоронили по первому разряду предложение Евгеньева.

А весной наша пятерка выступила с предложением выпустить прокламации к первому мая и распространить их среди

учащихся. Мы провели это предложение через все кружки, получили огромное большинство и стали готовиться к первому практическому революционному нелегальному действию.

Особенно ярким и, прямо надо сказать, талантливым защитником идей Дяди оказался Жук. Он проявлял удивительно революционное устремление. Он выглядел настоящим мятежником... Мы удивлялись, откуда у этого мальчика столько пыла. Тем более, что он, как мы узнали, являлся приемным сыном полицейского околоточного надзирателя. Мы стали догадываться, что условия домашней жизни этого тонкого, чувствительного и способного к интеллектуальной деятельности юноши должны быть тяжелы. Ведь мы все по крайней мере дома могли свободно читать, а он и дома находился под бдительным оком полиции и под угрозой широкой длани отчима. Наши догадки подтвердились.

Жук в одно прекрасное воскресенье решил сбежать из дома. Куда же ему было ехать? кто мог его укрыть, как не мы, е наше гнездо, в просторной, гостеприимной квартире Черного!? Туда он явился с маленьким узелком белья, украдкой ахваченным с квартиры, в своем неизменном зеленом мундирчике в больших медными пуговицами. Эти пуговицы да еще большие глаза юноши блестели отчаянным блеском. Он пришел в наше гнездо тогда, когда там не было никого из нас, и даже самого хозяина Черного. Жука встретила толстая дебилая экономка. Она сказала Жуку, что Черный в соседнем доме, стало быть, у Дяди. А потом среди своих она рассказывала, порицая Черного и всех нас, что вот уж каких малолетних мальчиков мы совращаем с пути истинного и увлекаем в свою «шайку». «Шайкой» она без всякого стеснения называла нас, друзей Черного.

Жук вошел в широкие ворота дома, где жил Дядя со своими братьями, и столкнулся с двумя ломовыми санями, на которые рассаживались мы все и укладывали лыжи. Жук метнулся со своим узелком в наши сани и, как было свойственно ему, в самых кратких словах сказал все, что с ним случилось:

— Я окончательно бежал из сумасшедшего дома.

— Из какого? — почти серьезно спросил Черный.

— От милых родителей. Можно мне у тебя, Черный, жить?

— Ну, да, конечно. Только ты, может быть, сначала поедешь с нами на лыжах за город?

— А жратва у вас там будет?

— Ну, а как же. Хочешь, я раскрою мешок, в санях еще успеешь закусить. Трогай, — скомандовал Черный.

Подводы двинулись из ворот и тут же вдруг приостановились в середине ворот: навстречу лошадям появилась высокая, худая и смуглая мать Жука.

— Миша здесь, не с вами ли? — спросила она (Жука звали Мишей).

Мы немного смутились. Жук в ужасе произнес: «Мать» и тотчас же уткнулся головой в солому.

Зет ответил матери:

— Нет, Миши не было и нет, он не приходил. Трогай!

Сани тронулись. Мы закрыли собой Мишу. Мать его посторонилась в воротах и закричала нам в след.

— Неверно, неверно, я знаю, что он с вами. Миша! Миша! откликнись!

Миша не откликнулся. Ломовой неистово, по-татарски, огрел кнутом лошадь, сани мелкой дробью застучали по выбоинам мостовой и вскоре скрылись за поворотом улицы.

Вечером мы обсудили создавшееся положение с Жуком. Мы советовали ему предъявить родителям требование предоставить ему полную свободу поведения, чтения и общения с товарищами и, конечно, вежливое обращение со стороны родителей. На другой день и на третий приходила его мать. Между ней и сыном велись переговоры. Окончились они, кажется, полной победой маленького бунтовщика. Так что он через несколько дней опять связал свой узелок, добавил его корзиночкой с книгами, данными Черным, и возвратился в дом свой.

* * *

Прокламацию поручено было написать Дяде. Печатать ее мы решили на квартире у того же Черного. Из молодых к этой технической работе мы привлекли Жука со стороны марксистов, а со стороны эсеров, кроме, конечно, Зета, который входил во все конспиративные дела, привлечен был, вернее даже вызвался сам,

только-что завербованный Зетом в организацию реалист Вениамин. Зет мне рассказывал потом, как он встретился с ним. Это произошло в темном коридоре училища, недалеко от того места, где помещается нелегальная курилка учеников старших классов. Зету понравилось симпатичное, веселое русское лицо белокурого юноши, который был в том же классе, что и Зет. Догнав его по коридору, Зет замурлыкал себе под нос марсельезу. Белокурый Вениамин, глядя на Зета своими лукавыми, всегда веселыми глазами, подтянул ему.

— Ты—тоже?—спросил его Зет.

— А ты тоже?—спросил его в свою очередь Вениамин.

Разговорились. На третий день такого революционного знакомства Вениамин рассказал Зету о своей склонности к эсерам, о том, что, будучи в Муроме (Вениамин был только-что переведен из Мурома), он участвовал в боевой группе социалистов-революционеров и даже участвовал в покушении на городского. Все это крайне обрадовало Зета. Он стал уверять своего нового приятеля в необходимости приобрести также и теоретические познания и предложил Вениамину вступить в организацию. Когда Вениамин появился впервые на собрании одного из кружков, то он выступил так крепко и удачно против марксистов, что Зет стал приглашать его с собой на гастрольные выступления, как своего первого помощника. Вениамин так же, как Зет, по всем организационным вопросам шел вместе с Дядей, а по теоретическим—немилосердно спорил. Зет почувствовал облегчение, помощь, и в вопросах о выступлениях на кружках Вениамин сделался его правой рукой.

Вот этот-то Вениамин, Жук, Зет, сам Черный, Дядя и Серый печатали первомайскую прокламацию.

Самое трудное и опасное было распространить ее возможно шире, раскидать ее по учебным заведениям. В порядке организационной дисциплины, разбрасывание прокламаций поручено было делать всем членам организации. Пусть каждый получит боевое крещение, пусть каждый научится рисковать, подвергаться опасности и изловчатся в конспиративном деле. Разумеется, как во все времена и везде, нашлись и у нас трусы.

Один из трусивших, ныне, кажется, благополучно здравствующий врач, причислявший тогда себя к марксистам, говорил мне, что выпуск прокламации «мальчишками» свидетельствует не более и не менее как о том, что даже такие марксисты, как Дядя, поддались влиянию бесшабашных и на все отчаянных эсеров в роде Зета. Разумеется, я ответил убогому юноше, что он, видимо, просто меньшевик, тогда как марксисты типа Дяди и Черного скорее большевики и потому более революционны. Помню, что взаимные упреки довели нас до того, что раскрасневшийся от гнева реалист пятого класса отказался, вопреки постановлению организации, распространять листовку, так как-де это авантюра.

Более приличную позицию, однако, тоже против выпуска листовки, занимал наш полупрофессор Евгеньев. Он беспокоился главным образом о том, что выпуском листовки мы выходим из подполья, обращаем внимание администрации на то, что у нее «под носом» расплодилось революционная организация. Нас будут искать, подожмут провокаторов и всю организацию погубят. Отрицать не приходилось, что действительно все могло произойти именно так, как предсказывал Евгеньев, на эту опасность никто не закрывал глаза. Дядя, ратовавший за выпуск листовки, первый говорил о том, что мы подвергаемся опасности, но именно поэтому-то и надо было выпускать, чтоб получить боевую закалку, боевое крещение, обострить свое конспиративное внимание, чтоб ни один шпик и провокатор к нам не пролезли. Кроме того, выпуском прокламации имелось в виду оповестить о своем существовании все революционно настроенные элементы из состава учащейся молодежи. У нас была смутная уверенность, что там есть еще организации, подобные нашей. Прочтя нашу прокламацию, эти организации стали бы нас искать. Возможно, что организации, подобные нашей, есть и в других городах. Прокламация наша, выпущенная весной, несомненно, пойдет и в другие города и веси. Приток новых сил окупит нам, может быть, те потери, которые мы понесем из-за провокаторов и шпионов, брошенных жандармами на поиски нас. Теория многих наших соратников, в роде Евгеньева, о том, что сначала теоре-

тическая подготовка, а потом боевое действие, была органически чужда нашей руководящей пятерке. Мы называли ее статической, ненаучной теорией, обывательской. Мы исповедывали другую истину, мы говорили, что теоретическое образование должно идти рядом с практикой. Условия жизни в тогдашней России тем более этому способствовали, что ведь после практического действия полагалась более или менее длинная тюремная сидка или ссылка. Там-то, надеялись мы, и получим теоретическое образование. Мы читали и слышали из жизни предыдущих революционных поколений, что тюрьма может быть прекрасным университетом социализма. А пока мы не в тюрьме, надо бить и бить врага. Мы убеждены были в том, как, скажем в скобках, убеждены и теперь, что сила копитя в действии, она — не вещи, которые копятя в статическом собирании.

Такие доводы мы противопоставляли колеблющимся. Один из нас, Черный, будучи приперт к стенке Евгеньевым (дело происходило на собрании высшего кружка), который утверждал, что дирек-

тор реального училища такой проныра, что он непременно узнает все, взял слово и произнес такую убедительную речь: — Вот, т. Евгеньев говорит, что директор узнает. Директор-то узнает, фью!...—тут оратор скептически присвистнул и замолчал. Ввиду краткости речи, собрание ожидало продолжения. Председательствующий спросил: — т. Черный, вы будете продолжать? — Нет, я кончил, я все сказал, — заявил Черный под аплодисменты и дружный веселый хохот всех.

Листовка была выпущена и действительно произвела тот эффект, на который рассчитывали мы: листовка открыла конспиративную переключку между нами и другими организациями как в нашем городе, так и в иных городах.

Вместе с тем Зет и Дядя полагали, что пришло уже время померяться им серьезно силами и устроить дискуссионный турнир на общем собрании всей организации. Пусть хоть раз все кружки соберутся вместе, и Зет, и Дядя прочтут каждый по исчерпывающему докладу, дадут друг другу генеральный бой, и посмотрим, за кем пойдет организация!

(Продолжение следует).

Неизвестный камыш

Рассказ

НИК. ЗАРУДИН

Ц арила сибирская степь. Зима лежала еще крепко, продрогшая насквозь, под солнцем в низких пустынях, поросших лихорадочными грезами березовых кустарников. Это была передняя дремучей, заросшей тайгами, сопками и камышом страны. Пустыни ее шли с запада на восток, продуваемые насквозь ветрами всех континентов. Пустыни шли под полным ветром. И не было конца редким, еще заметным дорогам, ночам, завывающим последними бурянами, а днями — ветреному, сумасшедшему солнцу, уже гнавшему с юга жаворонков и гусей.

Через степь лежал великий северный птичий путь. Он шел от теплых вод Индийского океана, где небо так сине и блаженно, что, кажется, завидует райскому мерцанию воды; от Египта через горы и скалистые пропасти китайской провинции Синь-Дузянь и дальше на Алтай, в ясный первозданный хрусталь, налитый между зеленых гор. Серые птичьи косяки проходят мимо их белых шапок. Горы покрыты бледно-лиловыми гиацинтами туч. Со снежных туч вниз прыгает и бьется гремучая студеная вода. Она поит красные сочные тюльпаны, альпийские фиалки, — и тогда пчелы поют над цветами зноем и летят к пастбищам, в долины, полные меда и скота.

Перелетные птицы безудержны... Они идут на восток, через снега и поздние льды. Птицы летят над озером Чан, минуют реки, стремясь к великим водоемам и моховым тундрам севера. Косяки пересекают рельсы, ведущие к жел-

тым водам Японского моря, и птицы с необъятного простора видят крошечные хлопья дыма поездов, уносящих и привозящих Россию. Солнце освещает их длинные серые станицы. Они летят высоко против ветра. За ними бесконечны ночи, бездонны морские пути, за ними остаются бури и мятели, горы и степь. Никто не знает, зачем покинули они страны, где на деревьях зеленые плоды подвешены, как бомбы, где змеи висят и искушают белые цветы, где солнце и море щедры и неустанны.

Закон жизни дикого летного племени не разгадан. Инстинкт, ведущий их ежегодно к северу, никем не понят. Что составляет их с верностью компаса находить свои старые, прошлые гнездовья, — никому неизвестно. Птицы летят с той же силой и верностью, с какой земля летит вокруг солнца. И люди, стоящие на этой земле тысячи, а быть может, сотни тысяч лет, провожают их взглядами, полными счастливой зависти.

На захолустной станции, чорт знает где, у почтового поезда, вставшего перед отштукатуренным бараком с круглыми казенными окнами, с колоколом и ящиком для мусора, их заметит какой-либо неизвестный гражданин, поднимет голову и остановится.

— Гуси летят! — скажет он, перебегая пути у длинного, как сибирская дорога, красного товарного состава. И позабудет почтовый поезд, чайник, высоко подняв голову и прикрываясь рукой от солнца.

— Высоко! — авторитетно, в воздух, ни к кому, подтвердит парень, боль-

шой, как оглобля, неизвестно для чего попадающийся на всех дальних станциях. — Стараются, — скажет он, — значит, летят! — и он безудержно расплывётся своему важному открытию. Но тут, как часто бывает это с российскими людьми, словно удивится собственному голосу, сконфуженно смолкнет и отойдет, стеснительно надвинув шапку на лоб.

Посмотрит на гусей и проводник вагона, в котором едет гражданин с чайником. Проводник поднимет к небу желчное, жесткое лицо с жестяными глазами, такими чужими и равнодушными, что, кажется, в них навсегда вошли бесконечные станции, раз'езды, хлопанье дверями, пыльные лавки и безликость тысяч пассажиров, втаскивавших в вагон при свете свечных огарков свои корзины и мешки, спавших, куривших, чтобы бесследно пропасть и никогда не вернуться. В глазах проводника будет то же выражение, с каким он обычно говорит:

— Гражд-дане! просил вас не сорить, в самом деле... Метешь, метешь... никакого в вас понимания... Тоже пассажиры... Чорт бы вас всех, — и тут начнется бормотанье, невнятное, как дребезг поезда.

Птицы уйдут в бездонность. Потом будут звонки, хриплый рев паровоза, словно из-под земли, — и через перрон, неловко припрыгивая, кинется военный, с голым, подвитым редкими белыми волосами лбом, без ремня, в чуваках и синих галифе, заправленных в полосатые носки.

Поезд будет итти под нежным небом, бледной весной к востоку. А гуси полетят на север, унося свой путь, который так неизвестен, что кажется, лежит от самой колыбели человечества.

II

В этот день, когда над степной станцией прошла первая вешняя птица, южнее, в 80 верстах от магистрали, соединяющей Европу с Великим океаном, находился человек, в ведении которого был весь перелетный путь от центральной Азии к пернатым зимовьям Индии, Африки и Южного Каспия. Мы имеем в виду орнитолога Николая Александровича. Орнитология — наука и как всякая наука точна и чужда каким-либо обобщениям, основанным на личных переживаниях. Это — чистая наука, на-

ука о пернатой жизни, знающая только факты, только наблюдающая, регистрирующая и устанавливающая связь явлений в своей области. Орнитология — еще молодая наука, она не имеет древности и еще насквозь фотографична. И орнитолог, Николай Александрович, долгие годы отдавший классификации, неукоснымым датам, латинской порядочности, придал своему мозгу и сердцу точность чувствительнейшего фотографического объектива. Он был точен и совершенно бескорыстен. Он был предан работе целиком и отдавал ей всё внимание, которое требовало полной и сварливой верности. В его сознании, чувствах и поступках никогда не было никаких отступлений. Поэтому он презирал всякое искусство и не считался с его магической силой, претворяющей всякое знание в героическую биографию вселенной. В его птицах не было идеи мирового совершенства. Птицы летели от даты к дате, сами по себе, залетая лишь на страницы орнитологических книг, вне истории и политики, эдакие лишь музеям и страницам сухих научных журналов. Поэтому Николай Александрович был аполитичен, был человеком *post factum* и числился незаменимым. Но революция, постигавшая жизнь во всей связи ее явлений и проникавшая через ее суровый хаос путями искусства борьбы, никогда бы не занесла его имя в списки членов хотя бы захолустного исполкома.

Гуси, подчиненные орнитологу, летели от царственной лазури Индии. Это были серые гуси, имеющие мощные остроугольные крылья, развивавшие полет, равный скорости стрелы тунгусского лука. Клювы их были выточены из бледного розового рога, и перепончатые лапы с крепкими когтями розовели, точно в них была нежная, разбавленная водой кровь. Индийский магараджа, отдавший старость созерцанию мира, окольцевал десятки этих птиц. Магараджа был богат и знатен. Он принадлежал к той части мира, которая огорожена от любого разговора в вагоне сибирского почтового поезда карабинами английского империализма, имеющими двольскую начальную скорость пули.

Страна магараджи лежала далеко за снежными тучами южных гор.

На серой заре, когда косяк миновал степные озера, вышел к тусклым водяным равнинам Оби и повернул на восток, птицы снизились к займищу и летели на камыш, неизменно выходя от мыса на мыс. Камыш был мертв. Поднималось солнце. Косяк шел, коротко перебрасывая осторожное: «ка-га-гак»... «ка-га-гак» — изредка трубя медными рассветными трубами. Ветер дул с поморья. И русский охотник на этой дикой заре убил из камышей на мысе глухого озера громадную птицу, за версту услышав крики, летевшие с Индии. На гусе было металлическое кольцо с надписью неведомого содержания.

Орнитолог Николай Александрович получил его через две недели и сам продиктовал машинистке заметку в газету краевого значения. Заметка была торжеством точной чистой науки. Индия соединилась с тундрами. Гуси были вне социальных законов человеческой истории.

Однако, точный факт оказался условным:

— Никаких магараджей, — сказал по этому поводу заместитель редактора краевой газеты, сгустив презрительные морщины на лбу, унаследованные им от Гижы. — Краевой орган партии, товарищ, не может заниматься агитацией бесящейся от жиру индийской аристократии.

— Позвольте, — начал орнитолог Николай Александрович, и его глаза, как всегда в минуты волнения, стали совиными, — мировая наука не знает примеров...

— Ничего не могу сделать, товарищ, — отчеканивая последнее слово, перебил его заместитель. — Мы оцениваем каждый факт информации политически.

Орнитолог понял, что в кабинете, заваленном кипами газет, есть своя сфера точных понятий, не терпящая посторонних вмешательств. Он был чужд лирических обобщений и уважал всякую специализацию. Случай с окольцеванием экземпляра «*Anser anser*», взволновал его отнюдь не в художественном порядке. Он с достоинством надел зеленую, помятую шляпу, чтобы вернуться к обычным занятиям, идущим неотрывно и вопреки всем мировым потрясениям. И кольцо магараджи, знавшее воды Ин-

дии, сухо замкнулось в полированном ящике с этикеткой, датой и фамилией русского охотника, безынтересного для событий орнитологической науки.

В этот день в степи дул юго-западный ветер. Орнитолог был в собственных владениях и об'езжал их, направляясь к озеру Тандов, лежавшему западнее. Весна тронулась уже дружно и весело. Степь облезала. Синевато-свинцовые озера воды стояли у самой дороги. Воздух по буграм дрожал прозрачными волокнами, как над трубой паровоза. Всюду, где только попадались обтаявшие, бурые гривы жнивья, серели тяжелые, сытые табуны гусей, поднимающих над разломанной соломой полей длинные змеиные шеи. И судьба свела орнитолога Николая Александровича с попутчиками, о которых можно сказать, что разнообразные существуют граждане на свете. Не считая ямщика, их было трое.

Дорога была тяжелая, скупая, и лошади тащили телегу, резавшую серый снег и черную вязкую землю, лениво и безучастно. Ехали вторые сутки. Сначала дорога шла по столбам, гудевшим сыро и бесприютно, потом она свернула в низкие березовые перелески, и столбы зашагали куда-то в сторону однообразной шеренгой, напоминающей редкую солдатскую цепь. До станции и города, стоявшего за горизонтом, неизвестно где, было столько верст, что никому не хотелось и спрашивать. Да и не верилось ямщику, уверявшему каждый раз, что от переезда до города подать рукой... И в переезд никто из людей, сидевших в телеге, уже не верил.

Веселее всех был орнитолог. Сергей Иванович, ехавший по неизвестной никому командировке и числившийся экономистом, впал в задумчивость. Он был длинен, худ, большеглаз, из тех людей, о которых обычно говорят: «Ах, этот некрасивый... а впрочем, он симпатичный!» Ему очень хотелось курить, но было лень шевелить заочневшее тело, вынимать табак и закуривать на ветру... Он вжился всем существом в тряску и качание телеги и чувствовал, как всем телом уходит в этот случайный мир нелепого дорожного ритма.

Мир впереди был закрыт широкой спиной орнитолога. Из-под шапки выби-

вались его кудри — темные завитки, словно посыпанные пеплом. На нем была смешная желтая шапка с ушами, придававшая голове что-то бабье, очень непроверяемое. Орнитолог напомнил Сергею Ивановичу из детского очкастого, поднимавшегося из приложений к «Вокруг света», где были романы с рисунками художника Риу. Этот «Риу» особенно запомнился. Орнитолог совел круглыми очками, зарастал бакенбардами и чудаковато лез в дядюшку, который должен полететь на луну.

Выехали на обсохшее серое поле. Лошади взяли сразу бойко, и телега пошла, мягко громыхая, и всем сразу стало легче и радостнее. Сергей Иванович освободил тело от привычной, ставшей даже сладкой и необходимой боли и приподнялся. Впереди бежала дорога. Замшевый, чистый затылок ямщика с глубокими морщинами был как всегда свеж, бодр и неизменен. Орнитолог прыгал своей шапкой, широкой спиной, очками. Мир существовал как вечная объективность.

— А где же агент наш... Захаров? — спохватился Сергей Иванович, не найдя сбоку аккуратных плеч и лица со знакомыми колючими усами. С агентом Сибторга они познакомились дня три, но никто не знал его имени и отчества. У этого человека было доброе лицо и скромные глаза, от которых и орнитологу, и Сергею Ивановичу почему-то становилось неловко. Но ямщик сразу стал называть его «Захаровым» и на «ты». А как известно, ямщики и официанты беспощадно устанавливают правую человека на титул и положение. И все, точно по уговору, стали называть агента просто Захаровым, и это почему-то казалось законным. Никто не удивлялся, когда ямщик спрыгивал на землю, хватал лошадей под уздцы и с властью, которая в таких случаях показывает, что и он исполняет в мире важную функцию, кричал:

— Тпру... раклтая... Язви тебя в горло! Захаров, помоги супонь подтянуть... Тпру... дьяволы!

Захаров ловко и умело подтягивал супонь; они долго и солидно возились у лошадей, и, когда ямщик, не глядя на орнитолога, крепко усаживался и дергал лошадей, опять-таки последним усажи-

вался Захаров, уже на ходу, как-то особенно аккуратно. И относился он к своим путникам, как относятся к детям, которым не может быть никакого дела до всех забот и лошадей на этом трудном, проклятом пути...

На этот раз удобной, приветливой фигуры агента и его нависших колючих усов не было.

— Народы! — сразу тревожно крикнул орнитолог: — в самом деле, где же Захаров!

— Да вон он, — обернулся ямщик. На его молодом, краснощеком лице с заволоченными красивыми глазами была особая извозная сытость и равнодушие. Он ухмыльнулся: — Вон бежит! Как заяц. Н-но... заскучали! — Он замахнулся кнутовищем. — Коняма тут было очень чужало, он и соскочил...

— Да ты, брат, подожди... Надо же подождать человека! Что ты, в самом деле...

Сергей Иванович пытался еще что-то сказать, но телегу затрясло и понесло по ухабистой сухой колее. Он схватился обеими руками за корзину.

— Догонит. А тут дорога хорошая...

Захаров в самом деле догнал. Он бежал, неловко улыбаясь, тяжело дыша, похожий на доброго усатого жука. И оттого, что он ловко прыгнул и по обыкновению уселся с краю телеги, на своем неудобном месте, и орнитологу, и Сергею Ивановичу стало увереннее. В агенте была та обязательность и верность, которые совершенно необходимы эгоистическим людям в дороге для душевного спокойствия.

Ехали молча, каждый погруженный в себя. Ветер гнал степь и снега. Откуда-то сбоку снова зашагали столбы, и холодно запела проволока. Солнце становилось пустынное, недосыгаемое. В спину дуло уже зябким талым закатом, мороженой польнейю. На редких озерах, лежащих зеленоватыми привидениями, мотались в воздухе чибисы. Гусиные серые кресты и стрелки в небе попадались реже. Степь лежала холодной в пустынном раздумье неба и пространств. Порывы ветра шли, как невольные, безучастные мысли и воспоминания.

И каждый думал так, как думает человек в дороге, — случайно, наудачу. Орнитолог привык к дорогам и думал

систематично. В данной момент его занимали мысли о распространении и быте розового снегиря. Кроме всего прочего, он беспокоился за сохранность фотоаппарата с Цейсовским телеобъективом огромной ценности.

Мир Сергея Ивановича был пестр, добр, неясен и наполнен цифрами. Он считался экономистом: так как у нас все люди, не имеющие специальных знаний, причисляют себя именно к этой области. Революция гудела и звала в проводах, не поспевающих за шагом телеграфных столбов. Столбы шли на ходулях. Короткие значки азбуки Морзе, казалось, не успевали бежать за их гигантскими шагами, уносившими даль. За ними шли планы, цифры, молнии распоряжений, судьбы. И они боролись с тупым безразличием пространств.

На равнинах полей шла борьба со стихией, решались судьбы двух миров. Сергей Иванович со всей своей судьбой был включен в систему этой борьбы. Генеральная линия пересекала степь вдоль и поперек. План должен был решить пути человечества. Зеленого восстания колосьев ждала земля, и колосья должны были стать историей. Так гудели и звали провода.

Экономист планировал, подсчитывал, проверял. А Сергею Ивановичу каждую ночь снился сон: девушка с выражением свежей дождевой ветки. Сон был старинный, милый. Ветка пахла дождиком, а дождик так, как пахнет Волга весной под Симбирском. Экономист жил в командировке, в городке, где председательствовал хлеб и масло. Городок был тускл, сер, и поезда проходили возле него, забирая новый паровоз и не запоминая его так, как никогда не запоминают бабу в сапогах с зеленой палкой, мигнувшую где-то на переезде у насыпи. Из городка шла поддержка мировой истории. И экономист Сергей Иванович, прожив в нем полгода, только случайно заметил, что каждый день проходил мимо дома с надписью:

Электро-парикмахерская
«Путь к коллективизации»
Добровольного Пожарного Общества.

Еще запомнил он, так как был беспартийным: на вечеринку у сослужив-

ца, куда он был приглашен и где его все почему-то называли профессором, — самый разгар ужина пришли гости — молодые люди в серых рубашках и вязаных галстуках. Лиц их экономист не запомнил — они походили на выгоревшие фотографические карточки. Входя, они повторяли, одинаково отряхивая волосы:

- Афиногенов... член партии...
- Советкин... кандидат партии...
- Долговых... член партии...

Молодые люди сидели молча, солидно и пили водку, как лошади. К экономисту они отнеслись высокомерно. А он чувствовал свое превосходство и говорил с хозяевами плавно и кругло. На вечеринке, в людях, он был только один раз.

За работой он ничего не заметил и не запомнил из своей провинциальной жизни. Город жил неведомо, «сам по себе», и неизвестно, кто выполнял планы, программы, инструкции. Казалось — и не было вовсе людей. Но жизнь шла, — и какая жизнь! — вся степь ворочалась вековыми пластами. Воля рельс и проводов была железной и беспощадной. Цифры и планы были грандиозны и зажимали необозримости пространств. Экономисту казалось, что только они сами правили поездами, пересекали вьюги и снега и сами неукоснимо переворачивали, командовали, направляли. Он верил только в централизацию и в магическую, ясную и неопровержимую силу телеграфного аппарата. Всё остальное было абстракцией. «Всё это» мерещилось ему в неопределенных лицах, над которыми было сознание своего превосходства. Лица людей, подчиненных системе, которую он знал и силу которой чувствовал, были туманны, незначительны, как серые рубашки и полосатые галстуки пожимавших ему руки и отряхивавших волосы:

- Афиногенов... член партии...

И кто же, кто творил жизнь, проходящую вокруг?

За экономистом стоял неинтересный, добродушный Сергей Иванович. В нем была доброта, обыкновенная наша бесхарактерная доброта, прошлая бедность, огромная Москва, которую он, в сущности, не знал и не видел, театры, в которых он не бывал, хотя и говорил о них

восторженно; было еще что-то очень далекое, почти чужое, горькое до слез: мать в приволжской губернии, домики в соломе и 15 рублей, посылаемые ежемесячно. Сергею Ивановичу снился иногда глупый сон, блажь: ветки, туман на Волге, платье, не существовавшее на свете. На его столе стояла карточка в рамке некрасивой женщины с упрямым, длинным лицом. Карточка была случайна: ее подарила сослуживица. Но на ней была надпись старая, как мир: «С. И. — с верой, что существует чистая дружба». Дружбы, собственно говоря, никакой не было, но карточка хранилась. Ну какой же мужчина, у которого нет женской карточки! Кроме того, Сергей Иванович наблюдал за людьми и ждал их в жизни безотчетно. Мысли, которые он произносил о людях, в большинстве случаев были случайными или просто удобными для работы. Чаще всего он произносил фразу, слышанную им в вагоне от лукавого человека с трубкой, относившегося ко всему с веселой иронией. Фамилия его была странная, — нечто в роде Гриба, и говорил он подсмеиваясь и добродушно:

— Нам нужна воля, судари, — и никаких гвоздей! Люди должны выполнять: командует класс и наука. Человек — средство. Абстракция! Ради того, чтобы человек навсегда перестал быть абстракцией. Это не так плохо! — он загибался трубкой, и в ней что-то хлопало и запевало. Он смеялся и, лукаво улыбаясь, хлопал себя по колену. — Нужны быки, энергия в тысячу лошадиных сил, здоровье, послушные здоровые мускулы. Да-с! Вы говорите: люди, мир, осмысленность, счастье... Есть! Идея прежде всего — люди приложатся! А после будет ренессанс, краски, греки, чорт возьми! Я ради греков только и работаю. Как вы это все находите? Это не так плохо, уверяю вас, — продолжал он, — и в этом есть краски, красота, хотя сейчас, откровенно, — ну ее к дьяволу! здоровый может найти красоту вот в дыме этой трубки. Нужна Спарта, чорт возьми! Спарта в идее, в машине... Всё остальное будет, как 52 книжки бесплатных приложений к «Ниве». А насчет греков — они будут. Я работаю только на них. Я деклассирован по существу, инстинктов

прямой заинтересованности во всей этой борьбе у меня нет. Мелкая буржуазия. Поэтому мне нужна идея, Венера, солнце, чтобы полетели к чорту галстуки. Это — установка. Теперь — только воля. Кому нужны цветочки — в сторону! А не хочешь: заставим пулеметами, погоним, выгоним из стойла, заставим пахать и копать... Железо, судари мои, трактор, трансмиссия. Ради того, чтобы через 10, 20, 30 лет из тартаров времен слушать музыкальный дождь, кататься на колеснице по берегу Эллады... Тогда мы покажем, что такое жизнь! А сейчас я верчу кино, чорт возьми! Верчу, наяриваю — и никаких гвоздей!

Дым трубки был синим, пах сладко скитальчеством, неведомыми странами.

Человек хохотал и лукаво щурился всем телом. На голове его не было ни единого волоса. Голова сверкала, как глаза. Веселость человека играла глadio заструёной, сияющей летом реки. Он хохотал, как буйвол, и сошел в степь на станции, носившей странное название — Жаба. Сергей Иванович знал, что у него было два романа в поезде. Всю дорогу дальше дама с капризными, измученными глазами, соседка по купе, смотрела не отрываясь в окно и грустно улыбалась.

Человек с трубкой на прощание дернул его за галстук, проводника оглушительно хлопнул по плечу, исчез на перроне, и без него всем в вагоне стало тихо и скучно. А Сергей Иванович после много месяцев повторял его слова:

— Идея — всё, люди приложатся. — Но дальше у него получалось вяло, неинтересно, а о Спарте и музыкальном дожде он просто забыл.

На станции Жаба осталось неведомое буйство жизни. Люди вспоминали его, неловко, но приятно улыбаясь. Так провинциалы смотрят на заезжего знаменитого скульптора, с почтительностью и молчанием, соглашаясь со всем и не соглашаясь лишь с одним: может же заниматься вею жизнь такими пустяками человек!

Сейчас в степи, не имеющей ничего общего с эллинами, из Сергея Ивановича вытрясало экономиста.

Он старел и мерз на телеге. Она качалась, сипела, чавкала в грязи, медлен-

но опускаясь в долину. Агент Захаров, неизвестный в мире, просто смотрел вперед. Рыжеватые, прокуренные усы его были обыденны, — и о чем думал он, не знали ни Сергей Иванович, ни орнитолог, ни ямщик, душевная жизнь которого, как полагается, выражалась в ругани. Ибо мысли ямщиков никем не исследованы, а что они люди, почти никому не приходит в голову. Встречных людей не попадалось, степь была пуста, и лишь раз за всю дорогу повстречался тарантас. Там были двое: пьяный мужик без картуза, закинувший голову, и другой, махавший длинной хворостинной с недоуменной веселостью. Он был рыж и отчаян.

— Дорога... мать ее в душу...—крикнул он, не глядя на встречных. — Ах, твою мать... да пропади она в доску...

Он заорал дико, грозно, нахлестывая лошадей все сильнее и сильнее. Тарантас поравнялся, его мотало из стороны в сторону, голова пьяного открывала и захлопывала челюсти. Хворостина неистово мелькала в воздухе.

— Да... расхристи ее... дья-волы!! — ответил ямщик и, словно вспомнив свое назначение, начал хлестать коней, приговаривая: — Дья-волы! Дья-волы!

Тарантас прошел мимо. Сергей Иванович повернул к нему голову совсем постарчески; агент просто; орнитолог не пошевелил спины. И только ямщик долго ругался и хлестал лошадей, пока не затихли воспоминания встречи и тарантас не смыло грязно-лиловатыми отеками перелеска. Так ехали, то поднимаясь на подсушенные колеи широких холмов, то увязая в ледяные пологие озера, налитые тусклой, шипящей мутью студеной весны. Степи не было конца. Не было конца этому воздуху, уже посеревшему у земли. Столбы стали совсем бездомными и вечерними.

Когда закуривали, орнитолог слезал и шагал в стороне прямо по снегу: он не выносил табачного дыма и курильщиков. Иногда он останавливался, снимал фляжку и пил, держа ее высоко на весу, запрокинув трясущуюся бородастую голову. Напившись, он сосредоточенно навешивал фляжку на ремень, борода его была мокрой и сальной, красные губы глянцевели, лицо пучилось. Сергею Ивановичу становилось смешно:

орнитолог был до нелепости осторожен и пунктуален в своих привычках и вместе безразличен и к собственной, и чужой жизни; всё человеческое походило в нем на холодный, клеенчатый диван губернского прокуренного присутствия: никто никогда не собирался садиться и отдыхать на этом диване, так он был холоден, замкнут, неудобен; и всё же диван был диваном, с широкой спинкой, пружинами и блестел клеенкой, отдающей больницей.

Вечерело. До озера оставались пустышки, там были рыбацьи летние избушки. Рассчитывали заночевать.

В сумерки степной дорогой и коням, и людям думается о доме, о задушевной чистоте родного круга; случайные дорожные встречи поэтому часто зовут к откровенности. Да и вечера на степи даже в непогоду, студеной весной, полны домашних, зябких потемок. Дом в мире везде. Везде не дремлет жизнь: и звери, и птицы, и нищие кусты живут семьями. Даже звезды, и те, кажется, внимательно наклонены друг к другу, словно за чайным столом, под мерцающей лампой мира.

— Ты, Захаров, небось, как приедешь, так прямо к старухе, — захохотал вдруг ямщик, оборачиваясь и фамильярно откидываясь на локоть. — Небось притомилась! — он задумался и помолчал: — Я недавно здесь до колхоза одну дамочку возил, у ей муж рабочий из Ленинграда товарищ Дубровский. Такая веселая. Только нашему брату не приходится воспользоваться. Которые в солдатах были, те рассказывают — поблаженствовали... а мы — что: ездий, ездий, как окаянные.

Все молчали. Орнитолог был непроницаем.

— А её до мужа здоровенный хлюст провожал. Чистый зверь. Но, ничего, человек внимательный. Только через каждые полверсты всё за нуждой слезал. А дамочка смеется. Ты, говорит он мне, еще молодой, ничего не понимаешь. У меня этих гриппов штук четырнадцать было. Как лапша, говорит, они из машинки лезли. Всё в стакан, говорит, смотрю, а там ложка стоит... И теперь у меня этот самый гриппер... Такой чудной был человек! Но одет ничего, чисто...

Он ударил лошадей. Вздыхнул.

— Ты, говорит, молодой еще; всё, говорит, еще узнаешь. А чего я узнаю: цельные дни в раз'езде. И кровь у меня мороженная. В наших местах проживешь — и ничего не увидишь...

— А ты вот уши распускай, — перебил его агент: — Ничего не узнаешь! Разве это человек должен узнавать? Надо к жизни свое пристрастие иметь... А товарища Дубровского я знаю: вполне сознательный рабочий.

— Сознательный, это верно, — согласился ямщик. — Чего говорить. Из центра. Ну и встречали их, товарищ Захаров, — оживился он, переходя почему то на «вы», — как они приехали на станцию, дидегагия была, музыка. Встретили их с епетитом. И што это думают в центре всетки о наших местах?

— А ты что думал? из центра, из центра! Ты всё на центр сваливать. Видите, Сергей Иванович, — обратился вдруг агент к экономисту, — у них в голове только один центр. Из-за маковой своей колокольни не видят.

Он засмеялся своим потаенным мыслям:

— Москву-матушку нужно с маслом есть. Ха-ха. А где масло ты, дорогой товарищ, видишь?

— С этим мы вполне согласны, — поддакнул ямщик. — Только масла-то маловато!

— Хватит. Кашу не испортим. Ну, ты, Ваня, поторапливай... Масло у нас под кажным кустом ходит. Глаза только нужно иметь.

— С этим мы согласны, — согласился опять ямщик. Он бойко приподнялся, ухарски гикнул, заорал, но только для виду, чтобы снова застыть в тулупу, серую брезентовую спину.

Однако, озеро намечалось. Над снегами ровно зажелтели камыши, перелесок плешивел, разбрехался, вдали забрезжили темные копны соломы и редких крыш. Они сливались с землей и снегом. Лошади пошли бойко, телега шипя резала целину снега. Ехали напрямик степью. Вечер висел слюдяным, стали накрапывать первые звезды.

Орнитолог вытащил бинокль, стал походить на капитана. Его фигура темнеда предводительством.

— Да тут живут! — вдруг закричал он беспомощно. — Кругом народ. Сплошной бульвар! Да стой же ты, стой! — злобно, совсем по-детски накинулся он на ямщика... — Стой!

Лошади стали... Орнитолог водил биноклем, жалобно стонал.

— Пропало озеро! — беспомощно опустив руки, обратился он к Сергею Ивановичу. — Места-то какие были. Тут мы станцию хотели учредить. Совершенно ужасно, господа... И, наверное, ваш колхоз, — застонал он страдальчески, — ваш, ваш... вы это всё планируете... Ну, вот и напланировали. Полюбуйтесь. Бульвар, бульвар, окурки, сплошной бульвар. Любуйтесь, любуйтесь! Ради бога, любуйтесь...

Он темнел лицом, бинокль его прыгал с бородой.

— Верно, что бульвар, — отчаянно весело и радостно, крикнул ямщик. Он стоял на телеге во весь рост и выражал собою восторг. — Колхоз тут, беспременно. Народ рази таки места оставит? Гнать, что ли? Тут с' полверсты осталось...

Тут он осекся, увидев трясущееся, темное от негодования лицо орнитолога. В очках оно круглилось, созело, превращалось в мировую науку. Всем стало неловко.

— Гнать! Ему только, гнать! — ученый всплескивал руками, ходил по снегу, обращаясь то к агенту, то к Сергею Ивановичу. — Ува-жа-емый, да вы поймите, что это беспримерное отношение... Гнать? Конечно! Конечно! Но, куда — на какой-то базар, в деревню! — он стонал и хватался за голову. — Ну, что же, планируйте, планируйте... Но ведь здесь мы наблюдали редчайшие виды!.. Мы смотрели отсюда весь мир. Что же это такое, я вас спрашиваю... Го-спода, что же это такое...

Он обратился снова к агенту. Тот смотрел просто, и его нельзя было понять. Сергею Ивановичу показалось, что в его рыжеватых усах была усмешка. Но агент молчал. Он подошел к лошадям, поправил сбрую, вернулся и аккуратно подвернул тулуп, служивший сидением.

— Поедем, — коротко бросил он ямщику. — Садитесь, Николай Александрович. Приедете. Посмотрите. Человек

вашей птице, я полагаю, не помешает...

— Не по-мешает? — орнитолог негодующе выпрямился, очки его остановились; он махнул рукой и сгорбившись уселся на телегу. — Едемте, едемте, — замахал он на Сергея Ивановича, пытавшегося сказать ему что-то по поводу планирования. — Всё равно. Едемте.

— Собственно говоря... — начал было Сергей Иванович и замолчал.

Телегу переваливало на бок, и лошади входили уже в сплошную воду, хрустящую внизу мерзлым стеклом. Камыши стояли под бледной зарей равнодушным морем желтого ветра. За ними лежали пустыни пёкля, цедившие зеленые чаши умирающего льда. Лед смотрел, как глаза древнего ящера, караулившего время из темной пещеры веков. И заря дула и замерзала над ним, розовая от гнева.

III

Здесь была человеческая жизнь. Пахло дымом, наносило голоса, стук топора. Жилье лежало, зарывшись в сугробы и обледеневший конский навоз. Сугробы равняли низкие дерновые крыши. Ветер шевелил кучи соломы, поднимал шерсть круглой пепельной собаки, лежавшей прямо у трубы, и уходил на восток. Отовсюду шелестел и шипел камыш. Он шипел по-гусиному. В ломких, сухих звонах и шелестах были все звуки, которые он слышал неизвестно сколько веков. Камыш гоготал, трубил, свистел, заунывно и неуловимо.

На озере заночевали лебеди. Солнце застывало и покидало блеск слюдяных затонов. За камышом, по снегу, рыжая, как октябрьский кленовый лист, горела и, подняв острую морду, слушала лисица... Она ловила мышей и потухала в серой золе снегов; ее было видно за версту. Сибирский тетерев снялся с тонкой березки и низко полетел по ветру...

Вечер, пустынная старая земля! Все жили вместе: люди, птицы, звери и звезды. И каждый боролся и украшал свою жизнь.

На снегу, закинутые в голой степи, стояли машины: жнейки, веялки, плуги, выкрашенные в голубую и зеленую краску. Это была генеральная линия,

пересекавшая континент с запада на восток. Машины были мертвы, как природа, обманчиво равнодушны и недвижны. В их железе, дереве и колесах жили те же мечты движения и совершенства. Они включались в мир, в солнце, в лисицу, в тетерева, пролетевшего к ночи, высшим сочетанием закономерности и отбора.

Камыш ждал солнца и нарождался мириадами; это был — хаос; сильный затемнял слабого; птицы и травы поднимались миллионами и погибали; люди жили тысячами и десятками, но были известны единицами. Они были также безвестны, в тысячах, как и камыш. Генеральная линия меняла землю, слагала десятки и тысячи в миллионы, соединяла их, уничтожала с жестокостью природы все стоявшее и мешавшее на пути. Она боролась с хаосом и безвестностью жизни. Во имя миллионов люди соединялись в миллионы, чтобы в них стать единицами. Люди не хотели жить и пропадать, как камыш. Сильный должен был поднимать слабого, слабые превращаться в сильного, — и те и другие вставать зеленым изобилием. Люди хотели цвести, отцветать и падать в землю, как невиданные цветы, политые, подрезанные, выращенные миром. Разум природы подчинял природу. Законы отбора меняли отбор. Системы чисел переворачивали системы единиц. Наука становилась красочнее искусства, а искусство умнее науки. Машины, стоявшие на снегу, должны были хоронить мир, создавший их своим опытом. И лисица, горевшая солнцем, на берегу ледяной пустыни была прекрасна, как мир, и была включена в заготовительный план Сибторга.

Кто же творил и исполнял эту удивительную жизнь?

Здесь была безвестная человеческая история.

Существовала ли, в самом деле, на свете эта низкая, полутемная изба, зарытая в землю, с огромной печью, бледными окошками и грубыми круглыми бревнами, нависавшими над ее тусклой, загаженной жизнью? Когда Сергей Иванович с орнитологом спустились в черную яму со скользкими, покатыми ступенями и вошли в сени, заваленные дровами и сброей, они еле нащупали дверь.

Пришлось сгибаться, чтобы перелезть через порог. Избы не существовало в человеческом мире. Кислые, зловонные потемки мутно кружились в какой-то преисподней запахов, которых так стыдится и сторонится человек.

В избе, жарко треща, парила железная печка. Под светом копейной лампы углы, лавки и кровати, заваленные тряпьем, шевелились и ползали... Казалось, всё разлагалось здесь, прело и сладко чесалось в истоме гниения.

Экономист Сергей Иванович сгинул в этом тумане. Люди вошли и недоуменно застыли. Очки орнитолога перестали видеть. Он глядел кругло, голова его тряслась. Вся его фигура выражала оскорбленность.

— Ну, здравствуйте! Чуваши, что ли? — сказал Сергей Иванович, скидывая с плеч вещевой мешок. — Будем знакомы, — он огляделся. — М-да... — промолвил он неопределенно: — действительно... Ну, здравствуйте!

— Зластуй, — ответили ему из-за стола.

Отсюда на вошедших смотрели глаза. Изба была завалена людьми. У стола, казавшегося просаленным насквозь, ужинали. Народ был всюду: полуголые дети лежали и сидели под самым потолком, на каких-то досках, пристроенных неведомо как. Худые, плоские девки тянулись у печки. Желтолицая баба в черном покойничком сарафане, с нахмуренными бровями и огромной грудью, свисавшей к самому животу, наливала в чашку зеленое сусло, при виде которого у Сергея Ивановича подступила дрожь. Он обратил внимание на глаза: народ наполовину был больной, щурился; глаза были узкими черточками; женщины надвигали платки — их нельзя было разглядеть. Лица были желты, сплюснуты, бугристы, как кулаки.

— Тут трахома, Николай Александрович, — сказал он орнитологу шопотом. — Попали, нечего сказать. Но *à la guerre, comme à la guerre*. Подождем Захарова.

Агент распрягал с кучером лошадей. Без него трудно было начать разговор. Сергей Иванович был бессилен, а экономист скрылся неведомо куда. Орнитолог существовал вообще, вне человеческой истории.

От железки, красневшей раскаленными боками, было невыносимо жарко. Надо было раздеваться. Было неловко показать брезгливость. Сергей Иванович скинул куртку, бросил ее на кучу тряпья, наваленного по стенам.

— Жарко у вас, — начал он, подходя к столу. — И народом вы, слава богу, не обижены... Ух!

— У нас жалко, очинь жалко, — ответил ему человек в шапке, которую никогда не снимал. Один глаз у него высох, другой, черненький, смотрел узко и неподвижно. У него были тощие, китайские усики, и Сергей Иванович сразу подумал, — для чего он бреется: какой смысл бриться человеку, изуродованному, лишенному всякой надежды на красоту?

— У нас жалко очинь, — продолжал человек домовито, по-хозяйски поднимаясь из-за стола: — у нас человек рабочий... мы все тут вместе, один национальный коллектив...

— Мы рабочий человек, — промолвил кто-то из толпы, набравшейся в избу неведомо откуда.

— Рабочий мы все человек, — повторил парень с запекшимися губами и знойным черным чубом. — Мы все — как один! Рабочий...

— Они плохо понимают по-русски, — снисходительно заговорил черненький, одноглазый, — а старики ничего не говорят. Председатель хорошо у нас понимает. Только он в городе: как у нас национальный колхоз... У нас народ дружный, не хотят, чтобы поотдельно. У нас 14 семейств, девяносто шесть едоков... Все приехали Сибирь работать. Мы будем работать. Мы были сначала за Урман, за болот, с нашим председателем Ирзин...

Сергей Иванович закурил, хлопнув крышкой портсигара вятской работы. В толпе зашептались, заговорили что-то черненькому на языке, непонятном всем, кроме чувашей. Черненький переминался с ноги на ногу. Сапоги его напоминали средневековые, рыцарские; они походили на огромные, короткие раструбы, придавая его фигуре нечто воинственное; тщедушная его фигурка с усиками, в лохматой, бараньей шапке была самой светской; в остальных была совсем дичь, глушь, лесная дремучая заваль, непро-

глядные века, полные комаров, диких зорь, деревень, звякающих лесными болотными колокольцами, с коровьими богами; в их говоре скрипели гниющие сучья, тянуло курным дымом, была длинная колыбельная песнь народа, ослепленного мраком, нищетой, вонью и трахомой. Говор был древен и уводил во времена Иоанна. Черненький шептался с чубастым парнем. Сзади, в углу, старик, стоявший все время навтыяжку, опустив длинные руки, и смотревший на печь невидимыми глазами, тоже по временам, словно в воздух, бросал отрывистые глухие фразы... Старик походил на Некрасова.

Изба шепталась. Бабы и девки стыли недвижно у печки и ухватов. Они были безучастны, стояли молча, одинаково опустив лица и подпираясь кулаками, словно у всех у них нестерпимо болели зубы. Они несли в себе семью и материнство народа, его печальные песни. Баба в черном засаленном саване кормила ребенка. Левая грудь ее лежала на животе. Большеглазый, головастый ребенок упирался в нее белыми, парафиновыми ручками и уходил губами в вялое, коричневое пятно на теле, таком будничном, что оно не казалось голым. Ребенок делал судорожные движения: чудилось, что он плыл по потоку жизни...

— М-да, — промямлил совсем резиниво Сергей Иванович, — действительно... Положение ваше не из приятных... — Он курил, и дым папиросы тяжело вис в воздухе, так он был тяжел и насыщен.

Орнитолог смотрел прямо на дверь, ни разу не отведя глаз...

— Тяжелое наше положение, тяжелое, — закивал черненький и, конфузливо улыбаясь, остановился... — Народ просит, — проговорил он нерешительно, после паузы, — дать немного табаку... Мучаются все у нас, весь коллектив. И старики, и молодые — все вместе... У нас женщин одна молодая померла из-за этого...

— Померла... все просила закурить... молодая еще, — выступил опять парень с чубом. Он был в лаптях, с деревянными колодками и в домотканых серых штанах с огромными черными клетками. Штаны казались шахматной доской. — Ой мучалась она. Вчера по-

мерла. Молодой она — всё курила трубку.

И он почему-то заулыбался.

— Закуривайте! — сказал Сергей Иванович, вынимая портсигар и чувствуя прескверную тяжесть в душе и в теле. В толпе засмеялись, зашептались. Из толпы потянулись десятки рук. В народе смеялись, закуривали и улыбались, как дети. Дети народа смотрели молча отовсюду, не смеялись и смотрели, как старики. И старик с изнуренной бородой подвижника, стоявший как всегда в углу навтыяжку, смотрел по-прежнему на печь и тоже глухо выкрикивал свои непонятные слова. Он звал, надеялся и боялся, что его забудут. Черненький взял папиросу и, осторожно держа ее между пальцами, отнес старику и весело заговорил ему на ухо. Старик смотрел прямо, глухо клокотал и выкрикивал. Длинные его руки дрожали, лицо было устремлено вдаль.

Курили жадно, садились на корточки, с наслаждением улыбаясь сладкому дыму, празднично располагаясь прямо на сыром, затоптанном полу. Дверь поминутно растворялась, новые люди входили и безмолвно усаживались вдоль стен. А черненький, шевеля шапкой, щурясь узкой, сумеречной прорезью единственного глаза, рассказывал, мигал и, словно управляя всей сложной, заповедной жизнью этой темной, ужасной избы, изредка бросал в народ глухие, непонятные слова, загадочные русским, как шум темного, непроходимого леса. И народ слушал, сочувственно кивая головой.

— За Урман, в тайге — плохо, ой плохо, — говорил черненький, — там все кроты кончают... Много кроты. Саженый десять прошел — болот... А здесь земли крепкой, плодородной. Здесь надо всем народом поднимать, надо трактор, а после можно лошадьми. Нас всех вместе завел на Урман председатель Ирзин, лихой человек. Обидел народ. Он хорошо говорил, народ его слушал, а он обокрал всех и положил себе в карман... Он был офицер, торговец. И теперь ему будет суд. А мы народ, как один, — все рабочий...

— Как один, — повторяли в толпе.

А бабы, девки и дети слушали затаясь, на лицах их были написаны все

века, одинаковые, как закаты над низкими крышами. Черненький рассказал всё: здесь была жизнь огромной, плоской равнины, на которой селились люди, работали, валялись зловонными ночами по избам, землянкам и баракам, чтобы снова вставать, работать, подниматься над землей безвестными стеблями и сгнивать в ней вне истории мира. Но и сюда через серые листки газет, по столбам телеграфа, по талым, непроходимым дорогам неусыпно, неустанно, не утомимо шла генеральная линия. Черненький повторял слова: «контрактация», «коллектив», «кооперация», и эти слова включали зловонную, грязную избу, зарытую в снег на краю света, под ветром и звездами, в орбиту, которой неслась история, грохоча космосом.

На восток и запад шли столбы, летили, безумно суживаясь и хватая пространства, рельсы. Поезда проносили людей от берез и прозрачных перелесков московских равнин к сопкам и пихтам океана. В международных вагонах оранжевые, шелковые лампы покоили белоснежное белье, клетчатые пледы, веточки цветов; в вагонах была тишина спальни, мягкая речь, уверенность и сытость чужой, избалованной жизни. Она неслась в огнях мимо степей и озер, вдали над темной, потухающей ямой, где в смрадной вони прелых тряпок и жестяной печки на корточках, на соломе вел рассказ народ, потерявший историю в словых дебрях и заревах Иоанна...

В поездах шла быстротечная жизнь.

Англичанки съели свои бананы и апельсины и, не глядя ни на кого, выходили из вагон-ресторана. Немцы, из которых один, высокий и полный, с приторно-грозными бровями произносил, вставая из-за столика, «гоп-ля», курили сигары и записывали дневные расходы, они говорили и кричали на весь вагон. Японцы с лошадиными желтыми зубами, похожими на клавиши старинного фортепиано, любезно улыбались всем, на лицах их, покрытых огромными шляпами, нельзя было прочесть возраста; они все были одинаковы, и все были в лакированных туфлях с очень высокими, почти дамскими каблуками. Русские были вихрасты и разнообразны, как мир. Что

думали они, никто бы не мог разгадать. Здесь в вагонах встречалась мировая биржа политики и экономики. Генеральная линия управляла поездами. В спальной тишине международных была тишина динамита.

А в национальном колхозе «Просвет», в сотне верст от линии, где проходил «The sibirian express», давно отдоили коров, наступала тишина, засыпали сырые, темные бараки. Молоко, падавшее теплыми густыми стрелами на дно жестяных ведер, входило в расчет и план генеральной линии. Оно шло на экспорт, вступало в неведомую, сложную систему мировых отношений. Оно становилось силой, мощью, проникало в банки, играло на биржах, гнало с запада на восток заморскую сталь, механизмы, расчеты техники и энергетики. Оно было известно, качества его проверялись и контролировались знаменитостями. Молоко гремело в мире. Бабы, доившие коров за плетеными стенами загородок, были темны и непроходимы, о них знали, как знают о дикой сибирской заре, встающей над камышами. Генеральная линия включала их жизни в борьбу за покорение стихий и чисел.

Знали ли они эти великие тайны, обнаженные исторической волей, завоевывающей райские долины будущего? Давно уже отгорела железка, пришла ночь, в избе ворожила усталость и привычный сон, а черный одноглазый человек все говорил, щурясь, причмокивая, повторяя слова «контрактация», «трактор», «социализм», слова, которые приходили сюда из времен, стоящих сегодня и впереди, сюда — прямо во времена становищ, лесных гатей, комаров и коровьих богов.

Лампа светила скучно, как окошко древней избы, подпирющей край глухого, лесного поля. Народ присмирел, слушал, смотрел на людей, которых никогда не встречал и вряд ли встретит. Пил чай: агент Захаров, снявший пиджак, с добродушной, красной, худой шеей. Сергей Иванович, ямщик. Орнитолог сидел не раздеваясь, с кудлатой головой в очках и пил кипяток из высокой странной мензурки с делениями. Ему было совершенно невыносимо, и он решил спать на дворе в телеге. Он один не принимал участия в разговорах.

Агент пил чай неумоимо, грыз каменный сахар, потел и вытирался ситцевым платком. Это выводило орнитолога из себя, и он хмурился. Он с ужасом смотрел на окруживший его чужой, непонятный ему и привычный для всех здесь живущих мир. Девки и бабы не переставая чесали головы, уродливо, по-старушки повязанные темными платками. На огромной кровати, похожей на первобытный станок, сидели дети. Девочка с темными, прелестными глазами играла с мальчиком в куклы, волосы ее вились; другая, худая и длинная, смотрела на гостей не отрываясь, одергивая к носу грязную тряпку, служившую повязкой, на месте глаз у ней были узкие, черные, казавшиеся злыми и презрительными складки. Орнитолог узнал в ней маленького одноглазого человека. Трахома шла из дебрей Симбирской губернии. Дети несли в себе историю народа, не имевшего историков и дат.

Девочка с чудесными глазами играла, смеялась. Глаза ее были чисты, любопытны и полны жадности к жизни.

Агент выпил десятую чашку, крикнул и перевернул ее на блюде. Человек с одним глазом одобрительно закивал головой, попросил закурить. Это было невыносимо: они закурили зеленую, самодельную махорку, которую совершенно уже не выносил орнитолог.

— Ну, народы, — поднялся он, — я укладываюсь на воле... Вы, как хотите... Утром я ухожу на озеро... Имейте в виду, господа, ваш табак убивает всякую ясность мыслей. Это ужасно. Добрай ночи, — поднял он руку и обратился к кучеру: — ты, дорогой мой, помоги мне устроиться... За сим до свиданья!

— Быть может, — начал Сергей Иванович, — и мне? — но оборвался: взгляд ученого был сух и официальный. — Нет, уж я здесь... Тем более сегодня заморозит. Желая здравствовать.

Они вышли. В избе было тихо, словно все чего-то ждали.

— Серьезный человек! — с уважением вполголоса проговорил одноглазый: — серьезный очень человек. — И он крикнул бабам на своем приглушенном языке.

Принесли солому, разбросали ее на

полу, стали укладываться семьями на овчины, кафтаны, сбиваясь по родам, тело к родному телу. Народ разувался быстро и привычно. Вереницы серого тряпья повисли под потолком. В избе стало еще сумрачнее, грязнее, зловонней. Древний старик стоял в своем углу, попрежнему одергивая голубую рубаху, смотря куда-то вдаль. Он ложился последним. Наконец, и он исчез в сонной, заколдованной мути. Избу укачивало мерным дыханием. Стучали мерно и равнодушно часы, подвешенные к балке, и запел сверчок... Он пел мирно, грезил теплой печью, старой, старой прошедшей жизнью. Сон подступал, как рыданья к горлу, сладкой, безвозвратной силой, туманом. Сверчок пел — грустно, ласково, о том, что есть материнские руки мира и что нет нищеты, болезней и печали; он пел о хлебе, о сытых арматах, о караваях, полных душистого счастья, о том, что прошел лихой человек и все глаза просто и чисто смотрят на мир.

Сергею Ивановичу он пел о Москве, о чужих огнях, о далеком. Москва распускалась на бульварах, трамваи гудели бархатными шмелями, и лето приходило веселыми девушками с голыми, гладкими коленками. Актер Художественного театра в высоком, наглухо стянутом пальто гулял по тротуару; щегольское лицо его было сухо поджато старческими губами и блестело стеклышками пенсне; он словно сходил с английской гравюры, где кавалькада черных всадников летела в буковой аллее, а высокие люди в сюртуках держали длинные, старомодные хлысты. Была полная весна. Сергею Ивановичу было тоскливо, он ничего не понимал и поэтому уснул, как безвольный русский человек, с сознанием, что ему грустно и следовательно он с хорошей, доброй, правдивой душой. А когда пришел ямщик, что-то говорил и громко бесцеремонно ругался, он уже ничего не слышал.

Изба спала, а сверчок слушал и пел... Не спал с ним лишь один агент Захаров да кучер, к которому тоже лезли всяческие мысли. Он лежал и думал. Агент сидел на корточках в полосатых розовых подштанниках и докуривал папироску, свернутую из газеты. Шея его была худа и обижена, усы выглядели

по-детски, будто они могли и не быть, и весь он казался беспомощным.

Кучер никак не мог заснуть.

— Захаров, — заговорил он, взгляды-ваясь в Сергея Ивановича и стараясь убедиться, что тот спит непробудно: — чудной этот очкастый... — Он говорил шопотом: — Подхожу я к нему, а он лежит, как медведь, в очках, укрылся тулупом и глядит вверх... Я, говорит, смотрю на звезды. Что же, говорю я ему, это очень даже антиресно. — Ямщик вздохнул и задумался. — А он лежит. Ничего, говорит, ты не понимаешь: пропало мое озеро, о нем, говорит, во всех странах знают. Так и сказал: во всех странах знают... Очень даже вероятно.

Он помолчал. Агент добродушно тянул папиросу.

— А я и говорю: разви наш народ такое известное озеро пропустит. Тут одной рыбы на миллионы. А он как рассердится... Я думаю, товарищ Захаров, он из попов...

— А ты распускай язык! Значит, беспокоится человек.

— Беспокоится, это верно! — согласился ямщик: — а чудной! Рази народу помирать из-за него...

Агент ничего не сказал, стал укладываться и свернулся калачиком. Он стал трогательным, как все засыпающие люди. Долго молчали. Стучали часы, пел сверчок, в избе кто-то жалобно застонал и заворочался: это у бабы, кормившей ребенка, нестерпимо болели зубы. Она привстала, облокотилась на руку и так и застыла... Заплакал ребенок, баба сунула ему грудь, он сосал, баба держала на зубу табак, одолженный агентом. Ночь была беспощадной.

— Захаров, — спросил опять кучер, не переворачиваясь, совсем задумчиво: — а правда, говорит очкастый, что лебеди жуут за триста лет?

Агент спал, кучеру не давали покоя мысли.

— Триста лет, — говорил он Захарову, — да как же это? Мы все погнем, а они будут летать и клыкать... Чудно. А я полагаю, Захаров, — продолжал кучер, — человек должен больше птицы жить... У нас в кино рассказывали. А что толку — ездийшь, ездийшь... Захаров, ты что, спишь?

Ему никто не ответил. Пел сверчок,

спали лебеди за камышами, спала изба, спал Сергей Иванович. В соседнем бараке на голых досках вечно спала покойница. Не спали одни поезда, пожиравшие пространства, да столбы, гудевшие ночным ветром, под горевшими полуживыми звездами.

И до самого серого рассвета одиноко и безмолвно сидела на полу баба, у которой нестерпимо болели зубы. Ребенок сосал ее почти не переставая. И ей казалось, что нет предела ночи, всей жизни и темной, страшной дороге, по которой она шла без начала и конца...

IV

Откуда-то из-под земли пели хриплые петухи.

Когда погас северный ветер и звезды перестали отражаться в очках орнитолога, позабывшего их снять на ночь, пришла заря. Она поднялась в морозе и разбудила камыш. Камыш побежал, затрубил — и ему отозвались гуси. Крики их полетели к солнцу и были резки и неожиданны, как блестящая, горящая латунь. — Ка-га-гак! Ка-га-гак! — низко нестерпно над озером и смолкло. И всё проснулось, потому что приходил день.

Орнитолог ушел в камыши с ружьем и фотоаппаратом. Его провожал человек в шапке, торчащей, как рысьи уши, с лукавыми табачными глазами. Озеро закрыло их мириадами своих желтых султанов, пригнбавшихся, как полчища степных всадников, идущих тучей завоевывать земли. Всадники пригнбались к северу, они летели уже с юга. И коровы в низких стойлах хрустели остатками ночи мирно и вечно, чувствуя теплый день с юга. Всё это было весной, которую ждали все, кроме покойницы; она была бессонна, ожидая мочалы и глубокой могилы, чтобы забыть всех.

Завхоз национального колхоза «Пролетар» был молодым и сохранил от Красной армии точность, смышленность и веру в самого себя. У него была записная книжка, в которой хранились планы и расчеты. Сегодня были наряды: рыть могилу, везти молоко, рубить березовый кустарник. Нужно было готовить сети и лодки. В коллективе хлеба осталось на три дня. Семена лежали, как священный алтарь, тремястами пудами

будущего. Председатель уехал в город, за сотню верст добиваться помощи.

— Нужно терпеть, — говорил он, — держаться до последнего... Мысли завхоза работали неустанно: на него смотрели тысячи лет прошлого, редкие огни глухой российской губернии, весь народ, пять человек детей; старики, знающие всё и не помнящие ничего. Из России ехало еще шестнадцать семейств. Коллектив был должен государству пять тысяч рублей—три тысячи из них украл лихой человек и офицер Ирзин.

В городе шел суд, и народ одобрительно кивал головой. Пять тысяч! — это были деньги, из которых никто не получил для себя и на восьмушку табаку. Здесь были машины, лошади, — и ни одна баба не дождалась платка. Весь народ ожидал будущего. Он выходил из времен, от которых не осталось ни одного дня. Завхоз был неустанен, читал газеты, записывал в книжку. Бабы смотрели на него с молчанием, старики говорили с ним, размахивая руками. Он не знал экономики, но точно знал и днем, и ночью свои обязанности и то, что на него смотрит племя, которому он принадлежал всем существом. Племя шло волоком в неведомую страну, минуя пять шестых мира и пять шестых его законов, как солдаты, не говорящие ничего во время сражения. В неведомой стране лежала хорошая жизнь. Право итти туда было правом выходить к морю, — и даже старики хвалили это право и кивали, ожидая трубок, набитых табаком, и теплый хлеб, о котором поют неспящие сверчки.

Завхоз знал только людей и их работу. Поэтому он думал только о ней, и его дети, и жена тоже смотрели на него с молчанием.

Когда Сергей Иванович умудрился встать и нащупать свои мысли и ощущения, он понял, что он в дороге, где всегда его существо было вне работы, без мыслей, в одних ощущениях. Дорога была пустыми местами, ночевками и перегонами. Жизнь оставалась в кабинете, в учреждениях, в системе. Людей он только ощущал, — подходят ли они к нему или нет. Генеральный план был для него Элладой. Сейчас было только ожидание тряски, отвращение и усталость. Он увидел день, тусклые окна,

девок у пылающего огня и вчерашнего старика, так же стоящего в углу с опущенными руками. Одноглазый человек сидел у печки на корточках и ел круглые оладьи, передаваемые по рукам прямо с жара. Баба в черном, с большими зубами, снимала их с противня, ворочала сковородником. Тут же месили хлеб; дети сидели попрежнему на кровати, свесив ноги. Изба была полна дыма. Кучер возился у лошадей: с него давно сошли ночные мысли, затылок его был красен от утренника, и он одергивал лошадей, смачно ругаясь, тпрукая, повторяя свое любимое: — У... за-стыли... Н-ну! Дьяволы! — Он выспался отлично и вымылся снегом.

У барачков и машин стоял уже чистый, ласковый день. Завхоз отдал приказания: рыть могилу, итти в лес, — и люди выходили на волю с лопатами и топорами... Молоко, розовое от зари, остывало в бидонах. Оно было чисто, как глаза ребенка. Агент Захаров сидел за столом и доказывал завхозу о преимуществах крупных объединений и нелепости заводить трактор на десяток семейств. Лицо его было серым, прокуренным, усы шевелились, и Сергей Иванович, натягивавший противно скользкие, сальные сапоги и как никогда ощущавший себя потерянным и одиноким, чувствовал в его голосе непонятную осязку, домовитость, ту самую, которую замечал у ямщика, когда он в бурю ли, в ночь ли, при любых обстоятельствах, медленно, не торопясь, спрыгивал со своего места и как-будто для особого удовольствия затягивал возню у лошадей. Какая ужасная, тупая, беспощадная жизнь! Да, все это надо было переделывать, все не годилось ни к чорту, — но как переделывать, кому?

Сергей Иванович чувствовал раздражение против агента. Зачем соваться в каждое дело: товарная значимость колхоза ничтожна; в его работе это была тысячная единицы, а его занимали пятизначные, семизначные ряды знаков; то, что говорил агент, казалось ему давно знакомым и скучным. Пить чай не хотелось и не было голода: всё поглощали вонь и смрад, при утреннем свете ставшие еще более нестерпимыми.

Запахи имеют звуки и краски, стоит лишь их перечувствовать и заставить

себя быть невесомым, как в детстве. В избе запахи не бегали, не гонялись друг за другом: они стояли и звонили. Они гудели и жужжали, как надтреснутый колокол, они были бурными, зелеными, лучились и липли, как кенареечный желток; бум, бум, бум — сливалось их назойливое завыванье, то пропадая, то вновь возникая жаркой жужелицей... Запахи нависали в ощущении, как большая, ядовитая муха, в которой висела скука, усталость, забытие и зной... Бум, бум — было в голову бурое зловоние, а зеленая, кислая вонь подвывала замшело, усталым голосом... Изба прела, парила, кружилась. Агент Захаров походил в этом аду на клоч угольного дыма, в нем было что-то от старомодного товарного паровоза, агент толкал своим голосом бесконечные мысли, как пустые, похожие друг на друга вагоны клопиного цвета; вагоны, пружинясь, шли, сталкивались, а завхоз кивал головой и слушал... Бабы, тряпки, дети и кучи соломы — всё пропадало в этом звоне, дыме и жужжании. Вонь была как нестерпимый воспаленный свет, ослепляющий больного. Сергей Иванович, задыхаясь, выбежал в мир, больно стукнулся головой о какую-то балку, вышел на снег.

— Боже! — хотелось стонать ему, — как беспросветно, ужасно! Какая стра-а, какие люди: без мыслей, чувств... Какой смрадный ужас, плодливость и равнодушие!

Он поднял голову,пил воздух и солнце, спотыкаясь, брел по снегу подальше от барака. Но в небе, стоявшем, как океан, не было сочувствия. Пространства мерзали грозно и бездонно, равнодушные к утопающему. Под ними шла степь, путая, как небо, камыши лежали, как рыжие длинные облака, и обе стихии — и наверху, и внизу — были суровы, мрачны и жестоки пустой, бездетной старостью, не вскормившей еще здесь своих единственных, счастливых детей — человека.

Над камышами летели серые гуси: их крики уносило к тундрам. Они летели неведомо почему к болотам севера класть яйца, линять, чтобы возвратиться в Индию. Сергею Ивановичу не было до них никакого дела. Он утопал в пространстве. А кучер, стоявший у лошадей, смотрел вдаль и медленно жевал кусок

холодного, подмерзшего за ночь хлеба. Два парня открыто сидели на снегу, погруженные в собственные дела; они походили на кондоров.

Ах, это было утро, к которому земля готовилась миллионы лет! Но кто мог думать и радостно запечатлевать это прекрасное утро! Из камышей на крыши бараков бежал самый веселый человек в шапке с рысьими ушами, проважавший орнитолога. Бежал он, как заяц, смешно и лукаво дрыгая ногами, словно неожиданно припомнив, что у него осталось дома неотложное дело. Увидав Сергея Ивановича, он замахал руками, закричал весело и побежал к нему... Кучер глядел на него презрительно и думал, что чуваши — последний народ. Но и он медленно и нехотя пошел к экономисту. Втроем они курили табак, веселый улыбался, поправлял ежеминутно шапку, оглядываясь по сторонам. Ему до смерти хотелось рассказать веселую историю и соврать, так как он считался первым балагуром, картежником и беспутным; люди, стоявшие перед ним, молчали, веселому было это невыносимо. Кроме всего прочего, ему надо было на работу, а итти не хотелось: весенний день таял, камыш выгорал, с земли несло легким угаром, и степь казалась пустым домом, в котором выставили все окошки. В такие дни в Москве на дворах вывешивают шубы, они кажутся серыми от солнца, нафталин пахнет темным детством, а возле шуб сидят и караулят седые дамы.

Время шло, ехать решили после полудня: так условились с орнитологом. Веселый убежал, размахивая руками, на работу, завхоз с агентом возились около каких-то досок... Им помогал одноглазый, вскидывая доски к глазу, примеривая их и похлопывая руками. Верстак стоял здесь же под небом. Агент скинул полшубок, плюнул на руки и начал строгать, и, захлебываясь, завиваясь, словно схваченные пламенем, стружки кудрявились и бумажными кольцами свисали с его рук. Стружки завивало, они выворачивались кверху, — и дерево становилось белым, как кость, праздничным, молодым...

Агент сбросил шапку, морщинистый лоб его краснел: он работал ловко, молodeя с каждым взмахом, так же, как

дерево, строгал, ворочал доски и, приставляя их тоже к глазу, бросал в сторону. Пила жалила дерево, как оса, и сухие доски давали опилки, сырые, пахнущие речным ветром: доски гладило солнце, они лежали звонко, опрятно, весело. Одноглазый смотрел, одобрительно причмокивал и быстро приговаривал: — Хорошие доски! Жалко доски... Ты, мастер! Правильный мастер! Хорошо...

Агента и здесь стали называть на «ты». Он взмок, скинул пиджак и в одной налипшей рубашке, жадной к телу, продолжал пилить. Гроб выходил на славу, длинный и узкий, с гранеными тупыми боками, принятыми всеми народами и культурами; в нем славно должно было пахнуть солнцем, свежим, чистым домом, сквозняком.

А покойница лежала в землянке, обмытая золой, в новом ситцевом сарафане, повязанная коленкоровым, скользким платком, с черными горошинами. Она ждала. Голые ноги ее были связаны тряпкой и казались прозрачными. Она была плоска, узловата и измучена, как корни огромного столетнего дерева, выползшие вдруг наружу. Зубастая голова ее хитро светила высохшими, незакрывшимися зелеными глазами. В землянке была тишина горя, которого некому выплакать. Разымчиво пахло ушагом, сладковатым запахом мертвого, и от железной печки, сушившей воздух, еще сильнее и печальнее доносило сырость лавок, вымытых по случаю похорон, и хлебной опары, замешанной здесь же у печки. И люди, сидевшие здесь, смотрели ей в лицо, не отрываясь, словно от мертвой исходила завороченная сила.

Что побудило Сергея Ивановича притти и взглянуть? Чувство ли любопытства? Или та непонятная сила, которая заставляет людей жадно, толкая друг друга, бежать к раздавленному трамваем и неотрывно глядеть на кровь, кости, и на то чужое, ужасное, что лежит на земле с серым, пустым лицом, грозным, как хаос? Неизвестно. Но он пришел, снял шапку и остановился.

Мертвая держала время, и оно не двигалось. Старуха с красными, запущенными глазами смотрела на нее бесцветно; ничего нельзя было прочесть на ее

лице: народ, не имевший истории, не читает своего горя. Концы платка над головой старухи поднимались, как черные хвосты: они походили на перепончатые летучие крылья. Возле нее баба помоложе равнодушно кормила ребенка. Старуха смотрела на мертвую, как будто она смотрела на нее всю жизнь. Ящик кашлянул. И Сергею Ивановичу, и ему стало неловко. Минуты остановились, жизнь проходила где-то далеко, далеко от этих печальных мест...

— Ну, что?.. — спросил вдруг у старухи неведомый в Сергее Ивановиче трусливый, любопытный человек, — жалко дочку? Хорошая была?

И Сергей Иванович сам ужаснулся пошлости и никчемности этого вопроса.

— Не дочь она ей... сноха, — поправила его баба, кормившая ребенка.

Старуха смотрела прямо, не отвечала. Но вдруг круглые мутные слезы потекли у нее по щекам, глаза ее стали совсем линиями, и она заплакала, словно первый раз в жизни.

— Холосая... ой, холосая была, — заговорила она быстро, не отирая слез, вся заливаясь рыданиями и болью. — Холосая... такая холосая... никогда меня не ругала... ой... ой... ой-ей-ей-ей...

Она рыдала не переставая, жалобно воя, и крик ее походил на тот, что вырывается из операционной, где человеку беспощадно, блестящими инструментами, не обращая внимания ни на что и даже не утешая, быстро и жестоко режут тело, — и он слышит и чувствует, что навсегда кончена его веселая, прежняя жизнь, и, падая в темноту, ощущает, как отделилась, исчезла его раздробленная только сегодня, но еще жившая нога и теперь страшно шлепнулась в ведро...

— Холосая... ой холосая... ой... ой... ой, — крики старухи резали сердце, холодили спину и проникали страхом. Они стали стихать, — она снова смотрела на мертвую, как прежде, мучительно не отрываясь.

Сергею Ивановичу стало нехорошо и стыдно. Но другой человек, равнодушный, никогда не видящий людей, помимо его воли, смотрел на чужие страдания, резонерствовал и любопытничал.

— А мучалась она сильно? — спросил этот человек дрянненьким голосом,

дрябло, не веря заранее, что в этой мертвой ощеренной бабе могла пройти страстная жизнь, могли быть думы, надежды, нежность и даже физическая боль.

— Мучилась, — спокойно сказала молодая. — Сильно мучилась. У ней муж веселый, любит водку, всю жизнь в карты играл... Она его всё звала. Всё упрашивала, плакала: — Ты женись, говорит, ты еще молодой... Ты женись. — Она замолчала и добавила задумчиво: — Мучилась так сильно.

— Она от перебоя табаку померла! — вмешался равнодушно ямщик, — тут все бабы курят: у них у всех груди порченые...

— Табаку... табаку, — закивала старуха сквозь слезы: — просил она табаку...

Становилось невыносимо. Сгинул экономист, сгинул обычный, примелькавшийся Сергей Иванович, — на их месте появился давно простой, беспомощный человек. Ему стало больно за себя, жутко, стыдно, как в детстве, и он, краснея, путаясь ногами в соломе, вышел в сени, ничего не понимая, неся в душе тяжелый позор своего эгоизма, трусости и одиночества. Этот человек вышел к воздуху и к жизни, увидел мир и почувствовал, что он слаб и тщедушен. Он был один и тонул в стихии, которой была жизнь, — он почти заплакал, но о чем? О ком? Неизвестно.

Навстречу ему попался веселый хлопец в рысей шапке, с табачными глазами, уже старый знакомый; хлопец сконфуженно улыбнулся, на ходу снял шапку и показал ему горсть заржавленных, кривых гвоздей. Один гвоздь так и застрял у него в волосах. Он засмеялся, беззаботно хлопнул шапку на голову и исчез в сенах.

Сергей Иванович пошел к телеге, нашарил тулуп, завернулся и задремал. Мирно припекало солнце, пахло сеном, и ветер щекотал его лицо смеющейся былинкой. Небо мерцало океаном. В телеге он проспал до самого полудня.

И он не видел, как поздним утром, когда кругом уже распустило снег и по льду пошли выпуклые, похожие на стекла обьективов лужи воды, древнее племя, вышедшее с далеких финских озер, провозало свою покойницу. Племя ра-

стеряло свои могилы необозримо — по лесам, по озерам, по степям, и везде они исчезли, как истоки дремучих речек, не имевших начал. Народ продолжал род, гнилые избы попрежнему курились дымом, и не было песни такой печальной и заунывной, чтобы заплакала о своих сынах зеленая земля...

Гроб обнесли мимо всем коллективом. Его обнесли мимо низких землянок и сугробов, мимо машин, переброшенных генеральной линией, мимо собаки, спавшей попрежнему на крыше. Новая и последняя отчизна смотрела на людей со снегов и навоза на гроб, ярко желтый на солнце, и молчала, как всегда. Крышку несли ребята. Процессия была бестолковой, шла гурьбой, и казалось, к смерти племя шло волоком, так же, как оно шло в жизнь. Самый древний старик, тот самый, походивший на Некрасова, не шел за племенем, а провожал его глазами... Он стоял у барака, обращенный лицом на восток, неподвижный, опустив длинные руки, под солнцем, сиявшим из голубого океана и тонувшим в нем великолепным сиянием; ветер шевелил его волосы, он смотрел неморгающими глазами на перелесок, куда уходило племя; туда уплывала жизнь, люди, гроб — и в нем зеленоглазая чувашская девочка, которую он помнил за тридцать лет тому назад. Это было давно, в старой жизни, где-то в Симбирской России. Старик стоял вестью всех могил и истоков народа.

День сверкал и лучился. У черной, зиявшей полночью ямы гроб поставили на землю, и все племя сняло шапки. Веселый муж стоял виновато и мял в руках свой рыжий треух; за поясом его был топор, а в шапке гвозди; его мысли, как всегда, уносило в страны рассказов, в жадную даль... Агент Захаров вместе с завхозом забрался на пригорок земли, выброшенной из могилы и черневшей сырими, жирными комьями, и завхоз поднял руку...

Он заговорил глухо, отрывисто, так, как говорил со стариками о том, что никогда не станет известным читателям, знающим наше русское слово. Неизвестные слова поднимались и падали, как страницы и письма затерянных становищ, в них складывались шумы лесов, скрипы повозок и стуки топоров, рубив-

ших еловые срубы; в них смутно и косматно играли зори и дымы, плакали дети и набегали хлеба, пожары, болезни; черные оспы горели под серыми крышами, необозримо шли избы, гудели мухи, и за окнами пылился зной; в них заунывно, длинными ночами скрипели люльки, и пели женщины, колыбельные песни мешались с шорохом тлевших гробов, сырые незабудки росли на ядовитых лесных чарусах, комары и болота зудели под заревами... А племена шли, шли и шли. Они пахали сохой, доили коров и исчезали. И слова складывались в огромную жизнь — бабы и старухи выли длинно и протяжно, как саван в гробовой колоде над нищим телом.

Слова складывались, как деревни складываются из изб. Завхоз говорил длинно и глухо: деревни тянулись без конца, жизнь не имела пределов, слова не могли передать всей ее длинной истории. Он оборвался, оглядел всех недоуменно, жалобно крикнул... И бабы завывали снова длинным воем, без конца и начала.

Тогда выступил агент Захаров. Он стоял, сложивши руки у шапки, смотря в народ темными усами и лицом, ставшим под солнцем багровым и синеватым. Щеки его были в добродушной золотящейся щетине.

— Товарищи, члены национального колхоза «Просвет», — начал он медленно, и весь народ поднял головы и перестал плакать. — Товарищи! Мы провожаем и покоим гражданку Марию Денисовну Ефимову, прибывшую с вами сюда строить новую жизнь...

Агент замолчал, передохнул.

— Она,— продолжал он громко, сжимая кулаки и отчеканивая каждое слово, — была верным товарищем своему замореному народу и понимала, что пора перестать плакать нам, как плакали мы черные сотни лет. Она прожила свою жизнь, трудясь с утра до вечера, вырастив малых сырых детей, и за кусок хлеба отдала свою жизнь. За этот кусок хлеба она заплатила ямой-могилой царям, помещикам, генералам. Она не пожаловалась никому. Но пусть каждый из вас помнит, что за этот черствый кусок положена ее жизнь. Пусть каждый из вас знает, что теперь вам никому платить своим потом и кровью... и

каждый из вас помнит сознательно только себя и коллектив. Вы бедняки, у вас нет пауков-эксплоататоров. Вы дружный народ и живете смиренно, по-рабочему — одним котлом. Пусть, товарищи, машины и советская власть поведут нас к жизни, где вы не будете расти, как кусты, а будете жить и не гнивать, как безывестная трава... Пусть поведет она нас туда, где каждый будет кончать свою жизнь под музыку...

— Над этим гробом, — выкрикивал агент, бросая кулаки, — проклянем всем народом мрак, нищету и невежество. Проклянем то, что мы жили, как под снегом, смеялись друг над другом, молились доскам и порознь плакали, помирая. Никто не поможет нам чистыми руками. Мы сами своими мозолями, такие же серые, как эта гражданка, мы сами, неизвестные, плохие, будем бороться... Бросьте плакать, товарищи! Как мать унимает свое дите, нас унимает Республика. Оставим память, чтобы сильнее трудиться. Проклянем могилы, куда нас силой толкали. Скажем мы все над замореным бедным человеком: Республика всё слышит и всё видит...

Он сделал паузу, погрозил в пространство, и глаза его стали совсем простыми; он поднял указательный палец:

— Она как мать знает о каждом своем дите на чужбине. Но она не плачет, потому что много ей кормить и обувать; много ей надо соблюдать и принимать к сердцу, товарищи... Вечная память! Склоним знамя борьбы над трудовыми руками... Отдыхайте же мирно, покойтесь, гражданка Денисова...

Он кончил, обер лицо грязным, измятым платком. В народе молчали. Словно поезд готов был отходить в далекие, чужие страны, — такая чистая, глубокая стояла тишина. Завхоз положил на грудь покойницы красный флажок. Бабы сгрудились у гроба и кулаками утирали слезы. И только седая старуха жалобно выла, приговаривая: — Ой... ой... о-ей-ей... — Веселый муж вынул из-за пояса топор и приготовил гвозди. Крышку приглаживал одноглазый черненький, хозяйственно припирая ее коленкой, гвозди входили в дерево бойко, и малый в рысьем треухе заколачивал их, как ему всегда и полагалось, жизнерадостно...

Когда закопали могилу и утоптали могильный холм, солнце поднялось высоко, в океане света и воздуха стоял штиль. Легкое облачко звало степь парусом или заморской чайкой. Издалека над камышом летели птицы крестами, стрелками и треугольниками, высоко, высоко, чтобы высиживать новых птенцов в северных тундрах.

V

Весною хорошо и весело расставаться. Это сказал писатель, любивший всю жизнь, как юноша, и умерший далеко на чужбине. Он жил в городе, увитом плющом, где занимал верхние мезонины чужого дома, плакал от любви и написал, что старость самое большое преступление, которое никогда не прощается. Писателя до сих пор помнит и любит всё юношеское в огромной России, сумевшей простить одинокому страннику его грузные, холодные седины. Говорят, в том городе, где он жил, самая лучшая и веселая весна. Бульвары и мансарды празднуют ее каштанами и воздухом, таким легким и изящным, что он кажется выпил и проглядел все лучшие женские глаза в мире. «Весною хорошо расставаться, любезный читатель!» И еще лучше расставаться в дороге, где люди стремились, как птицы, помогали друг другу и беззаботно забыли и покинули свои встречи навсегда. Они разошлись, забыли и даже не верят, что всё это было: был какой-то сон, совсем ненастоящий, и никто не вспоминает, как выглядел вагонный проводник, как называлась ночная станция и как кучер, пересчитав деньги, на прощание махал шапкой, а на путях в сквозных ветках березового перелеска горел зеленый перстень семафора...

Поезда уносят всё.

Через несколько дней экономист Сергей Иванович Троицкий, дома, как всегда, укладывался спать и долго чистил зубы. Он помолодел, загорел и забыл уже все — и дорогу, и степь, и далеких случайных спутников. Он укладывался спать, как всегда, после долгой работы, и от сознания своей усталости, налаженности жизни ему было тепло и казалось, что он хороший и порядочный человек. И ничего в нем не осталось от ночи, проведенной в избе на берегу озера, носив-

шего дикое, зараставшее камышом имя Тандов. Да и существовали ли это озеро, избы и какие-то странные, зловонные люди? Их вовсе не было на свете, — Сергей Иванович засыпал. Карточка некрасивой женщины на его столе тоже спала, а надпись на ней говорила, что не существовала в жизни и «чистая дружба».

Городок за окнами был тих, даяли собаки. Через станцию, нависая трехглазыми оранжевыми огнями, тяжело проходил скорый — он грохотал стрелками, шипел тормозами и менял паровоз, который подводили к нему как раскаленную племенную лошадь, осторожно, на вожжах, — и снова уходил, вращая колеса, kloкоча паром и маслом и неистово крутя сталью по насыпи, поднимавшейся за ним, как безумный поток приводного ремня. Поезд дымил на Москву и уносил тысячи судеб и вестей.

С ним вместе уходил на Москву солидный, обемистый пакет, адресованный Главнауке. В пакете точным языком квалифицированного орнитолога Николая Александровича, имя которого было известно научным журналам всех языков, сообщалось о «возмутительном нарушении исследовательских планов вверенного ему учреждения мирового значения»; обращалось внимание на необходимость немедленного устранения «пришлых элементов с варварским отношением к памятникам природы»; писалось о «срочных мерах», «невозможности работать», о переселении национального чувашского коллектива «Промсвет».

Поезд шел бессонно, оглушая переезды, перегоня столбы: он опаздывал на десять минут. Отсветы его топков были безумны. Степи, лежавшие кругом, кружили, заворачивали, и перелески плыли, точно были посажены на карусель.

А в большом сибирском городе, прозванном русским Чикаго, где новые дома из бетона и стекол стояли прямо на пустырях и захолустьях, в эту ночь происходило заседание Конвента Края. Было уже за полночь, матовые электрические лампы теряли свою зоркость.

Секретарь Конвента, бритый наголо человек, в рубашке «апаш» и сером пиджаке, кончил доклад и закурил трубку. Над столом, покрытым красным

сукном, громоздились головы, бумаги, графины. Люди, сидевшие над столом, были молчаливы и похожи друг на друга. Заседание продолжалось, колокольчик секретаря коротко звякнул.

— Слово имеет, — сказал он, отрывисто поднимаясь и горбясь, — член краевого комитета партии Василий Герасимович Захаров...

И, улыбнувшись рыжеусому вставшему рядом с ним человеку, добавил:

— Вася, уложись в двадцать минут... а то с курорта приехал—заговоришься.

В зале засмеялись и затихли.

Конвент слушал. Агент Всесоюзной коммунистической партии большевиков Захаров, вернувшийся из отпуска, использованного для объезда юго-западного сектора крестьянских хозяйств, говорил пятьдесят минут. В середине речи, не прерванной никем, он скинул пиджак и остался в голубой ситцевой рубашке, под воротом которой его худая шея казалась детской. Он сжимал кулаки, отирал лоб платком, усы его шевелились. Генеральная линия творила жизнь, полную трагических противоречий, удач и неудач, героизма и юмора, но она шла неуклонно, побеждая пространства, уничтожая препятствия, объединяя единицы в сотни, складывая сотни в миллионы...

Стенографистки были измучены, менялись через каждые пять минут. Когда Захаров кончил, лампы стали будничными, графины на столе желтыми и равнодушными. Захаров говорил о том, что партия, используя технику и науки, знания и культуры, должна все больше и больше опираться на низшие, отсталые, загнанные жизнью массы деревни. Он говорил о том, что легче перешагнуть в будущее не имеющим ничего, чем другим, бешено цепляющимся за жалкое, ничтожное благополучие прошлого. Генеральная линия, — говорил он, — победит, несмотря ни на что.

Проклятые вечным «ничем» будут благословлены «всем», что они завоеуют...

Конвент двигал стульями и расходился. Город стоял на заре, и люди возвращались по домам со своими портфелями уже тогда, когда кругом на всех степях, лесах и озерах, на тысячи верст кругом, поднималась жизнь. Океан ее стоял наверху, огромная плоскость, похожая на небо, дымилась внизу. Пространства шли на юг, на восток, на север. И над всем миром, крича на красную зорю, пересекая земли, где спали в могилах безвестные народы, озера, где мириадами нарождался и погибал камыш, серыми стрелками, длинными снеговыми крестами летели гуси и лебеди.

Они шли от Каспия по великому северному птичьему пути. Впереди всех из туманных озерных степей дикими белыми парами выходили лебеди. Они шли неуклонно, с верностью полета земли, никогда не сворачивая с пути, не облетая гибели.

Их видели везде на чистой заре, в хрустале которой они шли низко, прямо опуская пушистые крылья, повторяя заунывное «глюк»... «глюк»... «глюк», что означает счастье. Снежная, огромная, миловидная печаль была в этих криках. Люди знали, что они, летевшие над их грязными и позорными бараками, над их могилами и трудом, живут по триста лет, — и люди поднимали головы и провожали их глазами в нищие тундры.

И никто не подумал о том, что эта мощная красота, сила и печаль, лучше и светлее которой не видел человек, выводит свою верность, жизнь и снежное племя там, где всего скуднее и беспросветнее мир; и что похоже это чистое племя, летящее в даль, на старые, заветные мечты, на ту зовущую думу народов у всех колыбелей и песен, что родилась у самых неизвестных и обездоленных и должна долететь до своих краев, несмотря ни на что.

Смерть поэта

Отрывок

БОРИС ПАСТЕРНАК

Не верили, считали, — бредни,
Но узнавали: от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в строку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех. И как намедни
Был день. Как час назад. Как миг
Назад. Соседний двор, соседний
Забор, деревья, шум грачих.

Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.
Как, сплющив, выплеснул из стока б
Лещей и щуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку.
Как вздох пластов нехолостых.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих, —
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.
Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал — со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.

.
.



Вступление к Днепрострою

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Где степь легла развернутой ладонью,
Чуть приподняв курганы и бока,
Левей Карпат, почти сестра Задонью,
В крутых буграх за лиловой сонью
Метет ковыль былинная река.

Порой туга, как лук у печенега,
Порой прямой древлянского копья,
Она скрипит, как скифская телега,
И фыркает, и бьет клоками снега,
И ослепляет сталью лезвия.

Но клочок вод—не жалобы стрибожья,
Разбег волны—не злой казачий конь,
Рвут трактора ковыль и бездорожье,
В литой бетон крутое Запорожье
Берет сполна вскипающий огонь.

И старый Днепр, натуживая плечи,
Кольцо плотин стараясь разорвать,
Несвязные уже бормочит речи,

Одышкой полнит доменные печи,
Бурлит в шлюзах и поднимает кладь.

Что день растет, глухую пену роя,
Бетонный сплав усилий и побед...
Да, я читал поэму Днепрострою,
Вдыхая ритм, я в ней искал героя,
Но не нашел—героя в ритме нет!

Его ведут, крепчая год от года,
Стальной бурав, лопата и кирка,
Графит главинжа, график счетовода,
Бикфордов шнур, разбитая порода
И вздернутая под уздцы река.

Вот так и ты: прими бетонной грудью,
Перегради, впитай всю ярость вод
И разнеси по скифскому безлюдью
Густую кровь того, что явью будет,
Что на оси всю землю повернет!



Концы и начала

Заметки о реконструктивном периоде советской литературы

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

...куда я ни смотрю, я везде вижу седые волосы, морщины, сгорбившиеся спины, завещания, итоги, выносы, концы и все ищу, ищу начал, — они только в теориях и отвлечениях.

А. И. Герцен

...Коммунистическая революция есть самый радикальный разрыв с существующими имущественными отношениями; неудивительно, что она самым радикальным образом разрывает с традиционными идеями.

Коммунистический манифест

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».

Сегодня пересматривается миров основа.

Сегодня

до последней пуговицы в одежде

Жизнь переделаем снова.

В. Маяковский

Строки, следующие внизу, есть попытка кратко и приблизительно наметить сдвиги, происходящие в современной советской литературе.

То, что Герцену казалось делом далекого будущего, ныне, на глазах наших, при нашем непосредственном участии становится действительностью. Пришло время реализации «отвлечений» и «теорий».

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверься,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

Во всех областях жизни, в теории и практике умирают «концы» и возникают «начала». Мир перестраивается заново — сверху до самого низа. Могло ли искусство остаться в стороне? Праздный вопрос! Искусство являет собой картину внутренней борьбы, столкновений «концов» и «начал», смерти одних, появления и роста других.

2

Октябрь семнадцатого года открыл новую главу нашей истории. Та же дата провела границу между вчерашним

днем и литературным движением революционной эпохи. Оно столь же похоже на старую литературу, как советское общество на вчерашний день.

После некоторого безмолвия литература возрождалась в необычайных условиях. Решительно изменилось лицо ее. Недавние властители дум ушли. Новая эпоха принесла с собой новое отношение к миру, и новые имена.

На наших глазах происходят небывалая ломка и небывалое строительство. В корне меняются производственные отношения. Рушатся быт, понятия, вкусы. От буржуазного порядка в буквальном смысле не остается камня на камне. Разламываются вековые устои жизни. Умирает религия. Рассыпается старая семья. Терпит крах старая философия. Утрачивают власть старые эстетические догмы. Опрокидываются вчера еще неколебимые научные идеи и методы. Все претерпевает решительные перемены. Земля встала дыбом — все переверотилось, сдвинулось со своих мест. Ценности, недавно обладавшие гипнотической силой, теряют всякий кредит. Вековая культура, феодальная и буржуазная, построенная на частной собственности, на рабстве

масс, индивидуалистическая, эстетская, гурманская, утонченная, барская культура падает на наших глазах. Гаснут фетиши буржуазного мира, отступают перед победоносным марксизмом-ленинизмом, меняющим лицо науки и лицо самого мира.

Мы хороним буржуазный порядок. Мы выкорчевываем корни капитализма в нашей стране, строим новые общественные отношения, новые культурные формы, новое искусство. Наш быт обновляется всесторонне. Еще не исчезло старое. Но оно отмирает, разваливается, либо в силу внутренних причин, либо под разрушительным воздействием пролетариата, который для своего торжества расчищает место от ветхого старья. Борьба старого и нового, отживших форм и форм нарождающихся, «концов» и «начал» пронизывает всю нашу общественность, все стороны нашего быта, идеологического и материального. Это не значит, что мы хороним старую культуру «вообще», что вместе со старым порядком мы отбрасываем, как ненужность, ценности уходящей культуры. Нет утверждения более ошибочного. Мы не пассивные созерцатели столкновений «концов» и «начал», не безвольная игрушка в руках стихии. Мы знаем, чего хотим. Мы производим отбор. Не осуждаем всего «прошлого» только потому, что оно прошлое. Отрицая его, когда оно связывает нам руки, мы тем не менее растем из прошлого. Отталкиваясь от него — многим ему обязаны. Могила прошлого, — заметил однажды Плеханов, — вместе с тем колыбель будущего.

Ни один класс так не жаден к знанию, как пролетариат. Ни один класс не охраняет с такой бережностью действительные ценности, как он. Пролетариат ведет борьбу, учась у своих предшественников, перенимая опыт врагов, сохраняя каждую крупницу полезного знания. Этому научили его кровавые уроки борьбы и строительства. И в искусстве он не отвергает нигилистически цветов классического прошлого. Он умеет извлечь из них и наслаждение, и науку. Но когда история ставит перед ним задачу создания своего искусства, он, взяв у прошлого то, что нужно, уйдет вперед с о и м и путями.

Наша литература живет и дышит воздухом грандиозных сдвигов. Она находится сама в состоянии перестройки. Она отражает то новое, что приносит с собой эпоха ломки и строительства.

3

Старая русская литература была созданием русской интеллигенции — дворянской, буржуазной, разночинской. Она была творчеством квалифицированного меньшинства, делом немногих для немногих. Меньше всего и слабее всего принимали непосредственное участие в культурной жизни рабочий класс и крестьянство. Отдельные имена, счастливые исключения, в счет, разумеется, не идут. Можно утверждать, что ни пролетариат, ни трудовое крестьянство как классы не выступали субъектами художественного творчества. Они были предметом изображения, материалом образных оформлений.

О, разумеется, если поискать, то среди забытых, замолчанных, затравленных или не сумевших обратить на себя внимания мы найдем еще много выходцев из крестьянства и рабочего класса, пытавшихся сказать и свое слово. Но ведь эти имена — редки. И вещи их, написанные нередко кровью и слезами, были тем не менее слабы художественно, то-есть лишены той специфики, которая позволяет произведениям искусства переживать своих авторов. Удивительно здесь нет ничего. Как могли самоучки, лишенные культурных навыков, творившие ощупью, в холоде и голоде, как могли они конкурировать с мастерами дворянского, помещичьего, буржуазного искусства, богатого навыками, традициями, опытом, выращавшего в условиях материального и культурного благополучия. Только в начале двадцатого века, перед самой империалистской войной, появились более многочисленные представители зарождавшейся литературы пролетариата и крестьянства. Но и это были первые вестники будущего литературного движения, которое в русских исторических условиях могло развернуться лишь после победоносной пролетарской революции, только после разгрома эксплуататорских классов и той экономической

базы, на которой выростала барская культура.

Что же случилось с победой Октября? Ответ краток: рабочий пришел.

Революция произвела колоссальный сдвиг, изменивший картину и механизм нашего литературного развития. Прежде всего: сначала пролетариат, а за ним крестьянство из объектов художественного творчества превращаются в субъекты его. С разгромом старого государства и общества теряет свое организующее, законодательствующее положение интеллигенция дворянства и буржуазии. Исчезла почва для господства дворянского и буржуазного стиля. Новый класс самым фактом своей политической и экономической гегемонии создавал предпосылки для гегемонии в области искусства и культуры. Это было так же неизбежно, как падение тела в пространстве.

Такие перевороты не происходят без борьбы. Психология, эстетика, философия переживают иногда социальные сдвиги и продолжают некоторое время существовать после них. Не только защищают свое место под солнцем, но нападают. С другой стороны, новый класс, приходя к власти, пред лицом своих исторических задач не может терпеть противника, который сопротивляется.

Горький написал недавно: если враг не сдастся, его истребляют. Это как нельзя более верно. Новый класс агрессивен, верит в свою правду и уничтожает все, что мешало ему закрепить ее. Таков закон революции. Поэтому состояние литературы, наступившее вслед за приходом к власти пролетариата, оказалось состоянием горячей борьбы. Иным быть оно не могло.

Уцелевшие остатки литературы старого порядка вышли из революции разгромленные внешне и внутренне. Буржуазная литература слабела и погибала не только от ударов и материальных бед, которых не могла вынести изнеженная дворянско-буржуазная интеллигенция, привыкшая к духовному и физическому комфорту. Было дезорганизовано ее сознание. Катастрофу переживала «идеология». Уже анализ промежутка между 1905 и 1917 гг. говорит о кризисе, обнажившем черты социального, морального и философского разложе-

ния. На разные лады, разными головами, разными красками буржуазные и дворянские художники раскрывали картину внутреннего истощения, ущерба целой культурной эпохи. Творчество их обнаруживало надвигавшийся, еще только предугадываемый крах буржуазного мира. Не случайно один из наиболее популярных критиков той эпохи писал о зловещем пафосе тогдашней литературы, ибо пафос этот, по его словам, был вселенская тошнота, чувство обреченности, ужас жизни и воля к нирване, к неделанию. «Здесь источник вдохновения современных наших поэтов» — заявлял он, и в таком определении «пафоса современной души» была большая доля правды.

Наиболее выдающиеся художники эпохи были поэтами «конца». «Роковая о гибели весть» — один из центральных мотивов поэзии Александра Блока. Ужас жизни и страх смерти водили пером Леонида Андреева. Те же мотивы находим мы в произведениях Бориса Зайцева, Сергеева-Ценского, М. Арцыбашева и многих других. Сущность символизма, его отращивание от реальности и стремление к «мирам иным», выросла из того же корня:

Мы ослепленные, пока в душе не вскроем
Иных миров знакомое зерно...

писал Андрей Белый, и это сознание «ослепленности» разделял с ним не только узкий круг символистов. Оно лежало в основе и «мистического анархизма» и «нового религиозного сознания». Алексей Толстой, хороший знаток тогдашней «модной» литературной среды, дал яркую ее характеристику в романе «Хождение по мукам». «Смерть и сладострастие» — вот в чем, по его словам, был пафос поэзии кануна войны. В лирических признаниях, в философии психологии тогдашнего искусства, в его утонченности, рафинированности, комнатности, в его индивидуализме и мистицизме проявлялись те же черты обреченности, бездорожья, конца. Эпиграфом к этой эпохе можно было бы поставить строки Сологуба, едва ли не самого выразительного представителя философии упадка:

Мы устали преследовать цели,
На работу затрачивать силы,

Мы созрели
 Для могилы.
 Отдадимся ж могиле без спора,
 Как малютка своей колыбели,
 Мы истлеем в ней скоро
 И без цели.

Здесь в эстетических формах обнаруживалась работа крота истории. Революция лишь тряхнула перезревший плод¹⁾. Вместе со старым порядком она должна была отвергнуть и пафос буржуазного искусства. Это произошло не сразу: слишком велики были обаяние его и незначительность культурно-эстетических кадров, которые пошли с революцией.

Но кадры росли. Революция вливала в круг активных строителей искусства представителей новых, поднятых ею классов. Новые люди — новые песни. Пафос новой литературы должен был быть иным.

4

Русская передовая дворянско-буржуазная литература XIX века была народолюбивой и рабочелюбивой, — таков один из парадоксов нашего литературного прошлого. На нем стоит остановиться, потому что с ним связана концепция о «пророках» и «вождях», о «героическом характере» русской литературы. Она была распространена среди народнической интеллигенции. Она проповедывалась с университетской кафедры. Создателем ее был главным образом покойный профессор С. А. Венгерова. Народническая «История русской общественной мысли» Иванова-Разумника исходила из того же понимания литературы как специфической деятель-

ности интеллигенции, внеклассовой и внесловной, героически борющейся за освобождение человеческой личности вообще.

Русская литература есть центральное проявление русского духа, — учил проф. Венгерова. Она всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. Совесть, гнев, любовь и как результат их — возбуждение «чувств добрых» и «милости к падшим» — так формулировал он «основные заветы великих создателей русской литературы». Самая сущность русской литературы, по его утверждению, — альтруистическая и аскетическая». Для русской интеллигенции, по его убеждению, всегда была характерна «тоска по идеалу». Она исповедывала «религию добра». Эта «религия», уверял он, в основе своей имеет ничем рационалистически недоказуемое, основанное исключительно на внутреннем мистическом порыве желание быть добрым, а не злым.

Такова концепция С. А. Венгерова. С этой точки зрения он написал обширный обзор, при чем оказалось, что все представители русской литературы были пророками этой религии. Все были альтруистами, даже эгоисты. Все были аскетами, даже эпикурейцы. Все боролись за правду, даже защитники кривды. Все любили народ, даже его эксплуататоры. Все были жертвами, даже палачи.

Концепция эта заострялась, разумеется, против марксизма. Прекраснодушный профессор с большой долей возмущения отзывался о доктрине классовой борьбы, как о чем-то таком, что разрушает жертвенность интеллигенции.

«...замена благороднейших особенностей русского литературного самосознания, — писал он, — подстановкой на место самоотвержения и самопожертвования какой-то грубой борьбы находится в полном противоречии с реальными фактами нашей литературной истории».

В наши дни эти слова звучат комически. Кое-кого из современников С. А. Венгерова они убеждали. Убедительность, однако, покупалась ценой самообмана.

Мы действительно знаем интеллигентов, стремившихся к «подвигу», любивших «простой народ». Но нельзя также

¹⁾ Мы говорим о «господствовавшем течении». При развернутом показе искусства того времени можно, разумеется, найти буржуазные группировки, воинствовавшие, старавшиеся преодолеть философию упадка. Таким был, например, акмеизм. Но не «акмеизм» определял «генеральную» линию тогдашнего буржуазного и дворянского искусства. С другой стороны, мы имели творчество М. Горького и его круга. Оно в то время представляло демократически-радикальное революционно-интеллигентское течение. К нему примыкали наиболее здоровые и по тому времени революционно настроенные отдельные представители буржуазного и дворянского искусства. После революции, расколовшись, оно отдало своих представителей пролетарской, крестьянской, попутнической и даже эмигрантской литературе.

отрицать, что такому меньшинству противостояло большинство, которое подвижников поносило, многих из них брало в «железо», народ грабило, боялось его и ненавидело. Ведь если были у нас Гаршины — то были и Бенедиктовы, Дружинины, Боткины. Были Войнаральские, Лизогубы, но были также Победоносцевы, Леонтьевы, Катковы. Если были Степняки-Кравчицкие — то были же и Лесковы-Стебницкие, Клюшниковы, Маркевичи. Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, Ткачевым противостоят Булгарины, Сенковские, Буренины, Меньшиковы, Розановы, — и надо еще подсчитать, кого было больше.

Октябрьская революция истребила народнические иллюзии об интеллигенции как единой, внеклассовой, внесловной и т. д. группе. А за этой легендой разоблачалась также легенда об искусстве, отрешенном от классовых интересов. Надо совсем не иметь способностей к анализу явлений, чтобы ныне защищать понимание литературы как деятельности, лишенной социальной заинтересованности, и трактовать писателя как «пророка» и «вождя», стоящего «над схваткой».

Роль писателя «вождя», «героя», «пророка» сбрасывалась в корзину прошлого вместе с легендой о внеклассовости его, о полном его социальном бескорыстии.

Литература из «водительницы», из «учителя жизни» превращалась в один из видов классовой практики общественного человека, очень важный, очень почетный, но ни в какой мере не «пророческий» и «учительный».

5

Искусство классового общества вырастает из борьбы классов. В социальной практике борьба идет за непосредственные экономические и политические интересы. В искусстве именно потому, что это особый вид социальной практики, классовые интересы облекаются в эстетические формы. Борьба в искусстве ведется чаще всего за идеологические и образные формы, как если бы они были сущностями, не зависимыми от социальной практики. Это и давало основание приписывать искусству свойство социальной незаинтересованности. В эпоху

гражданских войн, когда классовые антагонизмы достигают высшей остроты, обнаруживается подлинное классовое естество всякого искусства. Как нельзя более ясно показала это русская «героическая, жертвенная» литературная интеллигенция.

Уже эпоха накануне пятого года вовлекла русское искусство в непосредственную политическую и экономическую борьбу. Империалистская война заставила его пойти еще дальше по пути классового самоопределения. Октябрь сделал все русское искусство политическим. Самые подлые удары наносили революции буржуазные художники и писатели. Еще в империалистскую войну люди искусства с азартом топтали ногами свои высокие «пророческие» традиции. После Октября свирепая ненависть к революции становится отличительной чертой буржуазной литературы. В первую очередь она освобождалась от народолюбия и рабочелюбия. Правда, для значительной части ее эти фетиши давно уже потеряли смысл и сохранились как маскировка. После Октября и эта маскировка срывается. «Страстотерпец», воспетый Некрасовым, «чьи не плачут суровые очи, чьи не ропщут больные уста», делается предметом оплевания. «Охлос» — обругал его Виктор Чернов. «Раб» — под аплодисменты «образованной» публики добавил Керенский. В свете таких суждений художественная литература стала «изображать» народ и «воспевать» его новый лик. Уже Бунин смотрел на мужика барски-враждебными глазами. И. Родионов, автор книги «Наше преступление», рисовал его как полузверя. Это были художники, успевшие эмансипироваться от «народолюбия» до Октября. После Октября эмансипация пошла ускоренным темпом. Ее толкал ненасытный «зверь ненависти», как писала Зинаида Гиппиус. Поклонница чистой красоты, хотевшая того, чего нет на свете, носительница «нового религиозного сознания», после Октября она превратилась в поэта яростной контрреволюции. Ее стихи свистят, шипят и задыхаются. Поэзия ее буквально становится растленной, как если бы в самом деле, по ее словам, была «язвой чумной» заражена.

От боли мы безглазы,
А ненависть, как соль,
И ест, и травит язвы,
Ярит слепую боль.

Эти слова вслед за Гиппиус могли бы повторить Иван Бунин, Леонид Андреев, Арцыбашев, Шмелев, Ходасевич, Ремизов, Мережковский, Борис Зайцев, Алданов и много других больших и маленьких представителей дворянской и буржуазной литературы. Они перестали скрывать классовую сердцевину своего мировоззрения. Их критики, изящные эстеты, импрессионисты, чуравшиеся политики, становятся страстными публицистами. Они жаждут мести, проклинают, призывают мщение, они готовы заключить союз с чортом и его бабушкой, лишь бы вернуть старый порядок.

6

Октябрь обеспечил существование пролетарской и крестьянской литературы. Перед нами не литература о рабочих и крестьянах, но литература рабочих и крестьян, создание их собственного творчества, с их, рабочей и крестьянской, точек зрения. «Мужицкое» искусство не похоже на своего барского предшественника. Оно отличается своими героями и пафосом общей своей установки, отношением к задачам жизни, а также своими художественными чертами. В нем много своеобразного — начиная от словаря и кончая композицией. Это самое существенное отличие, какое бросается в глаза при взгляде на советский период русской литературы.

Уже не одиночки, не единицы, — в советское искусство широкой волной пошел рабочий и крестьянин, человек с мускулистыми руками, лишенный интеллигентских предрассудков, нередко культурных навыков, без буржуазных пристрастий. Поэтов и прозаиков выдвигает не только пролетарская и крестьянская интеллигенция. В литературу пробиваются люди из самых недр трудящихся классов, от станка, от сохи, от трактора, из шахты, из колхоза. Вчера чернорабочий, токарь-металлист, стекольщик, швейник, батрак, пастух, даже трактирный половой — сегодня, преодолевая огромные препятствия, нелегко, со срывами, он овладевает техникой писательского ремесла, упорно завоевывает

мастерство, вносит свое понимание, свои вкусы, свои навыки в область, недавно бывшую недоступной.

Литература как творчество в буржуазно-дворянскую эпоху была уделом небольшого числа избранных. Советский период отличает, наоборот, массовость литературного движения. Участие в нем широчайших, низовых, не одних лишь интеллигентских слоев, но людей физического труда, работников делает ее единственной подлинно демократической литературой в мире. Речь у нас идет уже не о том, чтобы с базара «мужик» понес Белинского и Гоголя. Эту станцию мы перемахнули. Перед нами рост литературы, создаваемой самим «мужиком». Он не только «читатель». Он протянул руку к перу. Мечты Некрасова не осмеливались итти так далеко.

Тысячи членов в пролетарских и крестьянских писательских организациях, быстро вырастающие литературные организации народов нашего Союза, резервы рабкоров и селькоров, наконец, ударники —

этот неслыханный для капиталистического мира количественный размах движения — лишь предпосылка для развития и под'ема литературного творчества, какого не видел, да и не мог видеть капиталистический мир.

7

Отличает пролетарскую литературу суровость трактовки темы о человеке: тема о гуманизме, о сострадании, о любви к человеку «вообще» проводит резкую черту между пролетарской и буржуазно-интеллигентской литературой. В этом смысле крайне показательна судьба «Перевала». Перевальский «гуманизм» не является специфически «перевальским». Это — одна из основных тем русской литературы старого порядка. После революции «гуманизм» перешел по традиции к попутничеству вообще. Нельзя назвать ни одного крупного попутнического писателя, который в той или иной степени не был бы проникнут гуманистическим традиционализмом. Но литература борющегося рабочего класса, вырастающая в пороховом дыму, не дает простора этой теме. Пролетарская революция не знает человека «вообще». Проповедь любви, сострадания, жалости к

человеку в о о б щ е, кто бы он ни был, объективно разоружает пролетариат. Оттого-то гуманизм в старом, традиционном понимании чужд пролетарской литературе. Его нет у Демьяна Бедного, А. Фадеева, Артема Веселого. Его лишены Ф. Панферов, Виктор Кин, А. Безыменский, подрастающая пролетарская молодежь. Класс, не закончивший борьбы, еще окруженный нападающими врагами, реагирует на проповедь гуманизма «вообще», как на измену. Если в эпоху войн и революции молчат музы, рожденные для звуков сладких и молитв, — особенно приходится помолчать музам, которые поют песни, угашающие ненависть и ослабляющие волю к борьбе. Революция не имеет ничего общего с такой музыкой. И если она все-таки звучит и звучать, разумеется, будет (непролетарское искусство не сможет отказаться от этих песен), — они найдут своих певцов и музыкантов не в рядах пролетариата. К этим песням рабочий класс вернется, но в другое время. Сейчас не пробил час, когда пролетариат может сделать их литературным орудием своего наступления.

В процессах расслоения, какие мы наблюдаем в пределах пролетарской литературы, предложениями для дифференциации служат нередко именно мотивы гуманизма, покоя и отдыха. Молодых пролетарских критиков можно упрекать в разных недостатках, чаще всего в подмене критического руководства критическим рукоприкладством, но нельзя отрицать у них классового чутья. Именно классовое чутье подсказывало им борьбу против изнеженной, как бы обезволивающей лирики Уткина, демобилизационных стихотворений И. Молчанова и других литературных выступлений, не соответствующих задачам, какие стоят перед пролетариатом, а следовательно, и перед его литературой. Но задачи пролетариата — задачи нашей эпохи. Потому-то революция налагает руку на искусство. Мобилизовав все ресурсы, материальные и духовные, для борьбы за пятилетку, за коллективизацию деревни, за ликвидацию кулачества как класса, призвав миллионные массы к соревнованию, к ударничеству, к напряжению всех сил во имя социалистической реконструкции, революция на труднейшем историческом переломе не может

оставить в стороне эстетическое оружие, предоставив почтительно известной части своих граждан «предаваться искусствам, наукам, отдаваться любви и страстям».

Искусство подлинное, искусство большого стиля постоянно оказывалось там, где кипела жизнь, где сталкивались страсти, где решались судьбы человека.

Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.

Искусство всегда было образным выражением величайшей заинтересованности человека в разрешении важнейших проблем жизни. Тесная связанность с нею и придавала искусству глубину, силу его очарования. Оно хирело и вырождалось, когда отрывалось от действительности. Если искусство отворачивается от жизни — жизнь покидает искусство. И наша эпоха реконструкции, подобно всякой другой, а быть может, больше, чем любая другая, ставит перед искусством задачу быть художественным голосом своего времени, дышать воздухом, которым дышит борющийся человек, жить его страстями и желаниями, вместе с ним пройти его кремнистый путь.

8

Смена старого порядка повлекла за собою радикальные сдвиги в самом существе литературы. Меняются герои, тематика, образность, весь сложный набор изобразительных и выразительных средств. Меняется стиль искусства. Приходят люди с другим классовым мировоззрением, с новыми вкусами, с иным словарем, с небывалыми задачами, предъявляемыми искусству.

Русская литература старого порядка характеризовалась наличием определенных характеров. Чацкий, Онегин, Печорин, Рудин, Неклюдов, Болконский, Безухов, Левин, Раскольников, Иван Карамазов, непохожие друг на друга, они вместе с тем объединены общими чертами. Это — интеллигенты, индивидуалисты, раз'едаемые рефлексией. Они философствуют, занимаются интроспекцией, ищут своего места, в жизни, хотя оправдания мира, его смысла.

Таков «стержневой» тип классической русской литературы. Его отличают без-

действенность, резиньяция, самоанализ, отсюда увлечение психологизмом, достигшим несравненной силы в произведениях Толстого и Достоевского.

Когда пришел в литературу разночинец, человек дела, как он себя аттестовал, и Рудина сменил Базаров, даже в этот период борьбы с дворянской эстетикой и дворянским прошлым русская литература не создала героя, который был бы «завоевателем» жизни. Отошли в прошлое лишние люди и кающиеся дворяне: разночинец пошел на службу капитала, произошла новая передвижка классовых сил, но «строитель» в литературе все-таки не появлялся. Старых героев, философов и мытников, сменили мягкотелые интеллигенты Чехова, «здоровый мужчина» Арцыбашева, Ардалион Борисович Передонов Сологуба, тихие мистики Бориса Зайцева, бесплодно бунтующие Саввы Леонида Андреева, декаденты, символисты, мистики и много других, им подобных. Деятельный, активный, мужественный, крепкий человек, — такие люди не удавались дворянской и буржуазной русской литературе. Они ничего не делали. С ними все делалось, как заметил однажды Мережковский.

Наиболее проникнутые буржуазной идеологией и делячеством писатели — как Боборыкин, Эртель, Мамин-Сибиряк — не дали незабываемых образов. Человека-строителя способен был выдвинуть только молодой, революционный класс, полный сил и веры в свое историческое призвание. Этого не могло сделать русское дворянство, класс обреченный. На это не была также способна русская буржуазия, жалкая и политически отсталая. Самая молодая из европейских буржуазий, она бледно, немощно отразила в искусстве свое стремление к власти и свое кратковременное около нее пребывание.

9

Литературное развитие наших дней характерно именно постановкой проблемы «нового человека». Не «живого», как комически иногда определяли «героя нашего времени», и, конечно, не «гармонического», но именно «нового».

Из развалин старого общества, стряхивая пыль прошлого, подымается чело-

век, главной чертой которого является революционная активность. Он стоит за фабричным станком, держит в руках винтовку, руководит государством, делает большие дела и незаметную работу, строит заводы и колхозы, прокладывает шоссе, железные дороги, ставит совхозы-гиганты, коллективизирует деревню, организует печать, ликвидирует кулака, воздвигает школы, борется с неграмотностью, истребляет разгильдяйство, громит религию, счищает грязь, накопившуюся веками, в поту и пыли, засучив рукава, опрокидывает миллион препятствий, подвижник труда, враг фразы, солдат революции, ударник, масовик. Он еще не оформлен как художественный образ. Его оформлением и должен заняться литература.

Традиционный русский интеллигент, герой старой нашей литературы, индивидуалист, мечтатель, себялюбец, Гамлет, «прекрасная душа», анархист, мытик, обыватель, уходит в прошлое. Это не значит, что он исчезает со страниц литературы. Он продолжает жить. Он исчезнет, вероятно, не скоро. Он держит еще в плену сердце и ум попутничества. Он продолжает пленять даже некоторых писателей, считающих себя пролетарскими. Власть его еще велика. Но она подорвана в корне. Часы его сочтены. Он сходит со сцены как центральная фигура литературы. Его время прошло. Его песня спета. А рядом с ним, прижимая тончайший платок к глазам, уходит и старая «героиня», его подруга жизни. Она выпадает из эпохи, когда решительно преобразуются формы любви и брака. В корне изменилось положение женщины. Из объекта «страсти нежной» она превращается в деятельного субъекта жизни и страсти. Она завоевывает литературу не как женщина, но в качестве человека-бойца. Рядом с «героем» мужского пола появляются предвестники нового «героя» пола женского. Виринея, Даша Чумалова, Наталья Гарпова оттесняют, замещают изысканных, безвольных, пассивных, тепличных героинь классического русского искусства. Нет больше женщин Борисова-Мусатова, не вернется Лиза Калитина, навсегда покидает жизнь Раневская вместе со своим окружением.

Если сравнить с дворянским и буржуазным интеллигентом намечающегося «героя нашего времени», мы увидим, что там, где его предшественник ставил плюс, он ставит минус. Старый герой был индивидуалистом — у нового нет вкуса к индивидуализму. Старик любил предаваться размышлениям. Он тревожно искал во внешнем мире ответов на множество «проклятых» вопросов. Любовь и смерть — вот что постоянно тревожило его сознание. Новый герой сводит пустое размышление к минимуму: жизнь как борьба — его главная забота. Старый стремился познать мир. Новый хочет, познав, его перестроить. Старый герой говорил: мир и я, противопоставляя себя миру. Новый себя соединяет с миром. Старый много времени, места и сил отдавал личным чувствам, личной жизни, поискам личного счастья. Герой нашего времени, наоборот, чувства личные отводит на второй план. Интересы общественные в нем господствуют над личными. Точнее: общественное он переводит в личный план. Личное и есть общественное. Это не суживает его внутренний мир, но, наоборот, расширяет.

Старик любил удариться в сентименты, всплакнуть над книжкой. Нынешний не знает, что такое сентиментальность. Он суховат, жестковат, не любит отрываться от действительности, хотя раздвигает ее пределы дальше тех, о которых мечтал его предшественник. Он реалист. Для него не существует никаких иных интересов, кроме земных, реальных, материальных. Оттого-то он истребляет идеализм, мистицизм и всякое поповство. Старый интеллигент, воспевая разум, поклонялся вместе с тем бессознательному, загадочному, тайному, непознанному. Современный человек — рационалист по преимуществу. Его рационализм вытекает из его реализма: он хочет знать точно, строить верно, разрушать уверенно. Он вместе с тем диалектик-материалист. Это должно застраховать его от метафизического материализма. В этом смысле он не походит на интеллигентного пролетария шестидесятых годов.

Старый человек был эстетом. Он обожал искусство независимо от того, куда оно вело. Нынешний относится к искусству критически. Он принимает его

лишь в той мере, в какой искусство служит борьбе за жизнь. Он не ударяется в нигилизм, как шестидесятники или футуристы: не отрицает Пушкина, не отвергает Толстого. Напротив: с любовью учится у них. Он умеет восторгаться лирической поэмой и психологическим романом. Он широк настолько, что воздаст должное Тютчеву и Фету. Но он знает, что «довлеет дневи злоба его», что сегодняшний день живет своими интересами, иными запросами, а значит, — новыми формами и жанрами. Тютчев и Фет — прекрасны для своего времени. Но нынешние Феты и Тютчевы не должны походить на них, как не походит день сегодняшний на день вчерашний. Борьба — прежде всего. Общественный интерес — на первом плане. Таков закон эпохи. И нет исключений для искусства. «Поэзия» искусства не противопоставляется прозе «жизни». Напротив. Время требует, чтобы искусство впитало в себя «прозу» действительности, освоив, перевоплотило в художественные формы. Прежде искусство могло замыкаться в башню из слоновий кости, со стеклами цветными, уходит в пустыню, становится в сторонку от потока жизни. Современный человек хочет, чтобы искусство и жизнь были неотрывны, чтобы жизнь говорила языком искусства на улицах, площадях, в фабричных зданиях, в колхозах, в окопах. Искусство, по его мнению, не должно быть белоручкой: пусть и его будут руки мозолисты, а голос грубоват. Музе революции не пристало быть неженкой. Искусство эпохи пролетарской перестройки мира не может походить на теплое растение.

Перед ним новые задачи, трудные, непривычные, неслыханные. Но таково наше железное время борьбы. Все неспособное, хилое, изнеженное уходит. История производит свой отбор. Что выдержит — хорошо, годится. Что не выдержит — туда ему и дорога.

10

Тема о «старом» и «новом» человеке — центральная тема советской литературы. В то время как литература, связанная с буржуазным порядком, продолжает лелеять и беречь облик уходя-

щего в прошлое интеллигента, литература, вырастающая в условиях порядка пролетарского, напротив, рвет с традиционным героем, увлеченная созданием нового образа. Именно по этой линии нетрудно провести разграничительную черту между литературой буржуазной (и новобуржуазной), попутнической и пролетарской. Буржуазная и новобуржуазная литература целиком во власти «старого человека». Она живет не новым опытом, но запасом давних впечатлений, инерцией, традициями ушедшей эпохи. Это подсказывается интересами класса, хотя и разрушенного, но остатками своими цепляющегося за жизнь, пытающегося вернуть вчерашний день. Пристрастие к старине — первый признак глубокой контрреволюционности. Такова литература эмиграции, которая хочет себя уверить, будто ничего особенного не произошло и герои ее не восковые фигуры, не маски, но настоящие, живые люди. То же самое можно сказать про писателей, хотя и проживающих в Советском союзе, но по существу продолжающих те же традиционные линии развития старой литературы. В попутнической литературе уже происходит борьба с традицией. Но борьба не всегда смелая, не последовательная и не до конца. В произведениях многих попутчиков рядом со «стариками» мы встречаем и «молодых» — таковы вещи Сейфуллиной («Виринея»), Вс. Иванова («Хабу»), Пильняка («Голой год»), Бабеля («Конармия»), Сельвинского, Олеси, Леонова, Лидина, Федина и многих других. Новые люди в произведениях попутчиков появляются как знамение времени, как голос эпохи, но они не побеждают, не вытесняют своего противника. Наоборот, иногда происходит обратный процесс: «новый» вытесняется «старым». В «Городах и годах» — Курт Ван побеждает Андрея Старцева. Но в «Братьях» Никита Карев — новый вариант Старцева — «побеждает» нового Курта Вана. Ростислав «уходит», Никита остается. После «Виринеи», «Перегноя» и других вещей Сейфуллина пишет «Выхваль» и «Гибель». Вс. Иванов после Лейзерова дает галлерее своих «интуитивистов» и «мистиков» из «Тайного тайных». Л. Леонов после «Барсуков» написал «Унтиловск» и «Вора», где

«мелкий», «ненужный», традиционно русский человек старого порядка заявляет свое право на внимание. Иначе и быть не могло, поскольку «попутничество» рисует мир с точки зрения «переходников». Они вышли из старого порядка, еще многими нитями связаны с ним, но уже испытывают воздействие порядка нового и пытаются — непоследовательно, не до конца — эти воздействия нового порядка в своем искусстве выразить. Разрешение проблемы «нового человека» особенно трудно для попутничества, поскольку само оно является промежуточным, переходным состоянием между «старым» и «новым», между «концами» и «началами». По мере того, как поиски передвигаются в сторону писателей, теснее связанных с пролетариатом, этот образ приобретает более конкретные черты. «Кожаные куртки» у Пильняка были лишь упомянуты. А Глеб Чумалов Гладкова оказался развернутым для своего времени обликом рабочего революционера. Лейзеров прошел по страницам произведений Иванова как случайный человек, мелькнул и ушел. А в «Разгроме» Фадеева Левинсон живет и никуда уходить не хочет. В Левинсоне воплощено многое, что обличает человека нового времени: несгибаемая воля, упорство, труд, борьба. Правда, в нем есть подозрительные черты, сближающие его с традиционным российским интеллигентом. Это надо отнести на счет того увлечения «психологизмом», какое характеризует определенный этап развития пролетарской литературы. Но путь пролетарского писателя — путь именно к разрыву с традицией, к преодолению ее, к созданию образа, которого ждет наша эпоха: человека революционного дела, а не революционной фразы или одной лишь революционной мысли. Показателен еще в последнем отношении Артем Веселый. «Страна родная» и «Россия, кровью умытая» (последняя вещь, к сожалению, не закончена) принадлежат к числу едва ли не самых ярких образов «новой» литературы, по-новому, новым языком, новыми образами дающих картину мира. «Мужики» в «Стране родной», в «России, кровью умытой», Максим Кужель, матросы, красноармейцы, партизаны — это новая порода людей, вы-

растающая в революции. То же самое можно сказать про многих других.

11

Аналогичный процесс происходит в крестьянской литературе. Подобно пролетарской, она создается массами и идет к массам. Она враждебна не только литературе барской, дворянской и помещичьей, но также литературе, представленной именами Клюева, Есенина, Клычкова. Эта вражда имеет под собой классовое основание. Поэты, имена которых мы только-что назвали, тесно связаны с буржуазным порядком. Даже Есенин, больше, чем какой-нибудь другой поэт старой русской деревни, сумевший выразить стихию крестьянского бунта, даже Сергей Есенин — весь в дореволюционных традициях и тенденциях. Не случайно его песня была подобной стону. «Конец» деревянной Руси и торжество «железного гостя», в котором он олицетворил городскую, индустриальную культуру, эти мотивы сплелись с мотивами личной гибели, подсказанными обреченностью старого уклада, имевшего в его сознании неистребимую ценность. Упадочность Есенина была не индивидуального, но социального порядка. И бунтарство, которое отличает его от тихого упадочничества Н. Клюева и реакционного романтизма Сергея Клычкова, не могло спасти «последнего поэта деревни», всей страстью привязанного к прошлому, несмотря на его внешнюю революционность. Напевность есенинской поэзии, ее музыкальный строй, инструментовка и образность — все это было великолепным завершением старого, но не оформлением и провозвестием нового. Есенин был поэтом «конца», яростным противником «начала», вторгавшегося в жизнь, в искусство, в литературу. Отсюда его ненависть к Маяковскому. В городской образности футуризма, в его рационализме и нигилизме видел Есенин отрицание «концов», к которым был привязан, преодолеть которые не мог никак.

Искусство деревенской буржуазии — при всей своей крестьянской образности, при характерности деревенской тематики и деревенского словаря — пронизано философией и психологией, свойственными

искусству буржуазии. Те же мотивы индивидуализма, тот же мистицизм, то же стремление к душевному самоустроению личности, тот же культ частной собственности, те же гуманистические тенденции плюс, разумеется, специфические черты религиозной идеологии, суеверий, кулацкой романтики. Лишь в процессе развертывания культурной революции развернулось широко и крестьянское массовое литературное движение. Крестьянская литература, подобно пролетарской, проникается ненавистью ко всему, что связывает жизнь и искусство со старым порядком. Поиски нового человека, новой тематики, новых средств выражения характерны также для литературы крестьянской.

Это не значит, что все произведения крестьянской литературы, какие мы имеем, сплошь революционны и лишены черт старого порядка. Сказать так значило бы извратить истинное положение дел. Искусство строится из накопленного опыта. Нередко вопреки усилиям воли он определяет конкретные художественные формы. Это значит, что перед крестьянским писателем так же, как перед пролетарским и попутчиком, стоит задача перестроить не только мир, но в первую очередь самого себя, преодолеть в самом себе наследство старого порядка, которое в виде различных навыков, страстей, точек зрения еще не исчезло под воздействием революции. В столкновении «концов» с «началами», в победе последних над первыми и заключен смысл борьбы, происходящей в нашем искусстве и в каждом из нас. Ежедневно, ежечасно в революционной практике нашей, перестраивая мир, мы перестраиваем самих себя.

Пафос крестьянской литературы однороден с пафосом литературы пролетарской. Но было бы ошибкой притти к утверждению, будто подлинная крестьянская литература есть такая литература, которая полностью усвоила пролетарскую марксистско-ленинскую идеологию. Это значило бы отождествить эти два отряда. Но в таком случае зачем строить именно крестьянскую литературу рядом с пролетарской? В дальнейшем, по мере роста колхозного строительства, т.е. по мере индустриализации сельского хозяйства, в деревне

будет вырастать и приобретать господствующее положение «колхозник», особый тип «переходника». Из мелкого собственника, из неорганизованного человека старого индивидуалистического крестьянского уклада он станет превращаться в индустриала-общественника. Художественная литература деревни, поскольку она сумеет не только показать этого нарождающегося в борьбе за социализм человека, но и сама будет им создана, окажется ближе к пролетарской, чем к крестьянской. И по мере того, как крестьянство, переходя в колхозы, будет изживать старые крестьянские, индивидуально-хозяйственные навыки, установки, взгляды на мир, вкусы, повадки и т. п., будет расти именно это колхозное крестьянское крыло литературы. Нельзя забывать, что, когда мы говорим о массовом литературном движении, мы имеем в виду именно массы, сознание которых при всех возможностях меняться все-таки определяется бытием.

Если бы не было разных условий производственного существования города и деревни, классовой борьбы, а значит и разных классовых психологий, — не было бы классовых отрядов искусства. Искусство было бы «единым» потоком, национальной литературой, в которой сливались бы все классовые течения, где все были бы скроены по одной мерке, говорили бы одним языком, мыслили одинаковыми образами, чувствовали одними и теми же чувствами. Но тогда не было бы и борьбы. Не было бы и развития искусства.

Говоря о пролетарской и крестьянской литературе, надо иметь в виду не только сходства, но и различия. Сближает их общность социально-политической установки. Перед пролетариатом и крестьянством один путь — борьба за социализм, одна задача — организовать свои чувства и мысли так, чтобы борьбу эту вести с наибольшим успехом. Оба эти класса имеют одну цель — опрокидывая препятствия, переделывать мир и вместе с миром самих себя. Но в этой борьбе пролетариат исторически приспособлен к роли руководителя. Пролетариат — носитель централизованного, коллективистического начала. Все,

что в нашей революции и в быту нашем организованного, систематически крепкого, — это от пролетариата, от пролетарских методов, от пролетарской психологии и идеологии.

В борьбе крестьянской литературы за правильный путь самой большой опасностью именно для нее, был бы недоучет тех еще не выкорчеванных, неуничтоженных «концов», которых в крестьянстве несравненно больше, чем в пролетариате. Не понимать этого — значит не понимать истинных условий развития крестьянской литературы и недооценивать роль пролетарского руководства в деле этого развития.

12

Пересмотр эстетических ценностей, в сущности, лишь начинается. Подлежат переоценке все стороны и особенности искусства: тематика, жанры, образы, весь арсенал выразительных и изобразительных средств, все компоненты стиля, созданного старым порядком. Вместе с старым героем уходят его эстетические навыки, вкусы, манеры, его пристрастия и повадки, излюбленные приемы. Даже эпитет, даже метафора, даже рифма.

Все это приводит к отмиранию целых пластов тематики, занимавших литературу старого порядка. Многие уходят навсегда, иное — на время. Отмирают сюжетные схемы, возникавшие в условиях дворянского и буржуазного существования. Проблематика, какую питалась литература старого порядка, теряет свою жизненную значимость для читателя. Она перестает быть привлекательной в глазах писателя. Если писатель вопреки своему таланту и мастерству живет прошлым, он выпадает из современного литературного движения. Надо ли называть имена? Если же он дышит воздухом своего времени, заинтересован потребностями своей эпохи, участвует в великой перестройке мира, — старая тематика отмирает в его сознании сама собой, вытесняется новой, живой и актуальной.

Господство общественных интересов над личными — черта едва ли не самая характерная для советского периода русской литературы. Это не значит, что она царствует безраздельно.

Примат личного над общественным свойственен направлениям, связанным с литературой старого порядка, живущим традициями прошлого, сохранившим навыки и установки буржуазной литературы. Примат общественного над личным отличает группировки пролетарские и близкие пролетариату. Нетрудно было бы показать, как борьба этих «концов» и «начал» пронизывает советскую литературу. «Зависть» Юрия Олеши, «Братья» К. Федина, «Разгром» Фадеева, «Вор» Леонова, «Тихий Дон» Шолохова, «Наталья Тарпова» Семенова, «Бруски» Панферова, «Преступление Мартына» Бахметьева, «Севастополь» Малышкина, поэзия некоторых конструктивистов, творчество В. Маяковского, Н. Асеева и многих других являются собой произведения, ткань которых обусловлена именно этим спором. Насколько диктовка времени категорична и обязательна, можно видеть хотя бы по тому, что такой тонкий и личный лирик, как Борис Пастернак, — едва ли не крупнейший лирик нашего времени, — и тот преодолевает свой органический, индивидуалистический лиризм, обращается к эпическому революционно-общественному материалу и создает вещи такого большого значения, как «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

Именно поэтому на долю лирики выпадают самые серьезные испытания. В эпоху диктатуры «общего» над «личным» лирика уединенной души отступает на далекий план. «Когда говорят пушки, молчат музы» — кто не ссылаясь на этот афоризм! Но в нем — доля лжи. Мы приводили Брюсова: «Буря с песней вечно сестры». Не все, оказывается, под гром пушек смолкают музы. Замыкают уста те, что были созданы «для звуков сладких и молитв». Но революция имеет своих муз. Правда, их нельзя уподобить мифологическим созданиям. Их голос груб, руки мускулисты, а кожа покрыта загаром и пылью, но они умеют петь боевые песни, и эти песни остаются как настоящая литература, литература революции. Разве мало таких песен создала наша борьба? Их лирический пафос не в тончайших переживаниях нежных душ, не в печали от неразделенной любви, не

в восторгах от шороха листвы, от дуновения полусонного ветерка, от соловьиной трели и т. п. атрибутов канонической лирической поэзии. Лирика революции — лирика борьбы, не личной, но общественной, не интимных переживаний, а классовой ненависти, передающая восторг не от соловьиных трелей, но от побед и достижений. Это — по преимуществу политическая лирика, лирика гражданская в буквальном смысле, проникнутая общественными, классовыми мотивами. Она заглушает лирику личных чувств и переживаний.

Было бы ошибкой думать, будто революция обрекает лирику на смерть. Такое утверждение неверно в корне уже по тому одному, что само искусство революции — если это будет настоящее искусство — лирично, как лирично искусство вообще. Подчеркиваем: речь идет не о лирике вообще, но о лирике уединенного сердца, живущего и страдающего лишь интересами своего изолированного «Я». Поэтам, наводняющим наши редакции такими произведениями, мы могли бы сказать:

«Товарищи! У нас фронт. Наше сознание, наша воля поглощены борьбой. Помогите нам закончить ее. Спойте нам бодрые песни, с блеском, с молодостью, с любовью, с ненавистью, но пусть эти песни не уведят нас из мира борьбы в узкий круг личных, себялюбивых, эгоистических переживаний. Не подменяйте широкого и огромного мира мелким мирком уединенной души. Сумейте связать вашу личную лирику — пусть она будет любовной! — с пафосом общей борьбы, с теми чувствами, которые горят в нас и которые должны также гореть в вас самих. Но не разлагайте волю вашей лирической грустью. Такой лирике сейчас нечего делать. Такая лирика должна умолкнуть».

Это не проходит безболезненно. Отдельными поэтами и целыми группировками, не способными переключиться в современность, это воспринимается как трагедия. Иначе и быть не может. Личной лирике, почерпывающей мотивы из глубин изолированной души, величайшую трагедию приносит время, когда не остается места для лирически-интимных излияний. В нашу эпоху Ф. Тютчев был

бы несчастным человеком. Фет ушел бы в молчание. Ибо их музы — именно те, которые молчат в грозу. Что могут они, утонченно-барские, сказать нашему времени о нашем времени? Революция самым фактом своего существования выбрасывает из обихода многое множество вещей, для нее безразличных. Когда стоит вопрос о перестройке мира, «шопот, робкое дыханье» могут подождать. От этого пострадают лирики и даже само искусство? Что ж делать!

Закон революции — высший закон.

13

Судьба Маяковского в этом смысле особенно замечательна. Еще до революции именно в его поэзии зазвучал протест против узко личной лирики. В годы, когда заливался Северянин, Маяковский бросил программные и пророческие слова:

Как смеете вы
называться поэтом
И сerenький
чирикать как перепел.
Теперь надо кастетом
Кроитья миру в черепе...

Его поэзия — редкий образец, в котором обнажен и вскрыт процесс внутренней перестройки. Маяковский был лирик. Но он презирал поэзию, воспевавшую пажей, дворцы, любовь, сирени куст. На поэзию он смотрел как на оружие, — ему принадлежит поэтическое обоснование политического искусства, которое творит жизнь, перестраивает мир, помогает «выволакивать республику из грязи». В этом смысле из всех поэтов, выросших в условиях старого порядка, Маяковский больше других оказался на высоте задач, предъявляемых революцией, хотя многое в его воззрениях и методах было ошибочно. Подобно всем «переходникам», он имел натуру противоречивую. Демьян Бедный оказался счастливее. Бедный вырос как партиец-пролетарий. Для него самими условиями его биографии большевика были развязаны многие узлы, которые Маяковскому приходилось разрубать с кровью. Потому-то Маяковский крайне показателен для переходного периода. Ярче, чем в ком-нибудь другом, сказалась в его поэзии борьба

«концов» и «начал». В нем было много от мелкобуржуазного поэта «старого порядка» и в то же время много того, что отличало уже нового человека, поэта пролетарской революции, преодолевающего «концы». Ту же картину в несколько иных формах представляет творческий путь Сельвинского. И этот поэт идет от «концов», переданных ему старым порядком, к «началам», выдвигаемым нашими днями. Ничего невероятного не будет в том, если Сельвинский не сразу, не так легко, как ему хочется, но сумеет в конце концов овладеть «началами». Пред нами путь поэта, пытающегося перестроить себя, «вывернуться нутром». Ту же работу без шума, но глобоко и упорно продельвает Н. Асеев. Если бы мы с этой точки зрения взглянули на молодую советскую поэзию, — пролетарскую, крестьянскую, попутническую, — мы увидели бы, что эта особенность ее, перестройка внутреннего мира, борьба с собой, характерна как для лирики Иосифа Уткина, М. Светлова, А. Безыменского, М. Голодного, так и для Э. Багрицкого, П. Орешина, И. Доронина, М. Исаковского, Н. Тихонова, Б. Пастернака и многих других. Мы не говорим здесь, успешно или не успешно проходит эта борьба. Мы лишь указываем на нее, как на характернейшую черту современной поэзии. И наша общественно-психологическая обстановка, в какой развивается поэзия, — да и все искусство вообще, — обуславливает неизбежность такой борьбы.

Разумеется, «реконструкция» литературы — процесс не легкий. Нигде старый порядок не пустил таких глубоких корней, как в области эстетических представлений. Оттого-то нередки случаи, когда политически передовые люди защищают эстетически отсталые, т.е. реакционные взгляды, не замечая, что защищают мертвое против живого. Они борются за свою платформу, полагая, что здесь-то и лежит «начало» нового, тогда как это есть лишь «конец» старого. Они не умеют отличить эстетических «концов» от «начал». Что же сказать про людей, эстетически отсталых, оставшихся в стороне от великого движения своего времени? Они безнадежно пугаются, протягивая руки к прош-

лому. На наших глазах отдельные писатели и целые писательские группировки вступают в конфликт с эпохой. Неспособность или неумение ликвидировать конфликт приводит к разрыву с революцией.

Именно об этой плеяде «уходящих» написал однажды Э. Багрицкий:

Мы — ржавые листья,
На ржавых дубах,
Чуть ветер,
Чуть север,
И мы облетаем.

Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы — ржавых дубов облетевший уют...

14

Борьба «концов» с «началами», все процессы перехода и перестройки наиболее яркое выражение находят именно в литературе так называемого попутничества. Мы коснулись мимоходом лишь Сельвинского и Маяковского. Мы могли бы назвать другие имена. Творчество каждого почти попутчика дает богатый материал для такового анализа. Попутничество было слоем мелкобуржуазной интеллигенции. Но включились в попутнический поток представители дворянства, буржуазии, даже крестьянства. Это было весьма разнородное в социальном смысле образование. Чтобы стать попутчиком, т.е. «принять» революцию, воспевать ее, надо было сжечь кое-какие корабли, что-то в себе преодолеть, по-новому взглянуть на мир. Именно — искреннее, честное приятие революции и было чертой, за которой начиналось попутничество.

Оно возникло с первых лет Октября. Социалистические перспективы были отдалены. Революция непосредственно не затрагивала глубоких и коренных установок интеллигентского мировоззрения. В порядке дня стояла гражданская война, героическая увлекавшая размахом, блеском побед, энергией сопротивления: было от чего притти в восхищение. Пафос гражданской войны характерен для большинства попутнических произведений. Многие из попутчиков дрались на фронтах, с оружием защищали революцию. До какой станции они с революцией шли, т.е. как глубоко революция

принималась, — эти вопросы пришли позднее, когда социалистическая реконструкция, перестав быть «теорией» и «отвлечением», становилась в порядок дня. Тут-то и обнаружались классовые антагонизмы в попутнической литературе.

Приняв революцию, попутчик не мог, разумеется, сразу, целиком переродиться. А проблема попутничества есть по существу проблема перестройки человека. Если даже перед пролетарским и крестьянским писателями стоит задача переделки самих себя, отказа от многих черт, полученных от старого порядка воспитанием, средой, житейским опытом, — она особенно остро стоит перед каждым попутчиком, связанным с прошлым множеством не умерших литературных и бытовых традиций. Вспомним признания В. Маяковского. Многие попутчики вышли непосредственно из старого порядка, т.е. до революции получили свое литературное воспитание. Они были теми «специалистами» литературной техники, о которых упоминалось в знаменитой резолюции ЦК 1925 г. Они связаны со старой литературой философски, психологически, эстетически. Индивидуализм, буржуазный гуманизм, барское отношение к пролетариату и крестьянству, пережитки дворянской и буржуазной психики, привычки к духовному комфорту, эстетизм, склонность к резиньяции, к душевному самоустроению, отвращение от будничных дел, стремление к «героике» и «патетике» ради них самих, душевная неустойчивость, склонность к фразе, способность падать духом — все эти черты, характерные для интеллигентской психологии буржуазного порядка, оказались перенесенными в попутническую литературную среду советского периода. Естественно поэтому, что в творчестве попутчиков мы находим очарование революцией и мотивы горчайшего разочарования. Попутчики воспевали ее метель, порыв, скифство, ее неслыханный размах, героизм, красочность, остроту ее контрастов, железную неукротимость ее героев, необычайность воздуха, которым они дышали в это упоительное и страшное время. «Голый год» Пильняка, «Конармия» Бабеля, «Партизанские повести» Вс. Иванова, «Падение Дaira»

А. Малышкина, «Пережной» Сейфуллиной, «Барсуки» Л. Леонова, «Мятеж» С. Буданцева, «Опанас» Багрицкого, «Мистерия Буфф», «150.000.000» Маяковского, многие стихотворения Асеева, «Девятьсот пятый год» Пастернака, «Улялаевщина» Сельвинского — эти превосходные вещи останутся памятниками увлечения, каким охвачены были мелкобуржуазные интеллигенты, ставшие попутчиками пролетарской революции. Но даже участвуя в ней, большинство попутчиков оставались преимущественно созерцателями, гуманистами, соглядатаями. Принимая революцию, они искали еще ее оправдания. Свету революции они противопоставляли ее тени. Потому-то попутническое искусство нередко вызывало нарекания революционеров. В славословиях революции слышалась иногда клевета на нее. Когда же на смену героике и патетике фронтовой борьбы пришел будничным поверхностному глазу хозяйственный труд, когда классовая борьба перебросилась в самый быт и вопросы приспособления к новым, суровым условиям встали в упор перед каждым попутчиком, тогда-то вот и написал Юрий Олеша замечательное произведение «Зависть» и показал нам изнутри Николая Кавалерова, индивидуалиста, мечтателя, романтика, интеллигента, жаждущего славы для себя и вступившего в конфликт со своим веком. Ибо тема Кавалерова — это тема о том, как трудно буржуазному интеллигенту, выросшему в условиях старого порядка, понять и принять порядок новый. И как различны эти два порядка.

15

Трудности реконструктивного периода, обострение классовой борьбы, диктатура политики, все большее «прибирание к рукам» пролетариатом разных областей эстетической деятельности — все это расслаивало и расслаивает попутническую литературу. Сейчас уже нельзя говорить об едином попутническом отряде. Революционные попутчики, способные учиться у жизни, переделывают себя. Они хотят быть не попутчиками, но союзниками пролетариата. Они меняют тематику, свои эстетические вкусы, прислушиваются к пульсу жизни, готовы идти на выучку к пролетариату,

критически пересматривают свой идеологический и психологический арсенал. Они находят ошибки в своем прошлом, пытаются исправить их, идут в «народ», ударничают, участвуют в бригадах, изучают колхозы, шахты, фабрики и заводы, нюхают порохи борьбы и труда, собирают факты живой жизни, переучиваются на ходу. Реакционная часть попутничества, переставая быть им, тяготеет, напротив, к эстетическим канонам и формам старого порядка, иногда делает это сознательно, не в силах преодолеть в себе органической ненависти к новому порядку, не имея сил выкинуть к его суровым законам, к методам его жизни, к установкам его деятельности, часто просто не понимая их. Все в этом мире борьбы им чуждо, неприятно. Они воспевали гражданскую войну, но не верят в социализм, вернее, не хотят верить в него, не умеют видеть ничего хорошего в том, что происходит, замечая одни лишь язвы, предрекая гибель и мрак. Иные ухитряются скрыть это. Другим хитрость не удается. Фальшивые ноты выдают симулянтов. Есть, наконец, колеблющиеся. Они хотят верить и не верят, сочувствуют и не сочувствуют, соглашаются и возражают «поскольку, поскольку». Одной ногой они в навыках «старого порядка», другой — на нашем берегу. Они тянутся к «началам», но их тянут назад «концы». Они пристрастны к лирике, преимущественно интимной, ратуют за гуманизм, за слова «высокие и прекрасные», и с этой точки зрения сурово отворачиваются от грубости революции; иные из них объявляют себя даже марксистами, но этот марксизм — маргаринный, ибо изнутри они — в плену буржуазной эстетики, литературных канонов старого порядка. В конце концов объективно они двурушничают, работают на две стороны — и нашим, и вашим, перебираются справа налево или наоборот. Любители сладкого, они в суровую эпоху борьбы хотят сочетать литературный мармелад с порохом революции.

Мыслимо ли в ближайший период вообще исчезновение попутнической литературы? Было бы ошибкой утверждать это. Иные из попутчиков могут бесконечно близко подойти к пролетариату. Для некоторых возможен даже

переход на пролетарскую точку зрения. Именно в эпоху пролетарской революции, когда для мелкобуржуазного интеллигента нет другой прочной классовой опоры, кроме пролетариата, такой переход становится практически осуществимым. Не следует лишь забывать, что речь идет о переходе не на словах, а на деле. Легче всех и быстрее всех, на словах, конечно, перейдут на точку зрения господствующего класса пенкосниматели. Мы же говорим о радикальной перестройке, о коренной переделке человека. Одних прокламаций «о переходе» недостаточно. Одна наружная «перелицовка» не удовлетворяет. «Нет, товарищи, выворачивайтесь нутром!» Об этом произошел даже небольшой спор у нас с конструктивистами. Мы его напомним в нескольких словах.

16

Группа конструктивистов, числившаяся в среде «попутчиков» революции, против такого определения ее литературного естества запротестовала. Корней Зелинский не так давно от лица этой группы заявил, что его сердцу ближе наименование «сопролетарский».

Если бы суть заключалась в перемене «ярлыка» — стоило разве об этом говорить? Есть писатели, называющие себя «пролетарскими», когда в них «пролетарского» естества под микроскопом не отыщешь. Есть писатели, продолжающие считать себя «попутчиками», давно перестав быть ими. Дело не в ярлыках. Дело в «существе».

Прежде всего: что есть «сопролетарский»? Это, очевидно, не «пролетарский» писатель, иначе к чему изобретать столь неуклюжий термин? Но писатель, который, являясь непролетарским, идет с пролетариатом, и есть собственно «попутчик». Тов. Зелинский полагает, что «попутчик» рано или поздно обязательно отстанет. Но это неверно. Попутчик может отстать, — на то он и попутчик. Но это не значит, что всякий попутчик обязательно отстанет. Поскольку пролетариат, гегемон нашей эпохи, прочней и крепче строит основы будущего, тем прочней и крепче будет становиться связь с ним революцион-

ной интеллигенции. Чем тесней связь, тем больше оснований попутчику по существу быть «союзником». Не следует, кроме того, отождествлять понятий «попутчик» и «попутничество». «Попутничество» — величина постоянная (относительно, конечно!), «попутчик» — переменная. Одни попутчики могут уходить вправо или влево, другие приходится справа или слева. Но «попутничество» как литературное течение с переменным составом будет долго сопровождать революцию.

Для некоторой части попутчиков — наиболее талантливых, наиболее честных, наиболее преданных революции и пролетариату — не возможна перспектива окончательного перехода на точку зрения пролетариата. Но этот переход произойдет лишь тогда, когда писатели не только идеологически, но психологически подойдут бесконечно близко к пролетариату. В политике мы имеем пролетарских революционеров из непролетарских классов. В области искусства такой процесс запоздал по известным культурно-историческим причинам. Но он уже происходит на наших глазах, и чем больше успехов будет делать пролетариат, тем быстрее станет разворачиваться этот процесс. Следовательно с точки зрения «существа» дела вопрос заключается не в том, чтобы налепить новый ярлычок, — «сопролетарский» или какой-нибудь иной, — а в том, чтобы менять старые точки зрения, перестраивать внутренний строй, идеологический и психологический, отражать эту перестройку в произведениях искусства, ликвидировать «концы», создавать «начала». Литературная номенклатура должна базироваться не на субъективных пожеланиях и претензиях отдельных литераторов и литературных групп, а на фактах творчества. Не на словах, а на делах.

17

Изменившиеся общие условия изменили и характер требований, предъявляемых попутничеству. Самый смысл термина «попутчик» получил новое конкретное наполнение. Теперь попутчиком мы не назовем писателя, считающего вопросы социалистической реконструк-

ции делом далеких перспектив. Напротив: тот перестает быть попутчиком революции, кто в реконструктивный период не принимает социалистической реконструкции. Потому-то многие из старых попутчиков, оставшиеся на старой попутнической платформе, перестают ныне быть попутчиками. Наполнившись современным содержанием, попутничество как литературная категория продолжает принимать участие в создании искусства нашего времени, а значит и в самой социалистической реконструкции. Изменилось также его относительное положение среди других отрядов советской литературы. Оно утратило ведущую, главную роль. Но оно попрежнему имеет в своих рядах много блестящих талантов, одушевленных желанием работать для революции и коммунизма. Было бы неразумным не заметить, что среди произведений, посвященных художественному отражению реконструктивного периода, видное место занимают «Соть» Л. Леонова и «Гидроцентральный» М. Шагинян. Если в известный период для некоторых представителей нашей критики была характерна переоценка роли и значения попутчиков вообще, не меньшей ошибкой было бы сбрасывание с весов современности этого отряда, еще далеко не вы-

полнившего своих революционно-литературных задач и не исчерпавшего своих богатых возможностей.

* * *

Смысл «реконструктивного» периода широк и глубок. Мы «реконструируем» не только наше хозяйство. Реконструируется вся наша культура, быт, наша философия и психология, наука и искусство. Перестраивается, наконец, сам человек.

Столкновение «концов» и «начал» — это борьба двух культур, двух миров, двух порядков — старого и нового.

Кто не ставит перед собой вопросов своего собственного внутреннего переустройства, кто не ощущает необходимости покончить в самом себе с «концами» и воспринять «начала», т.е. взглянуть на мир по-новому, отбросив старые точки зрения, навыки, вкусы, — тот обречен остаться объективно с одними «концами», без «начал», т.е. с «буржуазным порядком» против порядка революции, создаваемого пролетариатом.

Никакого нового искусства не будет и не может быть вне того и помимо того нового, что приносит с собой революция.

«Концы» и «начала» непримиримы. Третьего не дано.

Люди и факты

1. А. Аграновский. Почему воют. 2. Всеволод Лебедев. Земля и коммуна. 3. Дмитрий Стогов. На сухонских предп. иятиях.

1. ПОЧЕМУ ВОЮТ

А. Аграновский

«А впрочем, и не все ли равно? В конце концов, чем скорее, тем лучше. Мне иногда хочется завить по-собачьи или под трамвай броситься, чтобы разом. Вернусь со службы, отосплюсь и, верите ли, рад всякому скандалу на кухне, всякой ссоре из-за крана в ванне, только бы не думать, только бы не оглядываться».

После процесса «Промпартии» такие строки читаются с особым удовольствием: враг разоблачен, вскрыта вся система «приводных ремней» от Пуанкаре через Абрамовича к Рамзину, и белой эмиграции действительно ничего другого не остается, как выть по-собачьи или под трамвай кидаться.

Но в данном случае вопрос стоит несколько иначе. Приведенная цитата, взятая из корреспонденции в «Социалистическом вестнике», писалась и была напечатана задолго до процесса. Московский корреспондент «Социалистического вестника» отсыпался, скулил и скандалил возле уборной еще за много месяцев до разоблачения роли меньшевиков в подготовке интервенции, когда, казалось бы (в преддверии «больших событий»), были все основания ликовать и бодрствовать. В чем же дело? Что приводило меньшевиков в состоянии ипохондрии даже в те «светлые» дни? Почему печаль и уныние вместо боевого клича?

Последующие строки корреспонденции в «Социалистическом вестнике» дают исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Грусть подпольного

отобразителя советской действительности далеко не так наивна и невинна, как это может показаться, да и не о грусти идет речь. Меньшевики готовят вместе с международной буржуазией интервенцию против СССР, но делают это своими особыми путями. Они — «социалисты», им нельзя открыто призывать к вооруженному наступлению, их помощь интервентам должна выразиться в другом, — они должны в таких мрачных красках представить внутреннее положение Советского союза, чтобы необходимость интервенции напрашивалась сама собой. Надо показать, что жизнь в Советском союзе дошла до той точки, когда советскому работнику действительно ничего другого не остается, как выть по-собачьи.

«Горы трупов».

«Слезы и кровь».

«Сухой и мокрый, холодный и горячий террор».

Вот их метод подготовки интервенции. «Письма из Москвы» должны изобразить ужас, развал, малярию.

А дальше? дальше следует «естественный» вывод:

«Крикните им: не покупайте хлеба у голодного! Толкайтесь во все двери! Нынче осенью нам карачун, друг друга есть будем».

В СССР голод. Скоро люди будут поедать друг друга. Между тем иностранцы продолжают торговать с большевиками, косвенно укрепляя их этим. Толкайтесь же во все двери! Приостановите советский экспорт, поймите, что,

если этой осенью не удастся задержать рост советского хозяйства, всем меньшевикам и их хозяевам — карачун.

Слово в слово, как показывал Рамзин, Федотов, Осадчий и другие. Крестовый поход, демпинг и интервенция обязательно осенью 1930 г... Но у Рамзиных было написано на знамени «реставрация», а Абрамовичи — «социалисты».

Как жаль, что в условиях исключительного нагромождения материалов суд не мог подробно остановиться на деятельности зарубежных меньшевиков, а ограничился лишь установлением основных фактов, избличающих их участие в подготовке интервенции. Какой поучительный это был бы материал для тех заграничных рабочих, которые продолжают еще пребывать под идеологическим гнетом международного меньшевизма.

«А все-таки, — кончает корреспондент свое «письмо из Москвы», — где-то еще надежда тлеет. Что-то все-таки растет. А что выйдет — кто у нас скажет: может быть, и стеариновая свечка».

Надо отдать справедливость: «Социалистический вестник» делает материал неплохо. Статья выдержана до конца. Раньше показан ужас советской жизни, несколькими мазками рисуется неминуемый карачун, если не будут приняты меры, а в заключение делается тонкий намек, что не все потеряно. Пусть читатель будет спокоен. И мы, меньшевики, с усами, и мы кое-что предприняли. Еще надежда тлеет, что-то растет и, может быть (читай: верь и надейся), дело кончится стеариновой свечкой. Дело выгорит.

Повторяем, писалось все это задолго до процесса «Промпартии», когда широкие массы не знали еще, в чем смысл того, что «Социалистический вестник» называет «что-то». Корреспонденция в «Социалистическом вестнике» совпала по времени с визитами лидера русских меньшевиков Абрамовича в Торгпром, где шли сговоры о «будущей России». Говоря о тлеющих надеждах, корреспондент имел в виду именно этот торг Абрамовичей с Коноваловыми и их соглашение совместных с Пуанкаре действий по организации интервенции против СССР. Корреспонденции в «Социалистическом вестнике» дополняли толь-

ко закулисные разговоры «новыми фактами», подготавливая общественное мнение...

Вы помните те четыре векселя, которые выдали Рамзины своим парижским хозяевам? Разрушение советского хозяйства, шпионаж, диверсия и разложение Красной армии. Вы знаете также, что Рамзины сумели, и то в небольшой части, организовать (через посредство К. и Р.) шпионаж, с остальными тремя векселями они позорно обанкротились. Но все это вскрылось только на процессе. До процесса деятельность контрреволюционных вредительских организаций представлялась именно в этих четырех направлениях, и меньшевики были, конечно, среди тех, кто пытался горячо участвовать в реализации выданных векселей.

Ряд других корреспонденций, помещенных в тот период в «Социалистическом вестнике», показывает, как пыжились меньшевички, чтобы лягнуть и своим копытом, как они изощрялись на поприще наускивания на Советский союз, благо ничего другого, более реального, они не в состоянии были сделать за полной беспомощностью.

«Настроение у всех отчаянное, — писали они «из Москвы». — По сравнению с 1918 г. положение ухудшилось. Деревня совсем разорена».

«Червь бесплодия разъедает советскую промышленность. Не большевики владеют планами, а сотворенный ими хаос бесплановости кружит их самих».

«Массовые казни, тысячи арестов». «Буденный в резкой форме заявил, что ГПУ делать нечего, что оно сочиняет заговоры. В Москве по радио было сделано правительственное опровержение всяких слухов о конфликте между Буденным и ГПУ».

Советский союз хозяйственно разваливается, деревня разорена. Хаос бесплановости толкает большевиков в пропасть, большевики думают спастись террором, Красная армия (буденновцы) против советской власти...

Два векселя уже реализованы! И каких? Основных.

«В советских кругах усиленно говорят о том, что центральные учреждения Белореспублики предполагается эвакуировать поближе к Москве».

Сами большевики отступают. Без боя. И что приятнее всего, — с той стороны, откуда должно начаться наступление, из тех мест, где (как выяснилось на процессе) осушались болота и строились бетонированные площадки для французской и польской артиллерии.

За чем же остановка? Чего вы медлите? Берите Россию голыми руками! Разве вы не видите, что Россия «держится только потому, что никому не вздумалось напереть плечом»?

Вот в таких тонах шла подготовка к интервенции со стороны тех, кто клялся на всех углах и перекрестках и писал на своем «знамени», что вооруженная интервенция безоговорочно отвергается международным социализмом, что речь идет о «свержении системы коммунистической диктатуры» только путем «всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права»... Хороши демократы!

Срок интервенции пришлось оттянуть. Пусть людоеды еще год друг друга едят, — ничего не поделаешь. Те, в чьи двери толкались меньшевики, сами не готовы. Выть воют, но договориться не могут. Да и в Советском союзе невесело стало для вредительских и контрреволюционных организаций: вместо реализации векселей — провал за провалом.

Вслед за позапрошлогодними шахтинцами и прошлогодними украинскими контрреволюционерами (СВУ) дело «48», затем провал подпольного меньшевистского ядра в Москве, возглавляемого Громаном — Сухановым, арест Кондратьева — Чаянова, арест «Промпартии»...

Эмигрантские лидеры лишаются последних остатков «демократического» достоинства. Если во время процесса СВУ, уничтожившего украинский филиал международного меньшевизма, Абрамовичи — Даны пытались еще сохранить видимое спокойствие, то сейчас, кроме бешеной слюны, ничего у них не получается. Слишком близко касается арест Громана и Суханова собственной шкуры их берлинских «вождей», слишком много знают Громаны и Рамзины об истинных планах Абрамовичей.

Хотя за последние два года ожидания интервенции у меньшевиков и без

того распустились языки, хотя накануне спасательной осени они особенно обнаглели, теперь бешенство Абрамовичей не имеет никаких пределов.

Общий тон, начавшийся в связи с приближением процесса вредителей и агентов интервенции, травли Советского союза можно охарактеризовать восклицанием той убогой старушки, которая впервые увидела верблюда:

— До чего большевики-мерзавцы лошадь довели!

Только знаменитая рижская информация может — и то не целиком, а в известной мере — конкурировать по наглости с информацией «Социалистического вестника» и всех остальных меньшевистских газет и журналов.

Одному московскому корреспонденту американской меньшевистской газеты было прямо заявлено, что его корреспонденции не могут больше печататься: «тон» статей не подходит для газеты. Этому корреспонденту целый год аккуратно высылали жалованье, но так же аккуратно целый год не печатали ни одной его строки.

Зато печаталось вот что:

«Лубянская мясорубка перешла на непрерывку».

«Говорят, что немалое значение имеют сейчас бывшие жандармы и охранники, бывшие на испытании и доказавшие свою преданность».

«ЦК ВКП(б) спешно переезжает в Кремль».

«Как вы, наверное, знаете из газет, этим летом Крыленко совершил поездку в Среднюю Азию. Поездка носила характер поездок щедринских городничих: из округа сгоняли народ для поклона. Крыленко требовал, чтоб собравшийся «революционный народ» при его появлении опускался на колени и, коленипреклоненный, выслушивал его речи».

«Крыленко уже несколько лет нервно болен. У него постоянные ночные галлюцинации. Больше чем вероятно, что именно он выступит на процессе».

Это не простая клевета. Вся эта гнусь нужна для более высоких целей. Она нужна для того, чтобы забежать вперед и подготовить общественное мнение Европы насчет неприятных сюрпризов, которые могут принести процессы. Надо

заранее предупредить, что все материалы, все разоблачения большевиков об участии меньшевиков в подготовке интервенции неверны, выдуманы, вымучены.

«Чтобы добиться сознания, к арестованным применяли методы следствия, близкие к прямой пытке. Как известно, людей зачастую допрашивают по 8 часов под ряд, не давая минуты передышки, при чем за это время сменяется по 6 следователей. Применяется также метод помещения людей попеременно из жарко натопленной комнаты в холодную и обратно. Доведенные до невменяемости, люди подписывают что угодно».

Потеряв последнюю надежду на «степариновую свечку», меньшевики окончательно безумеют. В поисках наиболее удачных методов опорочения процесса «Промпартии» они так неудачно лгут, что сами вынуждены писать на себя опровержения.

То появляется информация, что все арестованные расстреляны, то появляется другая, что арестованных сослали на 3 года в Соловецкий лагерь. То вдруг преподносится разоблачение, что весь обвинительный материал выдуман, ибо в нем упоминаются вымышленные фамилии: обвиняемый инженер Ларичев давным давно расстрелян, такого человека нет в природе. То, наконец, после всех этих писаний появляется самое свежее, самое сенсационное известие:

«Несмотря на сообщение ГПУ, что арестованные сами сознались в участии в контрреволюционной организации, советская власть настолько не имела сколько-нибудь убедительных фальшивок, что от сооружения судебного процесса, хотя бы на подобие шахтинского, пришлось отказаться».

Значит, еще не расстреляны и не сосланы пока, но будут келейно сосланы в Соловецкий лагерь и расстреляны...

До процесса вой преследовал цель подготовки общественного мнения на счет необходимости интервенции, и для этого выгодно было изобразить даже меньшевистских деятелей, оставшихся в советском подполье, в роли скупающих

из-за крана в ванне. Сейчас вой льется уже из «чистого сердца». Провалилась вся постройка, пришел карачун, и надо кричать караул. Кто громче будет кричать, того, быть может, услышат.

В хоре взбесившихся сильнее всех пищат русские меньшевики, но от них не отстают и Бауэры, и Ренодели, и Блюмы. Еще бы: на специальном совещании в начале 1930 г. у французских социал-демократов с Керенским была достигнута полная солидарность в вопросах о методах вооруженного вторжения в СССР, а тут — вместо интервенции всемирное разоблачение и всемирный скандал. Как не завывать по-собачьи, как под трамвай не броситься!

Но выть надо и по другому поводу. Надо забежать вперед и подготовить общественное мнение еще для того, чтобы Абрамович мог лично выступить с «протестом» на об'единенном заседании бюро РСИ и ЦС международной федерации профсоюзов, чтобы международный меньшевизм мог выступить с целой декларацией по поводу «зверств» в СССР.

«Совместное заседание ЦС МФПС и бюро РСИ апеллирует к совести цивилизованного мира, призывая употребить все свое влияние, чтобы не допустить дальнейших палаческих расправ с невинными людьми, обычно обвиняемыми во «вредительстве» или «заговорах».

К кому адресуются представители вожди II Интернационала? На чью «совесть» стараются они? О каком «всемирном влиянии» напоминают меньшевики «цивилизованному миру»?

Меньшевистский адрес известен. Цивилизованный мир—это Раймонд Пуанкаре. Все его влияние—верные вассалы—Польша и Румыния.

Ибо кто другой, кроме международных Пуанкаре, кто другой, кроме акулы капитализма, может поддержать призыв «социалистов» об удручении единственной советской страны в мире?

Кто другой, если не сам Пуанкаре, предложил меньшевикам выступить с этой декларацией?

2. ЗЕМЛЯ И КОММУНА ¹⁾

Всеволод Лебедев

Синее пространство овладело землей.

Знакомое, как стук молотка, теплое, могучее, сверкающее синими раскатами.

Над этими синими делами, лесами, голубыми землями стоит еще одно неоткрытое пространство, звук: коммуна.

Пока еще одна земля — тягучими полосами, водоворотом красок. Силен здесь воздух и сильна к будущему история.

Прячась от ветра на простор стынущих сумерек, еду на паре гигантских добрых коней.

Позабывтая ночь сверкнет кое-где на дорогах медленной тьмой, а в сердце, как удар динамитного взрыва, одно: путь.

Наш путь по лесам, по оврагам — к смуглому солнцу зауральских полей, к будущей коммуне.

Все коммуны такие:

«Восход»,

«Путеводная звезда»,

«Рассвет»,

«Путь Ленина».

Даны эти имена самими мужиками, определявшими свой восход и свой путь.

У собеседника моего глухие тугие губы.

Иногда он обертывается и глядит прямо на меня ядерными глазами, исподлобья.

Он говорит мало:

— Сейчас начался «Гигант»!

Точно звезда началась, о которой я много слышал и все не могу уяснить, что это такое.

Поля, природа — это «Гигант». На бескрайнем пространстве сибирского воздуха зреет и владеет землей мысль — мужицкими руками переменить, очистить, освободить...

— Что?..

Рядом человек из «Гиганта». Он говорит: «В этом месте коллективизировано все».

Для меня все — это пока еще степь, не отуманенная ничем, без строений почти. Но вот вдаль, в изгибе оврагов — плотным большим гусем лежит село. Мы проезжаем мимо него все навстречу и навстречу «Гиганту».

Как же эта пустота — «Гигант»?

По какому-то особенному смыслу, которого я понять не могу, — это «Гигант», и мой слутник один из владеющих «Гигантом».

Насыпая табаку в трубку, ровно, как огонь из-под угольев, он говорит — таким знакомым голосом:

— Ничего — мужики сошлись и все коллективизировали... Теперь хорошо работают.

Где-то я видел прежде это спокойствие и внутреннюю плавность. Для нас «Гигант» — это только рыдающие заливами огня и руды доменные печи.

А вот нашелся человек, который слово «Гигант» произносит как родное, свое, с колыбели близкое по травам, по сердцу близкое.

Где я видел прежде этот смуглый уголь лица, блеск глаз, похожий на зарево костра, и такие руки? Везде! И больше всего в каких-то древних книгах, какие, может, никогда и не читал, а только снились.

Напрягаюсь волей, сознанием я стараюсь разглядеть эту землю — она близки моего сердца. Касается меня, как волос. Сейчас войдет в меня.

И вот — приехали!

Село. Совсем не похоже, что оно с кем-то ведет войну за «Гигант». Мерным гексаметром по черным землям идут гуси.

Глаз отрывается немного от дум, от земли и останавливается на домах. На всем зауральская величина и гладкость. На всем простор и уверенность.

Так построено, что не заблудишься, не потеряешься, себя не обманешь.

Я привык к системе наших русских деревень, где дома заблудившимся гусем висят над оврагами, глядят, как глаза старух из далеких кочек, из мертвого простора земли.

Здесь — на фундаменте.

¹⁾ Из книги «Земля Гигант», печатающейся в Издательстве писателей в Ленинграде.

И верно — Ирбитский округ. Киев был «матерью русских городов», и Ирбит — мать такая же каких-то городков и сел. Молоком этой матери несет отовсюду.

С чисто срубленных и отделанных стен, с незнакомой росписи печей и потолков. Везде на дверях голубое раздумье, намалеваны цветы — так крепко, как у нас на подносах.

Видно, что с этой краской вынашивались думы о теплом хлебе, о большом хозяйстве — независимом — и отделенном от сети русских городов привольем этого хлеба.

Здесь уклад — особенный, и от него веет свободой хлеба. Нет того, в чем чувствовалась бы молитвенность, сжатые руки перед иконой, того, что возникает во многих углах русского севера как исторический склад, как песня.

Ирбитский крестьянин живет, как на новом месте, не зная границ своей земли.

Если у моей знакомой старушки из Заонежья все разграничено морями и океанами, темными и светлыми силами, — везде пределы земли, пределы сил, а над краями земли архангельская рать, — сибирский мужик живет больше безмерными своими сумерками. Он как на корабле.

Там сложился миф, здесь на корабле плывут в бескрайность новой земли, в «Гигант».

Избы украшены немногими случайными иконами. А церковь среди села стоит одинокая, как пенек. Закрыга. «Не получили еще разрешения взять эту церковь. ЦИК медлит. А было общее постановление.

Есть коммуна, где церковь закрыли единогласно. Все, даже и старухи. Да еще не дают открыть — для клуба. Ждут разрешения из Москвы».

Говорится это с теми равнодушными и твердыми лицами, которые бывают у гребцов, когда они плывут на широкую даль реки.

Я ищу эпоса везде: в срубленных встарь бревнах, написана у меня книга о лопарях. Здесь — в стране, закрывающей церкви, я не теряю своей роли наблюдателя эпоса.

Вот старуха мать и хозяйка моего первого спутника по «Гиганту». Она

глядит немного гневно и страдающе. Как потревоженная богиня. Она глядит незнакомо и гордо, почти не по-человечески. Я не умею при ней садиться и заговорить.

Старуха старается меня разглядеть — какого мира я человек и куда приехал: в «Гигант» или так вообще. Но почти все сюда едут именно в «Гигант» — на новую, неестественную землю. Чужой речью заполняют село инженеры, агрономы и политработники.

Старуха кормит таких приезжающих. Она немного, как во сне, сбилась. Ей представляется Гигант, — не идея, не мысль-Гигант, а какое-то существо, которое в роде будет отнимать детей, ставить всем печати. Глухо и немного она говорит о «Гиганте».

Все точно в одну реку пошло. Коров загоняют в общие дворы. Сын идет на артельную работу. И дома почти не остается: каждый приезжающий влезает в их дом.

— Сами вы начали «Гигант»?..

— Никто не начинал. Сговорили...

В глазах медленно, как мед, собирается дума.

— Сговорили так. Сразу решили. Мы и не знали ничего.

— У вас же есть старые коммуны?

— Коммуны?..

О старых этих коммунах я слышал. Они в стороне от больших сел. В степях. Здесь крупные села — таких сел несколько: они живут ровным покоем дома. Коллективизируются тихо.

Меня, как серого волка в лес, тянуло прежде всего к старым коммунам.

— Коммуны. Коммуны! А в этих коммунах кто!

Тут сказала разница.

С одной стороны — женщина, владевшая домом, детьми, рядом — церковь, в которую прежде ходила.

И живущие в стороне от прежних торговых дорог, ирбитских ярмарочных путей уже не мужики, а какая-то темная новая поросль. Люди без домов, без скота.

Коммунаров не считает соседями.

Говорит о них, как о людях темных, ей незнакомых глубин.

— В коммунах-то есть нечего. Недавно в село приходил один, просит: покормите меня.

Коммуна, стало быть, без лошадей, скота, без хлеба.

Чем же она держится?

— Так какие люди, разве это люди!..

И в рассказе старухи возникают передо мной полуинвалиды, полупьяницы. Вообще странного порядка люди. Старуха говорит о них, как об обреченных на лень, голод, на какую-то последнюю суету, за которой только конец мира.

В коммуны, выходит, собираются только лишние люди.

— Коммуна скопище отверженных, которые, бросив крестьянское небо, устав рожать детей, сошлись вместе переделывать порядок.

— Гигант стоит среди людей и ставит печати.

Но даже в этом рассказе я почувствовал овладевшее теми людьми зарево какой-то мечты и силы.

Все ярче стали мне рисоваться коммуны: действительно на краю земли и на краю возможностей человечества.

И я попросился с людьми, которые только входили в «Гигант». Осмотрел строящиеся новые постройки: общежитий, общих дворов, клуба. Того действительно гигант, в котором должна была задохнуться старая деревня. Сходил в редакцию и оргбюро и увидел там не совсем обыкновенных людей. «Гигант» — эта темная стучащая машина — забирает людей на целые сутки.

Здесь действительно нужно отречься и от родителей, и от дома. Рабочего дня здесь нет. И выходной день не соблюдается. Люди живут, как на фронте в окопах. Только вместо военной песни — работа.

Работа здесь, конечно, есть. Она, как кислород, залила «Гигант» и заставляет приехавших немного иначе жить.

В роде того, что строится шестидесятиэтажный небоскреб. И некоторые люди работают уже на шестидесятом этаже. Их не видишь, но узнаешь их по стуку молотка. Этот небоскреб еще невидим, но строительное напряжение чувствуется и охватывает прохожих.

И передо мной везде в воздухе леса, леса — так реально от близости к работающим людям может вообразиться новый мир.

Но вот я опять в степи.

Темными мускулами встает передо мной степь.

Реет крепким воздухом, исполинским. И снова — село.

В этом селе везде остатки прежней торговли — тугими железными лапами стянутые зеленые двери. От них веет пудовой медленностью купечества. Большие с белыми узорами дома, — ясно! здесь был один из центров хлебной торговли.

Ямщик гонит лошадь в кривую улицу. Я поставлен в дом братьев-кузнецов.

Людей точно заставили переживать вторую молодость. Они ходят с какими-то нечаянными глазами.

Так чувствовали себя люди на луне. Я, приехавший в «Гигант» всего три дня, уже в этом «Гиганте» акклиматизировался, понял, кто куда тянет.

Я почти хозяин в этих домах, которые объявили общими. Приезжие люди, не спрашиваясь, заходят в дом кузнеца, и сегодня на полу большой комнаты спят пять человек.

На село это набросили якорь и подтянули к «Гиганту».

Широкими доверчивыми глазами смотрят на меня эти захваченные в плавание люди. И я чувствую большую ответственность за свои поступки.

Я, как всякий приезжий с определенным планом, — часть гигантской планеты, которая своим движением сбивает с прежнего пути осколки других планет.

И меня начинают спрашивать как своего.

— Стоит ли итти в «Гигант»...

— Все равно — одно к одному идет. К общему хозяйству.

Одна из хозяек подходит ко мне, когда я пью чай, и задает опять этот вопрос большого калибра:

— Нужно ли итти в коллектив?

Я вижу, что ей нужно как-то объяснить по-особенному. И это не можем сделать ни я, ни спящие на полу молодые хлебозаготовители.

Надо абсолютно самому уверовать в этот громадный, на краю нашего мира стоящий мир. Я сам здесь приехал смотреть и учиться.

И мы с хозяйкой гадаем.

— Как опять, вся еда будет общая. Себе уже ничего не состряпашь.

Это одна из ее основных и живых мыслей.

Все глядят с напряжением на эту встающую звезду. Точно обнажилась ось мира, и вокруг нее стоят и толкуют — куда повернется.

А она повертывается.

— А мы посмотрим. Пусть бы уже сначала молодые вошли.

Есть такие молодые, которые, по словам хозяйки, отрекаются от себя. Уходят в коммуны, в работу до того, что за них боязно делается...

И я еду в коммуны, недалеко отстоящую от села.

Как хвост зверя перед охотником, неожиданно встает передо мной шесть больших, не похожих на деревню зданий, сделанных с другой крепостью и с другим расчетом, чем деревенские дома.

Везет меня председатель коммуны, в нем особенная живость и усердие ко всем вещам.

Из разговора с ним я понял, что раньше коммуна жила как бы на острове.

Окрестные жители смотрели на нее как в темный лес.

Коммунарам нужно было жить, не считаясь с окружающей жизнью. И многие уходили и опять возвращались в коммуны.

Но все-таки коммуна создана. Создана она по-новому, с новыми порядками. Поставили дома, и вокруг этих домов коммуна будет расширяться.

О домах. Я спрашивал, как и с чьей помощью были выстроены дома. Дома большие, со многими квартирами и со всем без того оттенка, который дает жилому помещению крестьянская семья.

Дома коммунарами были построены по своему замыслу. Никто им не помог — в коммуны прежде из «работников» никто не ездил.

— Сами сидели. Бывает, сидим и соображаем, какой дом строить. Каждый чертит по своему соображению. Но только нам эти дома теперь не нравятся. Комнаты проходные. Мы не умели иных настроить. Теперь строим дом с большим коридором.

И тоже по своему замыслу и усмотрению!

Какой громадный путь прошла коммуна.

Ведь общежития, столовая, ясли — все это появилось стихийно, по замыслу.

«Аппарат» работал в больших селах. Пока вся земля не была коллективизирована, никто не помогал коммуны. Я сказал, что в домах нет оттенка семейной жизни. Действительно, здесь новый тип дома. Самоварного чада и запаха углей нет. А дети — сила семьи — в яслях и на площадке.

— Сейчас покажем ясли...

Пошли мы осматривать это хозяйство. В двух комнатах — будущее коммуны. Председатель показывает детей, — всех сообща, — не вглядываясь в них, но с оттенком хозяина: дети содержатся хорошо, сидят и едят с чистого стола. Я попросил показать мне своих детей.

— Да есть где-то и мой, — сказал председатель и присмотрелся, как к десятку яиц, — все дети были подстрижены и одинаковые.

Своего он показал без того оттенка, который бывает у отцов, — он показывал площадку как хороший птичник. И, выходя, сказал: — Пожалуй и отвыкаешь от детей. Не видишь их. С утра до ночи здесь...

И сам председатель все время в раз'ездах по делам коммуны. Так семья перешла в коммуны.

И я вижу, что на всем этом есть строгая рука, забота об общем доме.

Все сделались подвластны какому-то движению, изменить все и нашли в себе запас силы.

И мне многое в этом необыкновенно.

— Сейчас покажем скотный двор...

И мне двор показали с той же деловой гордостью, как и детей.

Так я осмотрел коммуны.

Потом пошли есть.

Я вижу себя уже причастным к коммуны.

Мы сидим на совете и решаем общие дела.

И я также решаю, ибо каждый проходящий в коммуны, близкий к ней духом, сразу хочет здесь все решать и вместе со всеми думать.

Коммуны захватывает.

Каждый вопрос здесь — основной и принципиальный, и его надо решить до дна.

Заседания в коммунах отнимают много времени. В некоторых совет коммуны заседает чуть не ежедневно. И самый основной вопрос — распределение рабочих рук, отыскивание людей.

Здесь я обобщаю впечатления от нескольких коммун, основываясь на своих почти стенографических записях заседаний.

Нужно отыскать заведующего хозяйством. Председателю коммуны все больше приходится ездить во внешний мир по делам «коммуны».

— Трудно найти такого человека...

Думают, ищут.

На войне проще было. Сейчас гораздо труднее положение.

— Что на войне! У нас Никита Федорович при военном коммунизме областным следователем был, а теперь стал обыкновенным пьяницей...

— Старичка бы Ивана Матвеевича...

— Он ничего — рассудительный. Ну — провизию выдавать, с бабами спорить. А поставь его заведующим — не выйдет.

Почему не выйдет?

У коммуны опыт свой, внутренний, сложившийся стихийно. Можно использовать только своих людей, свой опыт. А своего не хватает...

Сидят и думают, как перед грозой.

— Ивана Александровича разве. Он парень молодой и развит с политической стороны.

— Мы его с политической стороны и употребим. Тут старика нужно.

Народ сходится на молодом. Больше некого. Молодой встает и взволнованно говорит:

— Если что, должны учить...

— Поучим...

Еще вопросы.

— Нужно человека отправить на курсы в рабфак.

Опять у всех натуга в глазах.

— Кого отправим?..

— Парни бы и были. И хорошие, — говорит председатель, — да неграмотны. Никого нет, кроме Мирона Алексеевича...

— Мирон Алексеевич какой работник, — высказывается крепкий скуластый коммунар, — он ни на какую работу не идет. Его к трактору поставили, он от трактора ушел. Таких нам не надо посылать...

— У меня совсем противоположное мнение, — говорит председатель. — Он со стороны работы слаб, но развит с политической стороны. Там его выкуют...

— Мы его здесь куем, а он не куется Я против.

Спор был долгий.

Во многих коммунах выяснилось:

Открыты в «Гиганте» курсы, школы, крестьянский университет, а в коммунах людей туда подобрать трудно. Грамотный человек один, на нем держится вся коммуна, без счетовода не оставишь...

В «Путеводной Звезде» коммунары, как и во многих других коммунах, собираются в столовой.

Столовая — очаг коммунального быта.

Почти в каждой коммуне найдешь женщину, не расстающуюся со столовой.

Эта хозяйка на сто—двести человек.

Ее труд больше 12 часов. Летом с 4 до 8 вечера. Вот от этих женщин берет коммуной. Это — уставщицы быта.

— Как же вы ее сменяете? — спросил я в одной коммуне.

— А редко когда смену даем. Заменить нечем.

— Она у нас непобедимая работница.

Говорят коммунары друг о друге как солдаты на фронте: нельзя отпускать с работы человека — коммуна на нем держится.

И есть в быте многих коммун та пуританская твердость, которая рушит камни и возводит города.

Питание в столовых часто бедное. Но это общее питание. Сюда нужно садиться раздевшись, без шапки. И за этим очень бедным столом крепкий и уравновешенный быт.

— Собрались все бедняки. Без скота. К нам идут много.

На землю коммуны просятся бывшие батраки, подростки-батраки, рассчитанные хозяевами.

Вот собрание о приеме новых членов.

— Еще есть заявления, — сказал председатель и вынул из папки клочки бумаг.

В них излагалось желание перейти в коммуны, давалась краткая биография.

— Марья Егорова. Кто ее знает?

Помолчали. Коммуна еще не знает нового члена.

Но стены коммуны — для всех входящих. Хозяев коммуна не знает.

Здесь я это почувствовал.

— Принять надо как батрачку. Должны.

Были возражения.

— Имела трех мужьев.

— Это там имела, — сказал председатель, разумея деревенскую волю, — а здесь мы на нее посмотрим. И в случае каких нарушений нашей семейной жизни...

Это тоном строгим, как бы от лица всей коммуны.

Здесь держись!

Другое возражение: если все народ принимать и принимать, — а идет без скота, без имущества, — как прожить в коммуне. Помещать людей негде, все углы заняты. Лишний рот.

Это возражение отмечалось. Коммуна, это — судьба. Перекинулась эта судьба на батрачку — и все, а там видно будет. И приняли.

— Еще есть заявление. Парень просит за себя и сестру.

Работал батраком — теперь хозяин отказал...

Парень был налицо.

Уставший от нужды и долгого пути, оборванный, он сидел на краю стола, точно не о нем шла речь. Парень совсем из других мест. Но, видно, коммуна вне территорий.

— Как ты сюда дошел?..

— Одна тетка указала.

Председатель как-будто не особенно интересовался индивидуальным лицом парня, не задавал вопросов.

Перед ним была проблема принять батрака, и он проводил ее непреклонно.

— Я полагаю с'ездить к евоному брату — почему его не держит. Взять с него алименты. А пока пусть живет...

Так коммуна нашла еще один угол для пришедшего человека. Углы находились со сказанной быстротой. Казалось, что коммуна располагает Зимним дворцом. А теснота громадная.

— Может, пока у Марьи Алексеевны.

— Пускай живет... — согласилась Марья Алексеевна с лицом равнодушным, точно не до нее касалось.

Так двоились и троились углы, и там, где жили Петры Ивановичи и Марья Алексеевны, появлялись еще и еще — чужие люди. Больше молодежь с ее страстями. И страсти, и сила здесь переходили в коммуны — и там должны были развиться.

Это еще не все.

— Ты грамотный? — спросил я подростка.

— Немного учился, — ответил он, не поднимая глаз.

— Он у нас здесь не останется, — за него и за себя ответил председатель. — Мы его сразу в школу. Мы у себя их не держим...

Детей школьного возраста коммуна держит в общежитии при школе — в селе. Около самой коммуны — как и везде почти — нет школы.

В «Путеводной Звезде» я старался найти итоги всем впечатлениям. Жизненность и рост.

— Финансовое положение?

— Задолжали всем членам. Копейками выдаем. Живем бедно.

Все ушло на строительство. В каком-то энтузиазме были возведены громадные дома. И возводятся. И средств нет.

Коммуна растет без средств. Без умелых специалистов, без чужой помощи.

Растет так.

— Жил я у себя в хозяйстве. Так ни-него особенно не замечал. Потом вижу, везде начинает все шевелиться. Вижу — или мне у себя надо что-то делать, или в коммуны итти.

Есть коммуны насквозь из таких людей, не знающих часов обеда, часов смерти, знающих одну коммуны.

Что это — слово, новый быт, реальность?

Ни с кем не поспеваешь говорить. Все на работе — коммуна выходит из-под палец, как тесто в руках пекаря. А люди молчат. И, может быть, забудутся эти полуграмотные основатели коммун.

Вот еще глухая, непросвещенная коммуна. Целая группа их друг около друга — сидят гроздя будущего царства социализма. Возле меня комсомолец-счетовод. Я в темноте лица его не видел. И узнавал по речи. А в речи открылось мне окно в новый мир.

— Устраивали мы проводы парней в армию. Были лучшие коммунары. Мы премировали их. Сказали речь...

Людей здесь премируют, как в других местах породу скота. Охотятся за лучшими коммунарами и премируют.

— Захотелось нам, молодежи, иметь особый дом. Отделиться от стариков.

Дома молодежи затеваются не в одной коммуне.

Как идут в коммуны?

— Бывает на спектакль к нам придет парень или девчонка. После сговорятся и останутся у нас. Так домой и не уходят.

Так неожиданно увеличивается коммуна новыми людьми. Говоривший со мной, видимо, больше всего радел о новой породе каких-то улучшенных, особых людей. Он твердо верил в новые свойства молодежи.

Коммуна напоминает ночлежный дом. С нар, кроватей густо висят головы. Даже не верится, что люди, живущие в такой тесноте, могут чувствовать себя разными семьями, а все вместе коммуной.

Начинается сразу тихий разговор. Люди лежат уставшие. Но лежат они на краю старой жизни к началу новой. Говорят, что здесь собралась самая последняя беднота.

Смотрю я на эту бедноту и вижу, что люди от сел, деревень заперты как бы крепкими горами. Коммуну творят в одиночестве. Даже политика из Москвы в их тесноту не доходит.

И эти люди в своем одиночестве ока-

зываются союзниками больших крупных событий.

Вспоминаю, как в коммуне, еще более глухой и отдаленной, заезженный делами председатель, которому не было времени даже газеты почитать, в тесном, набитом тараканами углу спрашивал меня как об родственниках:

— Как в Москве поживают наши товарищи?.. В общем крепкое дело они закрутили...

Спрашивал он о Сталине, Крупской и других.

А в коммуне «Воля» оказались отделены от московских товарищей не только пространством, но и временем.

— Не знаем, как живут в центрах, — сказал один из этой тесной груды голов с нар, голос его доносился ко мне с табачным дымом, и я его разглядеть не мог.

— ...А в 17-м году мы были в Петербурге, — в Пулеметном полку, — и тогда к нам приезжал Ленин...

Видно было, что Ленин для него старинное личное знакомство, не потревоженное, не измененное никакими газетными известиями: как оно сложилось, так и осталось...

Из этого личного знакомства образ вождя мне встал яснее, чем из газет. Он сохранен, пережит и действителен.

Двое — он из Пулеметного полка, а другой рядом из Волынского — вот она история! — вспоминают ночи и дни боровшегося Ленинграда.

В этих воспоминаниях выплывают знакомства с хорошими людьми, куда-то потом потерявшимися.

События, степь, работа развели сибиряков от этих людей.

Газет коммунарам почти не приходится читать, но какой-то волной они связаны со всеми происходящими событиями, понимают их.

Жалуюсь на тесноту, которая в данном случае была сверхъестественной, мне постлали на полу рядом с кроватью, на которой помещалось целое семейство — муж, жена, ребенок.

Но спать мне не пришлось. Я познакомился с главным населением коммуны. На меня тяжелой артиллерией надели блохи, и через полчаса я был искусан, как змеями. У меня большая привычка спать — и в чуме и на весу —

на дереве, и насекомые меня ели достаточно по разным деревьям. Но здесь вся моя привычка уступила место самому настоящему страху перед насекомыми.

— У нас никто из чужих спать не может, — сказали мне в коммуне. — И сами не привыкли...

Дети не спят, — плачут.

Здесь блохи — стихийное бедствие, которое не смогли побороть.

У меня осталось такое впечатление, что побороть их — все равно что остановить идущую на вас лаву вулкана.

В коммуну врач, как и вообще весь «персонал» окружной и районный, очень редко заезжает. Ведь коммуны — вне административной сети, фактически — это выселки. И люди, начинавшие коммуну, живут на положении отверженных.

На следующий день я увидел, как убивали скот: коммуна готовилась к празднику 7 ноября.

Несмотря на то, что коммуны не богаты скотом, почти везде в эти дни заготавливалось мясо, и вокруг этого мяса — целая страница по истории коммун и даже идей коммунизма.

В некоторых коммунах мясо сдали в общий стол: праздновать 7 ноября должны были все вместе, показать новый тип праздника. В других коммунах мясо раздавалось по членам: каждый мог что-нибудь приготовить и принять гостя.

Многие коммуны на праздники ожидали окрестных крестьян. В других местах получались настоящие съезды. И тут коммуна должна была показать себя своей столовой.

— У нас было постановление, что ни с кого, если кто приехал, скажем, в гости к коммунару или посмотреть, водить его в общую столовую и за питание ничего не брать. (Это постановление относится не только к октябрьским праздникам, но и ко всему году).

Так агитирует коммуна.

Первая старуха, встреченная мною в «Гиганте», которую уже я описывал, — враг общей жизни, — на вопрос о столовых в коммуне, мягко сказала:

— Это верно, при общих столовых бабам легче и продукта меньше идет.

Многолетний домашний опыт хозяйки, стало-быть, примирился с опытом и пробами коммуны.

А готовить пищу в коммунах все-таки не умеют. Не умеют варьировать с продуктами — каждый день одна и та же пища и одного вкуса. И слишком много отбросов.

Были случаи ухода из коммун из-за однообразной пищи. При всем геройстве и послушании кухне тех несменяемых и незаменимых работниц, о которых я писал, недостает работника, способного учесть, размерить продукты.

И в коммуне меня коммунары, как дети, спрашивали об общей пище.

Не забуду одного эпизода.

В одной глухой коммуне на общем собрании народ достаточно разговорился, и мы углубились в самую гущу бытовых вопросов.

Вопросы выплывали один за другим. И больше вносили их пожилые члены. Со стариковской чуткостью и осторожностью они проверяли и себя, и всю коммуну.

Один коммунары — уже в большой старости, человек в роде отца коммунары: радел он всем и каждому и для всего хотел найти исход — поднял, когда заговорили об общественном питании, следующий вопрос.

— Вот Никанор Петрович капусты в мясе не потребляет. Как бы ему сделать, чтобы и он потреблял.

Оказалось, дело в том, что Никанор Петрович не привык к капусте, и если мясо подано, сваренное с капустой, он встает из-за стола голодным.

— Уж которую неделю одну воду с хлебом пьет, — подтвердили другие.

Но сам Никанор Петрович, должно быть, считал неудобным заявлять и терпел общее меню. Старик усмотрел и твердо поставил вопрос.

— Обойдется, — решил за всех председатель, — сумеет как-нибудь обойтись. Сам себе устроит — парень молодой. — Оказалось, что Никанору Петровичу — он в моем воображении вырос солидной такой фигурой — двадцать с небольшим лет.

Он так и не выступил на собрании — не знаю, присутствовал ли при нашем разговоре или нет.

Этот вопрос привел нас к общему, как приспособить питание к потребностям отдельных членов, и решили, что обязательно надо научиться готовить разные блюда, изменять меню.

Подходит праздник: и я еду встречать его в село Байкалово.

В конце села стоит огромный двухэтажный дом. Там весь актив села и целого района — школа крестьянской молодежи.

Школа К. М. в Байкалове обучает более 150 человек, из которых большинство колхозники, а в условиях теперешней сплошной коллективизации все — будущий колхозный актив.

С громадной ответственностью подходишь к такому составу учащихся. Нужно не просто передать им знания, нужно за год обучения в ШКМ сделать их коммунарами, создать их быт.

Препятствий к этому очень много.

Школ I ступени при самих коммунах обыкновенно нет. Если школа в ближней деревне, приходится посылать туда ребят из коммуны, а чаще на все три-четыре года обучения (за вычетом каникул, когда дети — дома) коммуны приходится отправлять детей жить в общежитие в деревню, где находится школа.

Следовательно, возраст созревания и развития дети проводят не в коммуны, в условиях старой деревни. Если прибавить, что часть деревни не совсем благожелательна к коммуны, положение ребят будет достаточно очерчено.

То, что называют общежитием, — обычно тесная изба, которой заведует сторожика.

При всей тесноте коммуна в их быту есть зачатки таких жилищных условий, которые воспитывают человека. А у детей этого нет.

Я попал в Байкалово в разгар хлебозаготовок, когда все общественные работники от учеников до учительства и сельсовета были мобилизованы на агитацию за сдачу хлеба.

ШКМ походила на штаб, откуда посылали ребят во все нужные места

Из ребят выковывался твердый упорный тип общественного работника. И я боялся только одного — не слишком ли их загружают административными функциями и не слишком ли сельсовет держит их на побегушках и использует в качестве рук своего аппарата.

Не остается времени — вечера — для того, чтобы готовить ребят — в их быту — к строительству нового уклада жизни. Ведь в коммуны им придется быть не просто рычагами аппарата, а людьми, которые должны в бытовых мелочах остаться воспитателями коллектива коммуны.

Жажда коммуна в своем культурном работнике огромная. Люди образованные в коммуны приезжают чрезвычайно редко, да и то в порядке гастролерства. Приедет. Побранит одно, похвалит другое и поехал опять по еженой шоссейной дороге. Внутренних достижений коммуны такой гастролер не замечает, — он может даже помешать коммуны.

Был такой случай. В одной из глухих коммуна я выяснил, что 60 процентов членов безграмотны. И выяснил еще одно гораздо худшее.

Более подготовленные, но, конечно, не знавшие никаких методик и программ Гуса, коммунары сами вечерами учили неграмотных товарищей своими способами.

Такие способы иногда бывают лучше поверхностных гастролер методиста из ОНО. Сам выучившийся грамоте человек передает своему ученику большое уважение к грамоте. Он ведет его по всем торным путям, по которым сам шел.

И можно ли вообще протестовать против какого-нибудь способа обучения, считаясь с теми условиями культурной непризорности, в которой живет коммуна!

Однако, это случилось.

Раз в коммуны — об'езжая свой район и, конечно, в первую очередь посещая единоличные деревни (административное отношение к сети) — заехал какое-то лицо, сведущее в вопросах ликвидации неграмотности и вдобавок властью облеченное. Ознакомившись с теми «методами», которыми ликвидировали в коммуны неграмотность, лицо

властью, ему данною, эту ликвидацию остановило и обещало выслать работника.

— Который уже месяц ждем, — жаловались мне коммунары. — Никто не приезжает, а попрежнему учить запретили.

Спрашивали меня совета — не начать ли учить попрежнему, так сказать в подполье от ОНО.

Старым партизанам — их особенно много в этой коммуне — приходится и на книгу нападать партизанскими вылазками, в кустарном вооружении.

В Байкалове я встретился с т. Бетоновым, приехавшим сюда организовать совсем новое по типу учреждение — крестьянский университет.

В один из моих последних приездов в Байкалово я уже нашел университет подготовленным к открытию. Тов. Бетонов совершенно правильно начал создавать свой университет с того, что забрал в Байкалове лучшие помещения, отремонтировал их с фантастической энергией, достал кровати, хорошие одеяла и библиотеку для студентов.

Когда я был в последний раз, студенты уже съезжались и удивлялись чистоте и порядку в комнатах.

Вот правильный удар по старому быту! Начать с того, что ввести приехавшего на два года учиться взрослого колхозника в необыкновенную для него обстановку со всеми обязательствами, которые возлагает на человека чистота, хорошее одеяло, товарищество и книга.

Совсем неожиданной силой веет от этого вставшего поколения, — и оно, наверное, сможет захватить из веков гораздо большее, чем то, что мы ему подносим. Дело идет о воспитании человечества в самом широком и глубоком смысле.

Для нас «Гигант» глухое место. Местные жители жалуются, что московские работники, приехавшие сюда работать, разбежались из «Гиганта».

А «Гигант» — колхоз — это авангард культуры. Туда нужно ехать самым сильным, самым культурным и энергичным.

Ехать не только затем, чтобы учить, но и находить себя. Найти себя можно только в «подлинной» аудиторрии. Мето-

ды, приемы, самое существо культурного творчества должно определяться в Союзе с громадной и активной колхозной массой.

Можно ехать в «Гигант» и не знать, что будешь делать. Но, когда туда приезжаешь, сразу становишься в глубокое русло. И среди этого сосредоточенного народа сразу чувствуешь, какими путями пойдет твое искусство и твой быт.

Здесь для того, чтобы более определить свою мысль, я хочу описать еланских ребят.

Молодая поросль еланской ШКМ выросла почти вся на обгорелом месте. Годы нищеты, гражданской войны, тифа унесли родителей. В те годы многие родители уже становились коммунарами и коммунистами и передали маленьким ребятам свой опыт.

Умирая, отец говорил: «Идите вы в колхоз».

Другой отец, умирая, требовал, чтобы «не хоронили его с попами, так как он был безбожник, а сказали бы в райком».

Такие факты отцовской и своей жизни как повседневное заносились в автобиографию учеников.

Я перечел автобиографии поступивших — это в сущности книга о том, откуда в нашей стране берутся люди с новыми надеждами и расширенным правом на всю жизнь — требовать всего, до нового воздуха включительно.

Большинство автобиографий и начинается со смерти отцов. Это — эпос Сибири, — бедняков, захваченных тифом, потом белыми и приведенных этой огромной останавливавшей все прежние думы мыслью на развалинах старого строить новый мир.

И потому «коммуна» для этих детей гораздо больше, чем для нас. У них нет преемственности с той жизнью.

Отцы умирали, «дедушка верил в бога... но это меня не интересовало» — так и начинают совсем без бога, без быта.

И вот такие первоначальные люди с удивительной чуткостью относятся ко всему, что готово войти в их жизнь.

40 человек полубездомных, полусирот съехало из колхозов и поселилось в общежитии при школе.

Когда я к ним попал, у них не было еще котла для варки пищи, в большом селе не могли достать сита просеивать муку. Колхозы слабо доставляли продукты, — и дети жили на сухом, многие — одними сухарями.

Но их первые дни были проведены сильно и радостно, как вхождение в новый мир. Мне на 2—3 недели жизни у них посчастливилось быть одним из первых их учителей.

Я начал с далеких мест, с краев земли, — описывал, как живут лопари и самоеды, и все более убеждался, как нехорошо, что мы круг всяких учебных программ сужаем по своему интеллигентскому пониманию.

Для того, чтобы в этом приехавшем из деревни революционном активе воспитывать революционную линию, нужно начать с широких космических горизонтов.

Я предложил ребятам написать книгу о себе. Я выполнял этим поручение московского журнала для крестьянских детей «Дружные ребята», посылавшего меня в «Гигант». У этого журнала прекрасная линия связи с деревенскими детьми и умение их слушать.

Они согласились сразу.

И книга быстро росла из тех записей, — о себе, о тракторе, о бабушках, — которые они приносили, и из кусков их биографий. Получился громадный подлинный мир новой деревенской жизни.

Попутно, во время бесед о книге и «как ее писать», на редакционных собраниях мы захватывали вообще всю русскую литературу.

В нашей работе она оказалась живым местом. Мы пишем книгу — а как другие писали?

Усилило настроение в эту сторону и чтение учительницей «Ваньки Жукова» и «Спать хочется» Чехова.

Чехов вошел в революционную героиню борьбы писателя со старым строем.

— Я всегда — и в других школах — видел, что растущему революционному поколению каждый писатель — современник. И только выхолощенному разуму много не в меру усердного педагога и Пушкин, и Гоголь представля-

ются в объеме клеточек учебной программы.

Просматривал сочинения ребят о Чехове:

«Товарищ Чехов был крепостной крестьянин, всю жизнь борющийся с царским строем...»

Он писал больше про положение крепостных крестьян и батрачат, про их труд...»

И эта фантазия реальнее многих томов критических статей о Чехове.

Заодно вспомним, как в одной ШКМ в Курском округе ребята писали мне сочинения о Пушкине, пользуясь небольшим рассказом о поэте преподавателя и вспомнив отрывки из «воспитания Гринева» и «Арапа Петра Великого...»

Часть, отождествив Пушкина и Гринева и их обоих слив с современностью, писала:

«Пушкин еще не родился, а отец записал его в Семеновский полк красным офицером...»

«...Записал его в ячейку, чтобы было легче служить...»

«Раньше у помещика диге не обучали. А так что бы умел пройтись по улице — руки в карманы да обойтись с девчатами.»

«У Пушкина был кабинет с книгами, куда ходили рабочие и крестьяне, когда царь узнал...»

И Пушкин растет как революционер: «Он сам был из крепостных крестьян. Он описывал больше крепостное право...», «про то, как эксплуатировали при старом строе...»

«Пушкин произнес конфуз на царя...» и

«...был сослан в Сибирь...»

«Пушкина убил француз по приказанию царя...»

А один написал еще, что раньше поэт писал не так, как ему хотелось, а что велели, «скажут про собачку — писал и про собачку».

Здесь в Елани, когда я сидел на редакционном собрании, меня окружили вопросами, касающимися близко жизни, судьбы ребят. Они все спрашивали, кто где сейчас работает и пишет, искали своих союзников.

Мне ребята подарили книгу о себе, в которой они со всей их жизнью, бедной, с их революцией — современники классикам и всему хорошему, что было в русском языке.

Вот мы иногда не можем понять, что для пишущего ребенка малых тем нет. Все одинаково большие. И надо принять все их темы для того, чтобы привести к какой-то большой, как река, над всеми сияющей.

И слово «коммуна» в той книге, которую они для меня написали, слагается из самых разных и неожиданных тем.

Я помню — раз в ШКМ — в самый разгар политической беседы подошел ко мне до сих пор не выделявшийся парень, человек очень в себе. Совсем молодой, еще первоступенского возраста, и спросил, точно затрагивая какую-то большую струну о себе:

— А можно написать, как живут зайцы?..

Зайцы причислялись ко всем народам, о которых мы говорили, это его опыт, его зрение.

И он сидел в темной комнате, хотя мы приглашали к свету, и писал. Все его лицо и даже рубашка, казалось, светились одним напряжением рассказать правду о зайцах.

Когда к нему подходили, он ничего не отвечал.

И в конце вечера с таким лицом, точно он выполнил свой какой-то внутренний долг перед природой, подал мне кусок бумаги, на котором было написано о зайцах.

Он начинался, кажется, словами: «У зайцев есть тоже большая опасность...»

Над кроватью в доме, где я остановился, висят дуги радиоприемника.

Вечером я, ложась спать, надеваю их на уши.

В раз'ездах мне не приходится слушать радио, а в Москве не до этого. Странно — меня «Гигант» приблизил к культуре.

Село Елань хорошо радиофицировано. Ко всем беднякам провели бесплатно. Еланский клуб принимает волну на антенну и передает ее по домам по проволочному телефонному проводу. Это

превращает радио в телефон, удобный для местных сообщений.

Я привык в радиокосмосе слушать, как возникают и смолкают Берлин, Прага, Париж.

У одного моего знакомого был приемник на всю Европу. Я сидел и слушал океан — кончалась Финляндия, начиналась Германия...

Но мне не приходилось в радио слушать деревенскую улицу. Это для меня было по силе одинаково с тем впечатлением, с каким я слушал в трубку всю Европу, и прерывавшие передачу шумы — грозы, пронесившиеся где-то в Силезии, — так объяснял руководитель, — или с тем же впечатлением, с каким, выйдя в детстве зимой из городского дома от учебника на улицу, я видел звездное небо.

Я лежал и слушал. Наступила уже ночь. Ирбит опаздывает от Москвы на два часа. Второе действие «Севильского цирюльника» передавалось часу в двенадцатом.

Нежная легкая симфония скрипок вдруг остановилась, исчез голос, звывший какую-то Лаису, наступил перерыв—тьма! И вдруг в этой тьме очень знакомый голос, борясь с пространством, спросил:

— Петр Сергеевич, готовы ли пи-мы?..

Ему из другого теплого угла, с другой улицы, отвечали:

— Пимы готовы!..

Я не сразу сообразил, в чем дело. Но пространством овладел веселый деревенский шум. Секунда тишины — и чей-то неуютный, отрывающий меня окончательно от такой еще близкой музыки голос барабанит в ухо — не мне, а кому-то невидимому, притаившемуся за радиотьюмой.

— Марья Николаевна, дома ли?..

Отвечают — ... дома... и все слушают.

Так отраднo чувствовать, что хотя и наперерез правилам радиоповедения так соединены все углы в новом мире.

Недостает только игры снежками — переключка, перебранка, — полное впечатление темной, живой улицы.

— Сельсполнитель дома?.. — и опять, как из раковины шум, наплывает музы-

ка и, оттесняя деревенские заботы и нужду в сельисполнителе, испанский гранд поет свою серенаду.

Что значит трансляция через телефонные провода!

Теперь я в курсе деревенских новостей. В конце передач — когда по-московски около 12 и у нас за Ирбитом около 2 — солидные и пожилые люди перестают перекликаться по радио.

Юркими крысами забегают голоса — одинокие голоса, вызывающие друг друга на свидание.

И остается наконец один голос, который нежно зовет в наушник. Очевидно, подруга не у радио — уже спит.

Оказывается радио засоряется семейными дразгами.

— В одной избе все время был крупный разговор, — сказал хозяин, — и так громко ругались, что по всей линии было слышно. Теперь спокойно...

Маленький сын хозяина сидит каждый вечер с наушниками. Для него установилось новое измерение — радио. Музыка. И он конечно вырастет иным.

Хозяин мой, бывший активный партизан, в Еланский колхоз не вступает.

— Подождем, когда этих выбросят, — говорит он, разумея этим, что в колхозе набрались чужие для него люди.

Большие села медленно подходят к колхозному типу жизни.

Коммуна — выселок, у ней все — на новом месте.

А здесь же село, улица, имевшая и свою историю, и свою торговлю. У многих настолько сильны представления о прошлом — Ирбитской ярмарке — великом пути свободной торговли, шедшем через них, что колхоз и коммуна для них — затея молодежи...

На большом собрании, где сельское население — теперь члены колхоза — впервые решало вопросы колхозной жизни, бывали такие случаи.

В колхоз, где все в сущности еще поделено по-старому на дома и углы и каждая семья знает свое гнездо, просится батрачка.

Лицо для колхоза новое, она должна стать его равноправным членом, она как-то необычайно должна войти в эту семью семей — в один из домов, где еще живут по-старому.

Весь бабий коллектив — десятки молодых и немолодых женщин — волнуется об одном: кто она, эта батрачка. Если она молода и красива, то может наступить самый неожиданный «колхоз», грозящий развалом семейной жизни.

Как бы не перепутались мужики и бабы.

И темным морем стоит этот коллектив перед входящей батрачкой.

Но начинают уживаться, — в каждый из новых приездов в село я вижу у моего «хозяина» на полатах новые и новые лица.

Семья сживается с пришедшими людьми. А в большой двор поставили стадо обобществленных свиней.

Хозяйка готовит какие-то пряники. Колхозники устраивают в честь своего основания общий обед, — каждая баба придет со своей стряпней.

В общем похоже, что кого-то хоронят и в то же время собираются в путешествие.

Но некоторые идут в колхоз, как на голод, на смерть...

Иленский татарин купил от вступающего в колхоз его лошадь со всей упряжью, телегой, — садись и поезжай! — едет к себе в село Иленку. Лошадь пойдет на мясо и кожу. Стоила покупка ему всего 17 рублей. Цена лошади упала до 4 рублей. Я не верю хозяину, но учитель подтверждает то же.

Так готовятся вступать в колхоз с 4 рублями своими, но без лошади.

Продавать лошадей вступающим членам колхоз запрещает. Таких продавших свое имущество не принимают. И все же продажа идет.

3. НА СУХОНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Очерки

Дмитрий Стонов

Монолог на вышке

Железная лестница узка. Она на­поминает триер, поставленный вертикально. Винтом она тянет­ся вверх. Над нею лежит тьма и запах едкого натра. Лишь всматриваясь, я на уровне своего лица вижу каблуки товарища Разумова, мастера и старого рабочего сухонских фабрик. Путь утомляет своей бесконечностью и однообразием. Мысли обрываются и поворачивают так же быстро, как и ступеньки. На ногах заняли мускулы.

На железной лестнице начинает на­ко­не­ц светать, светлеть. Сразу легче взби­раться — ощущается конец пути. Свет прожекторами, широкими солнечными трубами врывается из нескольких окон одновременно. Веселый ветер проходит по вспотевшим волосам. Не чувствуя усталости, мы уже на воздухе, одоле­ваем последние ступени. Просторная вышка, которая — так кажется — ходит под нашими ногами, как палуба океан­ского парохода, принимает нас. Вздыхаем полной грудью.

Широкая, в несколько километров равнина простирается перед нами. Вдали можно разобрать кайму темносинего леса. Он отодвинут, он не больше сантиметра. Сухона течет лениво. Баржи с желтым лесом тяжелыми попла­вками стоят на поверхности воды.

Вдоль берега, направо, налево, спереди, сзади, лежит лесной материал — баланс. Небольшие — в полтора, два метра — чурки заполняют собой равнину. Они лежат горками. Они тянутся прямыми рядами, полоса за полосой. Они громоздятся кострами. Они сложены правильными клетками, чем-то напоминающая карточные сооружения. Часть этих сооруже­ний едва поднимается, едва виднеется из густой пены кудрявых стружек. Здесь работают окорочники. Каждый из них приставляет чурку к незамысловатому станку. Рабочий садится, поднимает бревно, скорее чем в минуту он сдирает с дерева кору, оголяет его, де-

лает светложелтым, как весь кругом ле­жащий материал.

Миллионы, миллиарды, триллионы бревен!

Когда глаза привыкают к овеще­ственным цифрам, они начинают заме­чать следы бывших заборов. Следы эти удивляют. Сухонские фабрики некогда принадлежали одному владельцу. За­чем понадобилось ему отделять друг от друга собственные владения?

Широкие, сквозные здания, построенные за годы революции, сливаются со старыми, унаследованными Октябрем. Постройки прикрыты одной крышей. Если всмотреться в старое здание, мож­но заметить следы бывших перегородок, которые разбивали помещение на части, отделяли одну часть от другой.

Товарищ Разумов, старый рабочий и мастер, видит наше недоумение, хочет об­яснить. Он говорит:

— За десятки и десятки километров вокруг сухонских фабрик и целлюлоз­ных заводов вы не найдете ни одной фа­бричной трубы, ни одного городского здания. Бывший владелец выбрал для своих предприятий не только самые лес­ные, но и самые глухие места. В окрест­ных деревнях вербовалась мужицкая слепая сила. Работа на бумажных фа­бриках и целлюлозных заводах давала на несколько грошей больше, чем дает их черствая земля. Мужик оставлял узкую полосу, шел на фабрику. Здесь, на фабрике, горизонт его не должен был расширяться. От узкой полосы нельзя переходить к широкому простору. Мужик, ставший рабочим, не должен осмы­слить всего процесса производства. Он также не должен видеть всю массу рабо­чих, которая своими мускулами кормит кирпичную эту махину, творит чудеса, из бревен делает бумагу.

— Отсюда стены и заборы. Общее дело, прекрасное целое было расчлене­но. Каждый работал в своем цеху, в своем отделении, на своей полосе. Фа­брикант создал для рабочих особый мир. Придя на фабрику, крестьянин по-

падал как бы в камеру, в закрытую со всех сторон клетку. Мир его был узок, работа ограничивалась несколькими навыками, не намного сложнее физиологических его навыков.

— Фабрикант, однако, упустил из виду одно обстоятельство. Он забыл, что, вопреки и даже наперекор его воле, им создана не только фабрика бумаги, но и фабрика пролетариев. Не только дерево, — люди перевариваются на фабрике. Заборы и перегородки не помогли. Революция снесла их. Крестьяне стали пролетариями. Крестьяне становятся пролетариями. Фабрика продолжает делать бумагу и рабочих. Сейчас с этой вышки вы видите бревна, баланс — бумажное сырье. Но вы также должны увидеть людское сырье. Бумажное сырье плывет по реке. Людское сырье течет по всем этим дорожкам, по узким звериным тропам, которые едва видны отсюда. Путь от дерева к газетной и писчей бумаге, технологию нашего дела можно объяснить в час-два. Сложнее путь от мужика к пролетарию.

Старый рабочий и мастер-самоучка, между делом прочитавший не одну тысячу книг, устал от монолога. Ветер бродит по его волосам, устанавливает на голове свой порядок. Ветер отстегивает пуговицу на рабочей его блузе. Товарищ Разумов застегивает ее и добавляет:

— И я вам советую начать именно с людского материала!

Сырье

Небольшая комната переполнена людьми. О порядке и плановости здесь, видно, никогда не знали. Несмотря на то, что вдоль стен стоят стулья, никто на них не сидит. Все стоят. И все, толкаясь, как в московских трамваях, работая плечами и локтями, стараясь через головы других передать какие-то бумаги, тянутся к определенному месту, к одному центру. Там за столом в углу сидит человек в синей, расстегнутой у ворота косоворотке. Его зовут Никандр Иванович, он секретарь фабрично-заводского комитета. Имя это и отчество я слышу беспрестанно, слова звенят в воздухе, как звон машин через дорогу.

— Никандр Иванович, а Никандр Иванович! Да вот я, Никандр Иванович. Вот со мной, Никандр Иванович! Два слова, Никандр Иванович! Никандр Иванович, товарищ фабрично-заводской главный секретарь (в сторону), не лезь на ноги, холуй... Никандр Иванович, я давно жду, я первый...

Незаметно в углу я усаживаюсь на стуле. Отсюда видны все лица, виден стол и людьми прижатый к стене Никандр Иванович. Он спокоен, как капитан корабля во время шторма. Он знает: бушующее море нельзя утихомирить, его нужно преодолеть. Он не раз, видно, пытался утвердить порядок, очередность и (очень правильно) махнул на это рукой. Он, секретарь фабрично-заводского комитета, ведающий порядком пяти тысяч пролетариев, не может его установить в небольшой комнате. Здесь он бессилен. Сюда, по едва видимым тропам, из густых лесов, из далеких деревень прибывают люди, желающие стать пролетариями. Деревня вытолкнула их из своих рядов. Там они оказались лишними, они ищут применения свободным своим мускулам. Сюда принесли они мужицкую цепкость, упрямое желание, прямолинейную, как палка, цель. К этой цели они и тянутся через головы других, мнут себе подобных, готовы их отбросить прочь, чтоб скорее занять место около Никандра Ивановича, выложить свою просьбу и получить удовлетворение. Каждый почему-то уверен, что его просьба — самая важная, его персона важнее многих других — всех других.

— Никандр Иванович, голуба, да вот выслушай, да вот прими бумагу, да вот я скажу, два только слова, Никандр Иванович!..

Дух земли, пота и плохо переваренного ржаного хлеба захватил комнату. Пока просители жужжат вместе, пока мнут друг друга, локтями, коленями, боком расчищая путь к Никандру Ивановичу, я всматриваюсь в их лица. Здесь молодые парни с красными щеками и едва пробивающимися темными волосиками на верхней губе. Мужики средних лет, курчавобородые, с — на всякий случай — прищуренными, готовыми и улыбаться, и скорбеть глазами. Широкие, как задки деревенских телег, девки — кровь

с молоком, с белыми, как на плакатах Хлородонта, зубами. Бабы — истерички, плаксы и ябедницы. Все они движутся по морскому закону прилива и отлива, толкутся, шумят, неистовствуют. Так длятся долгие минуты. Слова излишни, они не убеждают. Никандр Иванович молчит. Здесь действует сила.

Бабе удается наконец прорвать цепь, вырваться из массы. И вот она у самого стола Никандра Ивановича.

Следы упрямой толкотни горят на ее лице. В осторожных и злых глазах бродит мысль. Она прикидывает, примеривает, с чего бы начать свою просьбу, и через мгновенье начинает вот с чего:

— Как же так можно, Никандр Иванович! Каждый год он берет себе жену, надувает ей брюхо, а потом — фабричный комитет давай ей комнату, давай ей работу! Это же никак невозможно! Это же — хочь кого угодно спроси! Что же это такое, Никандр Иванович?

Молчание.

Женщина продолжает:

— Хочешь, я всех его жёнок назову, все на фабрике работают. Комарова Елена, Ивана Комарова дочь. Строганова Поля — та и сестренку свою привезла, сестренка работает. Еще Клава Кашкина...

— Постой, — останавливает ее Никандр Иванович. — Тебе он ребенка не сделал?

— Што ты, што ты, у меня свой мужик, хочь он и слабосильный... Я не девка. А котора девка — изволь. Годок она с ним переспит, живот он ей надует, а потом — фабричный комитет давай ей комнату, давай ей работу!

— Опять двадцать пять! Тебе что нужно?

— Мне, Никандр Иванович, работа нужна!

— Удивительный народ, — не удивляясь, говорит Никандр Иванович. — Всегда с ябед начинают. Нужна работа, — приди, скажи! Нет! Обязательно что-нибудь такое выдумают! Вот тот устроился, да вот этот работает, — почему не я?! И ведь врут, негодные, всегда врут.

— Да как жа, да обидно жа, — воспользовавшись паузой, говорит другая и — пока суть да дело — занимает ме-

сто около стола. Она говорит — точно частушки складывает, да и вся она частушечная какая-то. — Есть всем хоцца, хоцца есть, Никандр Иванович, хоцца...

— Есть хочешь?

— Да как жа, Никандр Иванович, как жа!

— Хорошо. У нас на ферме капуста горит, поливать ее некому. Вот записка, пойдй туда, там месяца два поработаешь, потом придешь — на фабрику пошлю!

Частушечная девка поднимает руки и отмахивается, точно от шмелей.

— Пушай горит, тая капуста, на чорта она мне сдалась, — кричит она. — Ты меня на фабрику пошли!

— Вот ведь вы какие, — на фабрику — никаких гвоздей! Ты еще скажи, какой тебе разряд давать! А ежели фабричная капуста горит, на общественном огороде некому работать, это вам наплевать? Нет, ребята, так дело не выйдет, вы мужицкую «моя хата с краю» бросьте. Нам до всего интерес есть! Всем государством интересуемся, а не то что огородами. Как хочешь — так и поступай. Не пойдешь на огород — не возьму на фабрику.

— А почему соседских ребят дней десять назад взяли, — разоблачительно кричит частушка. — Их взяли, а нам — огород?

— Тогда на огороде не нужны были люди, мы и взяли на фабрику.

— Нам что огород? У нас самих — огород! Нароботались!

— И сюда не танцовать пришли. На своем огороде трудились — теперь на коллективном поработайте.

Частушка ныряет в толпу, авось без нее найдутся любители, которые пойдут на огород. Когда все места на ферме будут заполнены, она вновь возникнет из толпы.

Ее заменяет древняя старуха, литая, как статуя. В руке у нее клюка — прошла километров сто с гаком. Опершись, она стоит над Никандром Ивановичем, старая, как мир, дышит тяжело.

— Ты — хозяин? — спрашивает она медленно, басом.

— Какой я к чорту хозяин!

— Мне сказывали. Слышь-ка, у меня старик представился.

— Царство немецкое. Я-то тут при чем?

— Старик преставился. А пенсии я не получаю. Мне пенсии дай. Мне пенсии дай, у меня старик преставился.

— Никандр Иванович, нам по окорочке работа обещана, — пододвинувшись, сыплет — говорит курчавобородый.

— Никандр Иванович...

— Никандр Иванович...

Десятки минут длится это наступление. Сюда, как на лесную биржу материал, поступает людское сырье, сухонские предприятия глотают их с похвальной прожорливостью. Страна освобождается от иностранного влияния во всех областях жизни. Наш учебник, наша газета и журнал, наше художественное слово находились в большой зависимости от финляндского, норвежского, английского, немецкого — какого угодно — фабриканта. Нам нужна своя бумага, сырья — людского и древесного — у нас предостаточно. Непрерывные сутки работают фабрики, растут, строятся, увеличивают свою продукцию. Сырье к новым этим стенам течет со всей окружающей.

Процесс превращения дерева в бумагу длится несколько суток. Процесс превращения крестьян в рабочих длится годами. Мужичья сущность нет — нет, да и скажется даже через много лет.

Когда принцип ударничества утвердил себя в нашей стране и пакамера сухонских фабрик вся, целиком, объявила себя ударной, — работникам отделения не давали прохода, всячески их травили. Очень многие — из деревенских — встречали работниц с криком, бранью, с угрозой. По понятиям людей, которые вчера еще рылись на собственной полосе, женщины спровоцировали товарищей, подвели фабрику «в целом», обманули, изменили.

Да и само ударничество понимается вчерашними крестьянами по-своему — узко, артельно, шкурнически. У дроворубки я слышал такой разговор:

— Мы с тобой, Митяй, ударники?

Спрашивал беловолосый парень с телячьими ресницами, в лаптях и посконной рубахе.

Митяй ответил:

— Ударники.

— Вот, значит, надо нам баланец в

дроворубку пихать, чтоб здесь, значит, чурки не задерживались. А ежели нам их не подвозят? ежели не подвозят — не наше дело. Сидим, значит.

Митяй стоял на высшей ступени развития. Он полагал, что коль скоро он ударник, должен заботиться и о том, чтобы баланс подвозили своевременно, чтобы другие рабочие не задерживали машину.

— Опять же они тебе в морду дадут. — мол, не твое дело.

Митяй отвечал:

— Нет таких пунктов! Я их тогда в стенной газете обгажу.

— А я неграмотный.

— Обу-учат, — уверенно сказал Митяй. — В момент!

Беловолосый парень — не единичен. Сухонские предприятия знают случаи, когда рабочие лесной биржи по три-четыре раза сдавали один и тот же баланс. Из озорства, из холуйского отношения к делу, подчиняясь мужичьему анархизму, деревенская молодежь (не вся, конечно) швыряла гвозди и болты в рубильные патроны, портила дорого стоящие машины. Были задержаны люди, — бессознательные вредители, — которые в варочные котлы бросали мусор и куски железа. Железо потом попадало в нежные внутренности сложных и дорогих машин, на своем пути рвало и уничтожало ткани, производило опустошения. Известны случаи курения в древесном отделе, где лежат сухие, как паутина, опилки, — и это, несмотря на самые категорические запрещения, и это, несмотря на то, что от искры одно из лучших предприятий в Союзе может пойти прахом, головешками, пеплом. Наконец, фабрика насчитывает много случаев пожара на лесной бирже, — тысячи кубов заготовленного баланса, тысячи рублей золота от неосторожного обращения с огнем взлетали на воздух, превращались в дым, в пламя, в ничто.

Тяжелый, нескончаемый счет этой нашей проклятой дани проклятому нашему прошлому вел слесарь Чебурашкин, замечательный пролетарий, изобретатель и ударник. Мы стояли в рубильном отделении, дерево звенело и грохотало, пело отходную свою песнь, уничтожалось, переставало существовать. Чебурашкин, сдвинув очки на край но-

са и загибая рабочие пальцы, кричал мне на ухо о всем этом неминуемом зле, которое люди приносят с собой из деревень. Пальцев нехватило, он разжал руки, предварительно показав их мне согнутыми, в кулаках, и начал свою арифметику сначала.

— Но ведь из таких людей трудно сделать настоящих, сознательных пролетариев.

— Трудно? — спросил Чебурашкин и мудро улыбнулся. — Посмотрите-ка на баланс. Бревна — одно в одно. Между тем мы из этих бревен массу делаем, кашу, — увидите на производстве, — ребенок в рот возьмет — не подавится. Каким образом? Химики вам расскажут. Есть такая жидкость, — едкий натр, — слышите запах? Едкий натр что угодно растворит, уж вы поверьте. Вам, конечно, известно, что мы работаем сверх плана, перегоняем пятилетку, боремся за первенство в Союзе. А ведь все это рабочие сухбинских фабрик делают. Все мы из деревень пришли, и в головах у нас деревенский ветер гулял, так-то! Ничего, фабрика научила.

Он уходит, спешит, минуты его отдыха кончились. Он оглядывается, улыбается, размахивает руками.

— Едкий натр, — слышу я. — Едкий натр...

Хозяева

Плакаты о производственном совещании висели у машин, в паккамере, в комнатах отдыха, в столовой, в клубе, на заборах. Плакаты сообщали программе, указывали, что совещание откроется ровно в семь часов.

К этой цифре я прибавил в уме несколько десятков минут, пришел на собрание в 7 с половиной часов. Я шел по коридору, чуткая тишина бежала мне навстречу. Такую тишину слышит экзаменующийся, опоздавший на экзамен. Поневоле я перестал стучать каблучками, ускорил шаг. Голос говорившего ударил в уши. Я тихонько открыл дверь, сел, стараясь быть незамеченным. Председательствующий постучал карандашом по столу и остановил выступавшего. В следующий момент он сказал:

— Вот письменный человек пришел. У нас тут заминка получилась. Бумажки, мы на совещание явились без ли-

ста бумаги для протокола. У вас, товарищ, блокнот. Садитесь-ка сюда, ведите протокол.

Я записываю все, что говорят эти люди. Они только-что пришли с фабрики, наскоро перехватили по одному блюду, руки их черны от машинного масла, из верхних карманов торчат желтые метры, боковые карманы синих фабричных блуз топорщатся от гаек, от мелких частей, которые машинному человеку всегда нужно иметь под рукой. Они озабочены той хорошей озабоченностью, которая наступает после многих часов любимой работы. В таком состоянии не чувствуешь усталости, веки горят, слух ловит каждое слово, запоминает, мысль работает с поразительной четкостью.

Многих людей, сидящих здесь, я знаю, со многими беседовал. Свои замечания, два-три слова, из которых потом вырастут прения, они огрызками карандашей заносят на поля газет. Чуть нагнув голову, приложив ладонь к уху, они слушают выступающего. Не разгибаясь, поднимаются со своих мест и, вытянув руку, сложив два пальца, просят слова. Я записываю их по порядку.

На очереди — слесарь, товарищ Чебурашкин.

Он сидит в третьем ряду, занимает два стула. На одном из этих стульев лежит узелок. Какой-то предмет завернут в красный платок с желтыми цветами, в один из тех платков, в которых рабочие приносят на фабрику свои завтраки. Точно боясь, что узелок унесут, Чебурашкин придерживает его рукой, ежеминутно, сквозь матерью, шупает лежащий в платке предмет. Очки его держатся на кончике носа, одну оглоблю заменяет веревочка. Товарищ Чебурашкин смотрит то сквозь стекла, то поверх очков. От этого выражение его лица меняется. Оно то сосредоточенно-доброе, то озабоченное, рассеянное.

Когда я называю его фамилию, он встает. Одновременно рука слесаря поднимает узелок. Так стоит он неподвижно, похож на старика, принесшего святить куличи.

— Выходи к столу, — кричат ему соседи.

— Говори с места, — советуют другие.

— Нет уж, я лучше выйду, — говорит он.

Держа в руке платок, он пробирается к столу, осторожно опускает узелок. Он откашливается и смотрит на приготовившихся его слушать людей дважды — сквозь очки и поверх очков. Потом говорит о том, что все неполадки в его отделении происходят от нарезных фланцев на щелочных штуцерах варочных котлов. Они часто портятся и вызывают простои, эти фланцы. Ремонт нарезных фланцев отнимает много времени.

Он говорит о нарезных фланцах, как о врагах. Палец правой руки он раскачивает около носа, — так грозят шалунам, предостерегают (и угрожают) непослушных детей. В его голосе слышен смертный приговор нарезным фланцам. Фланцы оживают. Не зная, как они выглядят, я чувствую к ним ненависть.

— Я давно над ними бьюсь, — говорит слесарь. — Кто кого? Я — упрямый. Я не отстану.

Он не рассказывает, как долго вел борьбу с фланцами. Может-быть, год. Возможно — несколько лет.

— И вот товарищи, — продолжает он и развязывает узелок. В узелке лежат блестящие части машин. — И вот, товарищи, я предлагаю заменить нарезные фланцы муфтами моей конструкции. А что касается сдувочных бутылок, то их заменить надевающимися шарами. Все это, товарищи, сократит оборот котла и увеличит производительность. Я кончил.

Сидящие задают вопросы. Легко толкнув меня в плечо, Чебурашкин говорит:

— Пиши!

Я записываю вопросы рабочих. Их много. Они растут, занимают не один лист блокнота, готовы увеличиться до бесконечности. Но тут поток вопросов останавливает товарищ — представитель технического персонала.

Он поясняет, что изобретение товарища Чебурашкина всячески испытано, усовершенствование применяется на тех котлах, которыми ведает слесарь. Изобретение — выше похвал. Новые части работают идеально.

— До испытания я, товарищи, и предлагать бы не стал, — как бы оправдываясь, говорит Чебурашкин. — Мало ли, что взбретет на ум? Нет, я раньше испытал, а испытав, предложил другим испробовать. И уж потом вам доложил.

На этот раз он окончательно добавляет:

— Я кончил, товарищи.

И идет на свое место.

Следующий вопрос о тележках.

— Нет тележек, — говорит высокий парень — докладчик. — На фабрике очень мало тележек. Производственное совещание должно разрешить вопрос о тележках. Вот и весь доклад, товарищи.

Какие могут тут быть прения? Производительность увеличивается, фабрики растут, рабочие прибывают — нужны новые тележки.

Но человек с голубыми — от краски — ногтями чуть поднимается, поднимает два пальца. Он хочет выступить, сказать свое слово.

— Товарищи, — говорит он. — Очень хорошо, что вы на прошлом заседании приняли мое предложение — объявление о производственном совещании с подробным планом вывесить за день до совещания. А почему? — задает он вопрос и сам отвечает. — А потому — каждый может подковаться. Вчера прочел объявление, сегодня я — выходящий. «Дай-ка, думаю, приготовлюсь к одному пунктику, подсоберу маляость фактов. Тележек нет? Проверим». Что же оказывается? Оказывается, товарищи, что по всей земле у нас разбросаны тележки.

— Как так — разбросаны, — не держивает докладчик.

— Не мешай, я тебе не мешал. У меня факты. В кислотной, хоть они там и не нужны, валяются тележки, на набережной — тележки. Вы думаете одна-две? Извиняюсь! Вот список.

Он достает бумажку, читает список бесхозяйственно разбросанных по всей территории фабрики тележек.

— Молодежь, — жалуется смущенный докладчик. — Молодежь все.

Возникают прения о молодежи, о людском сырье, о «летунах».

— Обращение с чушками варварское.

— Подшипник греется, а молодой рабочий вместо того, чтобы мазать, поливает его водой.

— Сегодня записался в ударники, завтра явился пьяный.

— Товарищи, — говорит другой. — А ведь это и наша вина, вина старых кадров. Ну-ка, вспомните, товарищи, — мы лучше были? В тысячу раз хуже! В ты-

сячу раз хуже, — повторяет он. — С нами работа ведется, они у нас университеты проходят, а мы у старого хозяина — что? Вот мы, чтоб избавиться от этого зла, должны стараться на каждом шагу учить, учить, учить новичков. Знаете, что главное? — Лицо его становится таинственным, как у заговорщика. — Главное — научить их любить машину. Чтoб он, парень, чувствовал, что машина живет, дышит, что ей больно, раз ее не мажут! Больно! Испортишь машину — то же самое, что испортишь здоровье. А портить здоровье — кому охота?

Он распускает морщины на своем лице, он сказал все, что думал, вопрос ясен. Научим новых людей любить машину! Из любви к машине, любви и преданности к делу рождается советский пролетарий!

— Ну-ка, мне слово! — просит рабочий, три дня назад вернувшийся из деревни. По зову партии он на два года оставил сухонские предприятия, работал среди крестьян. Сейчас он вновь на фабрике.

— Друзья, — говорит он. — Вы из-за деревьев не видите леса. Мне вас хвалить нечего. Я не для того взял слово, чтобы похвалками заниматься. Два года я здесь не был. И вот теперь хожу, приглядываюсь и не узнаю, честное слово...

— Строимся, — бросает кто-то со стороны.

— И строимся, конечно. Не в этом дело. Разве два года назад такие у нас рабочие были? А ну, вспомните! За два года люди изменились к лучшему! Книжными людьми стали, дери вас дьявол. С кем ни говори — каждый тебе «сборник промпланов» в нос тычет, показывает, что ему надо делать, чтобы план обогнать. Я правду скажу — как-то мне даже не по себе... До поездки в деревню я был одним из передовых. А теперь вижу — у многих мне учиться надобно, отстал, отстал, товарищи...

Он обрывает речь, хмурит лоб и вдруг, неожиданно для слушателей рассердившись, зло бормочет:

— Однако, глейзера у вас портятся, дери вас дьявол! А мер не принимает! Еще — ни под одной машиной насосы

не работают. Запишите в протокол, — говорит он, не глядя в мою сторону.

— Я сказал — университет пройдут, — живя все еще похвалой приехавшего из деревни рабочего, не обращая внимания на последние его слова, говорит предыдущий оратор.

Программа совещания исчерпана. Человек с сухим лицом и горящими глазами нервно дергает бородку. Часто он поправляет пояс, руками растягивает ремень. Он беспокойно оглядывается. Когда последний рабочий кончает свое слово и председатель хочет подняться, чтобы закрыть собрание, человек с сухим лицом быстро встает и просит слова для внеочередного заявления.

— Тебе что? — спрашивает председатель.

— Вот чего, — отвечает он. — Попроьба меня выключить из производственного совещания. Как я больше не буду принимать участие.

— Это еще почему?

— А как же, — с запальчивой горечью говорит он и забывает о поясе. — Бегу это я в клуб на совещание, чтоб не опоздать. Прихожу — народ толкнется у стенки, смехота, все на меня кивают. Посмотрел я... Что же это такое, товарищи? Называется «галлерея пьяниц», большущие портреты — и я в том числе. Нос, конечно, красный, борода синяя — не похож никак. Однако, имя, фамилия! Как же я после такого позора могу в производственном совещании состоять? Воля ваша — вычеркните из списка. Меня теперь ни один чорт не послушает!

Сделав заявление, он резко поворачивается, идет к двери. Председатель смущен, озадачен, молчит. Рабочего с сухим, горящим лицом останавливает товарищ Чебурашкин.

— Ты это — брось, — говорит он. — Ты это — оставь. Ишь — гонор какой, бросаю! Обидели! Поду-умаешь — обидели! А кто чуть под машину не угодил, на все производство дебоширил? Думаешь — выспался, делу конец? Извини, дорогой товарищ! Ты поступками оправдывайся, а не так — бросаю производственное совещание. Так, брат, не поступают, нет. Хозяин дела своего не бросает! Видал ты, чтоб хозяин с работы ушел? Ты скажи — видал?..

Как это делается?

— Пять тысяч тонн бумаги сверх плана!

— Пять тысяч тонн бумаги!

— Пять тысяч тонн!

Трудно найти место, где бы не было напоминания, предупреждения, предложения — перевыполнить план. Не просто — «выполним и перевыполним», а конкретно, точно, ясно: дадим стране пять тысяч тонн бумаги сверх плана.

В конторе в первые дни приезда мне сказали:

— Наш промфинплан доведен до низовых ячеек — рабочих фабрики.

Признаться — я отнесся к этому критически. Довести план до низовых ячеек можно всячески. Рабочий митинг на тему о промфинплане также является «доведением до низовых ячеек».

Тут следует рассказать о книжках в зеленой обложке. Эти книжки долгое время вводили меня в заблуждение.

В красном уголке сидят рабочие. На стене — полка с книгами. Рабочие кончили завтрак. Они располагают пятью минутами свободного времени. Как они используют эти пять минут?

Рабочие роются в карманах, достают книжки в зеленой обложке. У них свои книжки, они не хотят пользоваться коллективной полкой.

Издали я наблюдаю за читателями. Я замечаю, что у всех рабочих книжки в одних и тех же обложках. Очевидно, одна повесть, один рассказ заинтересовал многих, весь цех — все (каждый в отдельности) читают одну и ту же книгу.

Чтение книги лишь мимоходом касается моего воображения.

Через несколько дней — на этот раз в бумажном отделе — я вновь вспоминаю о книжке в зеленой рубашке.

Бригада в пять человек обслуживает машину. Все в исправности, машина работает на диво, бумага возникает на широких колесах, потоком несется к валу, образует рол. Бригадники следят за машиной, мажут части, прикручивают винты. Между делом они достают из карманов книжки, перелистывают, читают.

Глаза вновь задерживаются на зеленых обложках. На этот раз — несколько

ко дольше. Неужто рабочие — ударники — не понимают, что во время работы читать у машин не полагается?

Засим, заострив внимание на зеленых книжках, я все чаще и чаще начинаю встречать странных читателей, читателей во время работы. Зеленая обложка непрерывно мелькает в руках бегунчика, саморезчика, бобинщика, расколотчика, подручного, отвозчицы.

Недоумение мое перерастает в вопрос.

На вопрос я получаю подробное разъяснение.

Ударный лозунг сухонских фабрик — «Дадим стране пять тысяч тонн бумаги сверх программы» — это искомое, желанный итог работы, которую ведут бумажники. Чтобы добиться необходимых результатов, лозунг этот пришлось переложить на язык таблиц, цифр и выкладок. Еще раньше, после того, как центральный комитет бумажников постановил за хорошую работу досрочно перевести сокольцев на семичасовой рабочий день, были сделаны первые попытки приблизить промплан до отдельного станка, котла, машины. Промпланы, в виде плакатов, висели на стенах. Плакаты давали представление, как надо работать, какое дано задание. Контрольные диаграммы показывали результаты работы.

Это был шаг вперед, только шаг. Рабочий не всегда имел промплан под рукой как справочник. Выйдя из фабрики, покончив с работой, отдыхая, он мог забыть о промплане. Учтя все эти (и многие другие) неудобства, управление фабриками отдельными книжками выпустило промплан для рабочих.

Промплан состоит из четырех книжек: бумажный отдел, целлюлозный завод «Сокол», целлюлозный завод Свердловского и комбинированный — для механического, паросилового и электрического. В книжке, помимо общего плана, каждый рабочий находит точную программу именно для него — Иванова, Сидорова, Яковлева.

Сделано это таким образом.

В книге напечатан, к примеру, «план работы бумажных машин на второе полугодие, включая сверхплановую надбавку — 5.000 тонн». Вот вторая машина. По печатной бумаге (№ 7) она

должна сделать за второе полугодие 3.111 тонн бумаги. Для этого она должна работать 91 день. Ежедневно она обязана выработать 33 с какой-то долей тонны, в час — 1,51 тонны.

Таким образом, ежедневно рабочие, обслуживающие машину, могут проверить — не отстали ли они от программы?

Дальше идут качества, требуемые от бумаги: влажность — 7 проц, зольность — 12 проц, проклейка 0,25 мм. и допускаемое отклонение от нормального веса.

Все это можно достигнуть, если среднесуточная норма простоев не будет превышать 1,5 ч. Эти 90 минут слагаются из производственных причин (0,95 ч.) и ремонта.

За нормой идет список расходов волокна и химических материалов на одну гонну бумаги

План, как видно из примера, доведен до машины, до станка. Но за каждым котлом, станком, за каждой машиной работает группа человек, бригада. Чтобы один рабочий не мог свалить свои обязанности (и ответственность) на другого, машинный (бригадный, артельный) промплан расчленен. Книжка в зеленой обложке отвечает также на вопрос — что должен делать каждый рабочий в отдельности?

Взять хотя бы сеточника. Сеточник должен внимательно следить за качеством вырабатываемой бумаги, за сор-

ностью, просветом, плотностью, влажностью. Он должен запомнить, что плохое качество сводит на-нет все достижения по выработке. Не допускать пересушки бумаги, пересушка вызывает ломкость, магнитность и пыльность ее, а кроме того (огромный расход пара на сушку!), и значительное увеличение себестоимости. Один недодаанный процент влажности стоит в месяц около 7.000 рублей. При этом нельзя ударяться в-другую крайность и давать сырую бумагу, так как сырая бумага — брак. Руководствоваться данными лаборатории по влажности, проклейке, прочности и т. д., делать соответствующие выводы. Обязательно расписываться в журнале лабораторного контроля.

Тут необходимо заметить, что сеточник — квалифицированный рабочий. Расписание его деятельности носит поэтому несколько общий характер. Для рабочих низшей квалификации расписание конкретизировано. Подавальщик, например, должен класть на тележку не более 18 — 20 валиков во избежание перегрузки под'емника. Между прочим, он обязан не допускать среди своей бригады пьянства и самовольных прогулов.

Вот каким образом сухонские фабрики довели промплан до рабочих. Лозунг — «перевыполним на 5.000 тонн» — стал реальным фактом, материализовался, превратился в 5.000 полновесных тонн бумаги сверх плана.

Литература и искусство

1. ВИКТОР ГОЛЬЦЕВ. Александр Блок как литературный критик. — 2. ЕВГ. ЛАНН. Томас Гарди. — 3. А. КАЛЯЗИН. Из новой литературы о Толстом.

1. АЛЕКСАНДР БЛОК КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Виктор Гольцев

На критико-литературное наследие Александра Блока до сих пор обращают слишком мало внимания. Принято думать, что Блок был «только поэтом». Как критик и публицист он якобы не оставил после себя почти ничего ценного, серьезного и оригинального. Очень многие читатели, будучи хорошо знакомы с поэзией Блока, имеют весьма смутное представление о его критических опытах.

Между тем критические работы Блока представляют большой интерес. Перечитывая его статьи и рецензии, разбросанные по страницам различных журналов и газет, мы убеждаемся в том, что поэт обладал несомненным критическим дарованием. Сделанные им литературные характеристики нередко поражают своею меткостью и оригинальностью. Несмотря на то, что наша советская литература бесконечно далеко ушла от идей и построений эпохи символизма, целый ряд критических опытов Блока до сих пор не утратил своего значения.

Блок был слишком богато одарен. Поэт заслонял в нем критика и публициста, но при благоприятных условиях развития из него мог бы выработаться незаурядный критик, фельетонист, литератор, живо откликающийся на темы дня. Стоит только сравнить первые робкие и неумелые рецензии Блока в «Новом пути» и в «Вопросах жизни» с теми статьями и заметками, которые он писал позже, чтобы убедиться в непрерывном росте его критико-литературного дарования.

Это обстоятельство прекрасно было учтено некоторыми представителями дореволюционной прессы. В 1907 г. критико-библиографический отдел в «Золотом руне» был упразднен, и вместо него именно Блоку было поручено систематически вести в журнале критическое обозрение. Не менее примечательным в этом отношении является факт настойчивого зазывания Блока в «Русское слово». Из биографии Блока, а также из его дневника мы знаем, что в конце 1911 г. представитель газеты Руманов убеждал Блока вступить в число ее сотрудников.¹⁾

Очень трудно отделить критико-литературную деятельность Блока от его поэтического творчества. К писанию статей Блок всегда относился тоже творчески. Он сравнительно редко писал их по точно определенному заказу, на заданную кем-либо тему. В большинстве случаев Блок говорил лишь о том, что затрагивало его и волновало. Даже когда поэт вел критическое обозрение в «Золотом руне», он всегда стремился оставаться верным себе в этом отношении.

В свои критические работы Блок приносил поэтическую образность языка, яркость метафор и эпитетов.

Мы можем сплошь и рядом наблюдать своеобразное единение и переключку Бло-

¹⁾ См. М. А. Бекетова. Ал. Блок. Изд. «Алконост». 1922, стр. 178, а также Дневник Ал. Блока (1911—1913). Изд. Писателей в Л. 1928, стр. 64—65.

ка-поэта с Блоком-критиком. Например, статья «Поэзия заговоров и заклинаний», написанная осенью 1906 г. для многотомной «Истории русской литературы»¹⁾, неразрывно, органически связана со всем его поэтическим восприятием древней России. Стоит только сопоставить с этой статьей блоковское стихотворение «Русь», написанное 24 сентября того же года, чтобы убедиться в полном параллелизме целого ряда образов. Здесь мы имеем случай, когда историко-литературные занятия углубили собственные Блоку представления об языческой России. Ряд поэтических образов был как бы подсказан Блоку памятниками древнерусской письменности.

Насколько органическим было для Блока писание статей, можно судить хотя бы по тому, как было написано «Крушение гуманизма». Записи в дневнике от 27 и 31 марта 1919 г. убеждают нас в том, что все основное содержание этой замечательной статьи было буквально пережито поэтом. Несколько страничек, исписанных в глуши его кабинета, содержат в себе квинт-эссенцию того, что позднее было опубликовано в печати.

Таким образом, критико-литературные работы Блока, помимо того непосредственного интереса, который они представляют, дают богатейший материал для изучения творчества самого поэта. Всякому читателю, стремящемуся серьезно изучить Блока и окружающую его литературную среду, неизбежно придется постоянно обращаться к его статьям, рецензиям и заметкам. Литературные направления, возникавшие в России в период между двумя революциями, великолепное развитие и кризис русского символизма — все это нашло себе своеобразное и яркое отражение в критической деятельности Александра Блока.

II

Следует отметить, что отношение Блока к русской критике, особенно в ранние годы его творческого развития, было отрицательным, чтобы не сказать — враждебным. Критику Блок иногда даже противопоставлял художественному творчеству, полагая, что деятельность критика и деятельность писателя

представляют собою два начала, как бы исключают друг друга. Весьма характерной для Блока в этом отношении является одна деталь: отмечая большую культурную роль Ап. Григорьева, он писал, что Григорьев был критиком, «но при этом сам обладал даром художественного творчества»¹⁾. Несомненно, что критико-литературные идеи Григорьева оказали большое влияние на Блока.

По мнению Блока, русская критика «слаба, противоречива и страдает отсутствием пафоса»²⁾. Обычно она «мало умеет сказать соответствующего о произведениях». Большинство русских критиков всегда было лишено дара подлинного понимания литературы и искусства.

Впрочем, подобное явление Блок находил естественным. Эстетически подходя к писателю, как человеку, пребывающему в особом, недоступном для других мире, он не находил возможным «требовать от людей, чтобы и они прошли путь художника, чтобы они побывали в его мире»³⁾.

В словах Блока нередко проявлялось сомнение в положительной культурной значимости деятельности Белинского. Однажды он едва не договорился до чудовищного утверждения, что суждения Белинского о Пушкине не в полной мере можно противопоставить отношению знаменитого шефа жандармов графа Бенкендорфа. Вот что писал Блок в статье «О назначении поэта» по поводу «младенческого лепета Белинского, раздавшегося над смертным одром Пушкина: «Этот лепет казался нам совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это — не так. И, если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так»⁴⁾.

¹⁾ «Судьба Ап. Григорьева». Вступительная статья к «Стихотворениям» Ап. Григорьева. Изд. К. Некрасова. М. 1916.

²⁾ «О современной критике». См. газ. «Час» за 1907 г., № 4.

³⁾ «Следует ли авторам отвечать критике». «Биржевые ведомости» от 5 дек. 1915 г. (вечери. выпуск).

⁴⁾ «О назначении поэта». Сб. Дома литераторов «Пушкин — Достоевский». П. 1921, стр. 26. Разрядка моя. — В. Г.

¹⁾ Изд. «Мир», М. 1908, т. I.

Следует думать, что отношение Блока к Белинскому, к литературно-общественному движению сороковых, а также и шестидесятых годов есть одно из невольных проявлений классового, дворянского самосознания Блока. Считая культуру пушкинской поры «единственной культурной эпохой в России прошлого века», Блок воспринимал «роковые» сороковые годы как конец этой культуры. Он полагал, что «шумное поколение» людей сороковых годов пришло во главе с Белинским на смену Грибоедову и Пушкину, заложившим «твердое основание истинного просвещения»¹⁾.

В высшей степени характерно это отрицательное отношение Блока к процессу умирания «пушкинской» культуры, т. е. к утрате дворянством руководящей роли в создании культурных ценностей. Выступление на культурно-политическую арену новых, враждебных дворянству социальных сил в лице литераторов-разночинцев было не по душе Блоку.

И если Блок не слишком положительно оценивал людей сороковых годов, то к резко выраженным идеям шестидесятников он относился еще более отрицательно: «Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал во всю глотку».

Нелюбовь к разночинцу не раз проявлялась у Блока. Впрочем, на этом примере можно убедиться в противоречивой сложности суждений поэта. Иногда он проявлял заметное сочувствие к вождям литературно-общественного движения сороковых и даже шестидесятых годов. Например, в статье, посвященной восьмидесятилетию юбилею Льва Толстого, рисуя мрачное русское прошлое, Блок восклицает: «В каком тайном и быстро сжигающем огне сгорели Белинский и Добролюбов?»²⁾. В письме к В. Н. Князнику от 9 ноября 1912 г. Блок заявлял, что в нем самом есть «шестидесятническая кровь»³⁾. Из записных книжек поэта выясняется, что летом 1908 г. он даже мечтал «о журнале с традициями добролюбовского «Современника». Мало того: в сентябре

того же года он писал, что «ц в е т русской интеллигенции» в шестидесятые годы боролся с общественным мраком и неблагополучием¹⁾. А в неизданной рецензии на книгу стихов Дм. Цензора, написанной уже после Октябрьской революции, указывая на недопустимость увлечения «формой», Блок писал, что «проклятый вопрос о «пользе искусства» сейчас опять вырастает с новой силой, с навязчивостью почти шестидесятнической»²⁾.

Характерно, что, выступая против Белинского, Блок отмечал, что сам он не принадлежит к числу историков литературы: «Если бы я был историком литературы, бесстрастным наблюдателем, я, может быть, оценил бы Белинского; но пока я страстно ищущу в книгах жизни, жизни настоящей (в обоих смыслах), я не могу простить Белинскому его немзыкальности и многих его истерических ошибок»³⁾.

«Школьные понятия — орудия художественной критики», применяемые повседневно, Блок находил безжизненными, сухими и беспомощными. С большим недоверием и несочувствием относился Блок к различным историко-литературным обобщениям, к обычным рассуждениям критиков о влияниях, школах и направлениях. «Поэты интересны тем, чем они отличаются друг от друга, а не тем, чем они подобны друг другу» — писал он в статье «О лирике».

Распределение поэтов по школам, по «способам восприятия» представлялось Блоку делом праздным и не заслуживающим внимания. «Поэт всегда хочет разное относиться к миру и разное воспринимать его и, вслушиваясь, перенимать разные голоса».

Невозможно накрыть поэтов критической крышкой и разгруппировать их по

¹⁾ См. «Записные книжки» Ал. Блока. Изд. «Прибой». Л. 1930, стр. 88 и 93. Разрядка моя. — В. Г.

²⁾ Цитирую по подлиннику.

³⁾ Статья «Гоголь и Апполон Григорьев» в газете «Жизнь искусства» за 1919 г., № 217—218. Блок считал, что Белинский слишком односторонне оценил «Выборные листы из переписки с друзьями» Гоголя. В противовес осуждающей и «истерической» оценке Белинского Блок выдвигал письмо к Гоголю молодого Ап. Григорьева, написанное в октябре 1848 г. Несколько преувеличенно относясь к роли Григорьева как поэта и критика, Блок не мог простить Белинскому отрицательных отзывов о нем.

¹⁾ «Судьба Аполлона Григорьева».

²⁾ «Золотое руно» за 1908 г. № 7—8. «Солнце над Россией».

³⁾ «Письма Ал. Блока». Изд. «Колос». М. 1925, стр. 200.

разным графам: «Лирик, того и гляди, перескочит несколько граф и займет то место, которое разграфлявший бумажку критик тщательно охранял от его вторжения».

Если Блок не любил трафаретных историко-литературных приемов, то к увлечениям формальным методом в литературоведении он относился не менее отрицательно. В последние годы жизни он довольно резко выступал против Н. Гумилева и других акмеистов, топивших «самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма»¹⁾.

Бесстрастное анатомическое расчленение стихотворных произведений на отдельные элементы формы было совершенно чуждо Блоку. Вообще про о б л о м е ф о р м ы в ее чистом виде он уделял очень мало внимания в своих критических опытах. Вопросам построения стиха Блок не придавал самостоятельного значения, не отделяя формы от содержания. Формальные особенности интересовавшего его поэта Блок рассматривал не изолированно, а в общей связи со всеми другими свойствами его творчества.

От писателя Блок требовал не только полной искренности в творчестве, но и своеобразного исповедничества перед читателем. По мнению Блока, подлинно-художественное произведение в том или ином отношении представляет исповедь писателя. «Великие произведения искусства,—читаем мы в его «Письмах о поэзии», — выбираются историей лишь из числа произведений «исповеднического характера»²⁾.

Блок считал, что единственным определением и опорой для писателя должна служить не оценка «литературной среды» и критики, а голос читательской массы, ободряющий или осуждающий. «Это даже не слово, даже не голос, а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а именно—к о л л е к т и в н о й д у ш и»³⁾.

Называя писателя «растением многолетним», Блок не раз предостерегал от опасности делать слишком поспешные выводы о творчестве писателя и произно-

сить над ним окончательные приговоры: «Как у ириса или у лилии росту стеблей и листьев сопутствует периодическое развитие корневых клубней, — так душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его—только внешние результаты подземного роста души»¹⁾.

Не только в ранних, но и в более поздних статьях Блока мы часто находим упреки в бесцеремонном обращении критиков с художниками. Не раз поэт делал выпады против неумелой и «дилетантствующей» критики и ядовито заявлял о «полной спутанности понятий», произошедшей «в мозгах у некоторых критиков»²⁾. В статьях и заметках Блока неоднократно сквозила нелюбовь к «критике» той поры. «Власть» критики поэт определял как «полномочие, данное кучкой людей», как «право судить великих русских художников с точки зрения эстетических канонов немецких профессоров» или с точки зрения «прогрессивной политики и общественности».

Следует отметить, что на отношении Блока к критической литературе не могли не отразиться те бесчисленные выпады против его поэзии господ Бурениных, Измайловых, Арабажиных и прочих буржуазных критиков, соперничавших тогда между собой в грубости, глумлении и непонимании поэзии.

III

Какие же задачи ставил Блок перед критикой вообще и перед собой, принимаясь за разбор произведений того или иного автора? Какие методы критической оценки художественного творчества он признавал правильными?

Блок неоднократно испытывал «чувство бесцельности анализа» и всегда стремился осуществлять задачи синтетического порядка. Поэт старался определить основные этапы творческого пути данного писателя, установить «отношение этого пути к господствующим путям в искусстве»³⁾. Считая необходимым выявить «дух творчества» писателя, Блок

¹⁾ Там же.

²⁾ «О лирике». См. «Золотое руно» за 1907 г., № 6.

³⁾ Неизданная статья «Генрих Ибсен» (1908), сохранившаяся в архиве Блока. Значительная часть ее была использована поэтом для его статьи «От Ибсена к Стриндбергу». Цитирую по рукописи.

¹⁾ См. статью «Без божества, без вдохновения».

²⁾ См. «Золотое руно» за 1908 г., № 7—9.

³⁾ Статья «Душа писателя» в газ. «Слово» за 1909 г., № 722. Разрядка моя.—В. Г.

сам находил, что подобная задача—«явно не аналитическая, не научная, но синтетическая, художническая задача»¹⁾. Блок опять-таки противопоставлял творчество критике, с ее обычными приемами аналитического расчленения литературного материала. «Время критического анализа приходит в серые дни, когда иссякают родники художественного творчества» — писал он в 1907 г.²⁾.

В этих определениях мы находим ключ к раскрытию своеобразного критического метода Александра Блока. Избегая говорить «привычным голосом русской критики», Блок не преследовал обычных критико-литературных целей. В очень малой степени он стремился доказывать те или иные положения. Принимаясь за писание какой-либо статьи или рецензии, Блок ни на минуту не переставал быть художником, а ведь прямой обязанностью художника он считал «показывать, а не доказывать»³⁾. Обнаружить и показать лицо писателя, дать художественный образ его—вот что считал Блок самым важным и необходимым.

Блок редко подходил к своим темам со стороны социологической, отстаивая законмерность подхода музыкального, подхода, свойственного, по его мнению, художнику. В этом он сам открыто признавался в предисловии к сборнику своих статей «Россия и интеллигенция».

Говоря о каком-нибудь поэте, он цитировал его целыми стихотворениями, показывая его читателю, нередко предоставляя последнему сделать необходимые выводы по своему усмотрению.

Примечательно, что, цитируя стихи Бальмонта в рецензии на его книги «Будем как солнце» и «Только любовь», Блок заявлял: «В этих строках можно угадать⁴⁾ сущность поэзии Бальмонта. Если мы попытаемся определить его точно⁵⁾, то потеряемся в определениях, исключающих друг друга».

Именно угадывание, непосредственное художественное «проникновение» в творчество поэта Блок считал единственно

необходимым и возможным. Блок зараннее отказывался от точного исследования, от аналитического расчленения поэтического материала, открыто вступая на путь субъективизма и импрессионизма.

В рамки нашей статьи не входит детальное сопоставление критико-литературной деятельности Блока и других представителей символистического направления. Мы лишь отметим попутно, что в этой области Александр Блок представлял собой прямую противоположность Валерию Брюсову. В то время, как приемы Блока были в основных чертах импрессионистическими, Брюсов обладал объективным, наукообразным методом. Старший поэт всегда стремился к максимальной ясности и логической последовательности изложения. В его статьях и рецензиях отсутствует тот элемент лирического субъективизма, который был столь свойственен критическим опытам Блока. Каждое свое положение Брюсов старался аргументировать, доказать, снабдить точными фактическими данными.

Блок, напротив, полагал, что «художественный индивидуализм» в критике гораздо глубже, могущественнее, живее обычных «мещански-будничных приемов объективной критики»¹⁾. И, придерживаясь подобных взглядов, Блок постоянно применял их на практике, в своей критической работе. В его статьях на литературные темы мы нередко встречаем заявления, что он не будет «говорить подробно об этом вопросе», не станет подыскивать доказательства, а выскажет «кратко только свое собственное убеждение».

Очень характерно, что одна из первых критических заметок Блока—о «Второй симфонии» Андрея Белого—оказалась настолько лирической и субъективной, что редакция «Нового пути» не решилась поместить ее в отделе «Литературной хроники», а напечатала в отделе «Из частной переписки»²⁾.

Случалось, что Блок испытывал своеобразное критическое бессилие. На-

¹⁾ Там же.

²⁾ «Литературные итоги 1907 г.» См. «Золотое руно», № 11—12.

³⁾ «О современном состоянии русского символизма». Изд. «Алконост». П. 1921.

⁴⁾ Разрядка моя.—В. Г.

⁵⁾ Разрядка Блока.

¹⁾ Рецензия о «Горных вершинах» Бальмонта. См. «Новый путь» за 1904 г., № 6.

²⁾ См. журн. «Новый путь» за 1903 г., кн. IV и книжку П. Перцова «Ранний Блок». Изд. «Костры», М. 1922, стр. 32.

пример, посвятив три больших страницы «Золотого руна» драме Леонида Андреева «Жизнь человека», Блок восклицает: «И пусть мне скажут, что я не критикую, а говорю лирическое «по поводу». Таково мое восприятие. Я не в силах критиковать...»¹⁾.

Подобные приемы субъективной оценки литературных фактов, подлежащих всестороннему объективному освещению, мы находим в большинстве критических опытов Блока. Примеров можно привести сколько угодно. Нетрудно убедиться, что блоковская статья «Судьба Аполлона Григорьева» весьма мало общего имеет с обычными «критико-биографическими очерками», помещавшимися в первых томах «собраний сочинений». Это не биография Григорьева и не анализ его творчества, а попытка художественски, синтетически изобразить его творческую личность, его «судьбу», его «внутренний путь». На всей статье лежит отпечаток субъективизма; точных данных мы находим в ней очень мало; отсутствует даже дата смерти Аполлона Григорьева.

Статья «Поэзия заговоров и заклинаний», о которой мы уже упоминали, при всей своей яркости и оригинальности не может служить образцом для историко-литературных работ. Не как беспристрастный исследователь, а скорее опять-таки как художник Блок сделал интересную попытку восстановить целостную картину древнего мироощущения, исполненного всякого рода суеверий. В ряде образов поэт показывает это мироощущение читателю, не делая из подобранного им материала научных выводов и обобщений. В таком подходе заключается несомненная ценность многих статей Блока и вместе с тем — их слабость.

IV

Таким образом, нам приходится оценивать Блока преимущественно как критика-импрессиониста. Его взгляды на роль критики и литературы, как мы видели, отнюдь не совпадали с основными предпосылками и традициями критиков-публицистов. Применение к литературным явлениям публицистических оце-

нок Блок нередко определял как что-то неправомерное и неинтересное. Само собою разумеется, что литературные портреты, сделанные Блоком, при всей своей яркости и оригинальности не соответствуют тем приемам и методам, которыми обладает современное литературоведение, строящееся на конкретной и точной социологической основе.

Но читая и перечитывая критические опыты Александра Блока, мы не должны забывать о том, в какой момент литературного развития они были написаны и какими факторами социальной жизни они были обусловлены. Кроме того, нельзя упускать из виду ту сложную эволюцию мироощущения, которую претерпел Александр Блок в течение своей творческой жизни. Поэтому мы совершили бы большую оплошность, если бы поспешили отнести Блока в разряд представителей эстетической критики.

Мы не имеем возможности дать здесь исчерпывающую социологическую оценку того сложного и яркого направления дореволюционной русской литературы, которое принято называть «символизмом». Лишь в самых беглых чертах мы попытаемся наметить основные общественные предпосылки символистического направления, почти еще совершенно неисследованного с этой стороны.

Напомним, что русский символизм зародился в начале девяностых годов, в обстановке самой мрачной «победоносцевской» реакции, наступившей после 1 марта 1881 г. В этот период среди значительной части русской интеллигенции вследствие невозможности применить свои силы в сфере общественно-политической, стали возникать эстетические направления, переносившие центр внимания из области социальных вопросов в сферу искусства. В условиях всевозможных гонений, политической усталости, общественного индифферентизма, пессимистических настроений неизбежно развивались стремления уйти подальше от тяготящих реальностей жизни в область «чистого» искусства, замкнуться в своем индивидуалистическом сознании.

Этот же исторический период, как известно, характеризовался интенсивным развитием капитализма в России и одновременно с этим — ростом пролетарского движения. Русская буржуазия быстро

¹⁾ «О драме». См. «Золотое руно» за 1907 г., № 7—9.

стала оттеснять на задний план бессильное и разорившееся дворянство.

И в то время, как менее значительная часть русской интеллигенции, усвоив марксистскую идеологию, начала активную и последовательную борьбу с капитализмом, большинство интеллигенции индивидуальными и разными путями пошло сотрудничать с буржуазией.

В процессе быстро и мощно развивающегося русского капитализма из среды буржуазии все чаще и чаще стали выделяться те ее представители, которые, обладая экономическим могуществом, стали претендовать на известную утонченность и «аристократичность». Невзрачное прошлое своих дедов и отцов, пробывавших себе из неизвестности дорогу к богатству и власти, как бы компрометировало их, уязвляло их новоявленную классовую гордость. Поэтому наиболее развитые представители буржуазии, вытесняя обескровленные дворянские роды и проявляя стремление обставить с наибольшей пышностью свое новое общественное положение, потянулись к искусству и литературе, поспешили привлечь к себе поэтов и художников.

Русская буржуазия стала охотно оказывать материальную поддержку «декадентству», символизму, давая возможность развиваться индивидуалистическим, антиобщественным течениям в искусстве и литературе.

Однако, был момент в развитии общественной и литературной мысли, когда молодое движение «декадентов», требовавших свободы личности и протестовавших против жизненного и литературного застоя, своеобразно уживалось в некоторых областях с русским марксизмом. В девяностых годах целый ряд выдающихся представителей русского модернизма (Бальмонт, Мережковский, З. Гиппиус и другие) сотрудничали в легальных марксистских журналах «Начало» и «Жизнь».

Но разумеется, вскоре отчетливо обнаружилось коренное расхождение декадентства с марксизмом в понимании задач художественного творчества. Как только была выработана более конкретно эстетическая платформа русского модернизма, а марксисты стали больше уделять внимания вопросам искусства — разрыв оказался неизбежным. Не даром

уже в 1897 г. основоположник марксистского литературоведения Г. В. Плеханов обрушился на одного из теоретиков модернизма А. Л. Вольнского, утверждавшего, что «критика художественных произведений должна быть не публицистической, а философской, — должна опираться на твердую систему философских понятий известного идеалистического типа»¹⁾. Эстетические представления Вольнского Плеханов подверг резкому и ироническому разбору, показывая, что подлинно-философская и подлинно-научная критика неизбежно оказывается проникнутой публицистикой.

Позднее ряд марксистов в еще более резкой и заостренной форме выступил против модернизма. Но дальнейшее рассмотрение этого вопроса не входит в рамки нашей статьи²⁾.

Не приходится отрицать, что в дальнейшем влияние русской буржуазии на символистическую литературу возрастало. «Золотое руно», в котором стали сотрудничать почти все символисты, издавался Н. П. Рябушинским, центральный символистический орган «Весы» — С. А. Поляковым, альманахи «Сирин» — М. И. Терещенко и т. д. Все эти лица, будучи преимущественно представителями крупного промышленного и торгового капитала, стремились в той или иной форме и мере привить писателям и художникам свои вкусы, неизбежно пропитанные классовой идеологией³⁾.

В своих воспоминаниях об Александре Блоке Андрей Белый свидетельствует о влиянии буржуазии на «декадентскую» среду: развитие символистической литературы шло «по линии интересов крупного купечества» к ней. «Миллионер неизбежно входил, входил сам в литера-

¹⁾ См. сочинения Плеханова, т. X; Гиз, 1925, стр. 174 и след.

²⁾ См. нашумевшие в свое время сборники «Литературный распад», т. I и II. П. 1908.

³⁾ Однако, было бы неправильно сводить социальную роль русского символизма исключительно к отражению классовых интересов буржуазии. Ряд устремлений писателей-символистов оказывался окрашенным даже ненавистью к буржуазии. В символистической литературе и в частности в творчестве Блока, как мы уже говорили выше, заметны были дворянские струи.

Развитие этой темы, не входящей в рамки нашей статьи, мы даем в подготовляемой нами большой работе о Блоке.

турный салон, входил осторожно, с конфузом, а выходил... уверенно и без всякого конфуза»¹⁾.

Тот протест против социальной несправедливости, против эксплуатации трудящихся, который нередко (особенно после революции 1905 г.) вспыхивал в сознании писателей-символистов, наиболее тонкие и развитые представители буржуазии нередко стремились смягчить, сделать его бездейственным и безвредным. Ими велась мало заметная, но вместе с тем достаточно определенная пропаганда эстетических, антиобщественных идей в писательской среде.

Интереснейшие сведения об этом мы находим в дневнике самого Блока. Ведь миллионер М. И. Терещенко, заказав Блоку «Розу и крест», постоянно оказывал давление на поэта, при этом не слишком положительное. Мало того: Терещенко, будучи сам увлечен искусством (но отнюдь не забывая о таких «прозаических» вещах, как эксплуатация Донецкого бассейна), при встречах с Блоком развивал идеи такого порядка: «Искусство уравнивает людей (одно оно во всем мире)»; нельзя понять людей, «которые могут интересоваться политикой, если они хоть когда-нибудь знали (почувствовали), что такое искусство»²⁾.

Другими словами: не обращай внимания на политическую и социальную несправедливость, не надейся на изменение существующего капиталистического строя, ищи утешения и тихой радости в искусстве³⁾.

Подтверждение того, что Терещенко оказывал на Блока большое влияние, мы находим опять-таки в дневнике поэта более позднего времени. Лишь много лет спустя, уже после Октябрьской революции, Александр Блок оказался в состоянии разобраться в том, что происходило тогда. 7 января 1919 г., преодолевая свой эстетизм и свою классовую ограниченность, Блок писал с большой остротой и силой:

«Я окончательно освобождаюсь от во-

ли М. И. Т[ерещенко]. Мы с ним в свое время загнипотизировали друг друга искусством. Если бы так шло дальше, мы ушли бы в этот бездонный колодезь; оно — Искусство — увело бы нас туда, заставило бы забраковать не только всего меня, а и все; и остались бы: три штриха рисунка Микель-Анджело; строка Эсхила; и—все; кругом пусто; веревка на шею»¹⁾.

V.

Пересмотрев разрозненные статьи и критические заметки Александра Блока, а также его отдельные высказывания о роли художественного творчества, о взаимоотношениях писателя с обществом, мы убеждаемся в противоречивой сложности суждений поэта. В его литературном наследии можно обнаружить самые разнообразные оттенки мысли, от утверждения независимости искусства от жизни вплоть до признания обязанности искусства приносить пользу обществу, до утверждений, что «марксисты — самые умные критики»²⁾. Не без наивности Блок однажды утверждал, что трагедии Ибсена «лишены тенденции», поскольку великий скандинавский драматург «прежде всего и главное всего — художник»³⁾. Разумеется, нам нет необходимости оспаривать это мнение и доказывать, что в действительности искусства нетенденциозного не существует вовсе.

Как уже говорилось выше, при зрелой значительности своего ума и дарования Блок в весьма малой степени был приспособлен к последовательному и систематическому мышлению. Систематика, постоянное логическое расчленение фактов и добытых наблюдений не было свойственно поэту. Чрезвычайно чутко отзываясь на явления окружающей жизни, Александр Блок даже и в зрелом возрасте был в некоторых отношениях чересчур зыбок, неустойчив и подвержен различным влияниям. В дневнике поэта смена его настроений, все его сомнения и колебания, вся совокупность творческих противоречий обнаружены наиболее остро.

¹⁾ Дневник, II (1917—1921), стр. 146. Л. 1928.

²⁾ Дневник, II, стр. 112.

³⁾ Незданная статья «Гейрх Ибсен». Цитирую по подлиннику.

¹⁾ «Записки мечтателей», кн. VI, стр. 59.

²⁾ Дневник, т. I (1911—1913) стр. 120—121. Изд-во писателей в Ленинграде, 1928.

³⁾ Впрочем, подобный образ мысли, как известно, не помешал М. И. Терещенке принять активное участие в политической жизни и даже стать министром временного правительства.

Разобраться до конца в явлениях общественной борьбы, точно выявить и закрепить свое отношение к ним Блок не был в состоянии. При этом он считал, что для художника противоречия творчески необходимы и, в конце концов, вовсе не стремился избавиться от амбициозности своего сознания.

Однако, нетрудно все-таки подметить основную эволюцию взглядов Блока на художественное творчество, чрезвычайно существенную и характерную для поэта.

Эстетические представления молодого Блока были типичными для начала девятисотых годов, для символистов той поры. Личность поэта-избранника, идущего «никем не пройденными путями», он противопоставлял в то время обществу, замыкаясь в своем индивидуальном сознании. «Никакие тенденции не властны над поэтами», весь мир поэта заключается в его способе восприятия и т. д. Антисоциальность подобных воззрений совершенно очевидна.

Позднее Блок не раз выражал досаду по поводу применения к литературе публицистических оценок. Но если мы сравним эстетические воззрения молодого Блока с его зрелыми рассуждениями о литературе и обществе, то мы убедимся, что творческое развитие поэта подсказывало ему необходимость уйти как можно дальше от всевозможных провозглашений независимости и «чистоты» искусства.

Постановка искусства вне всего окружающего очень скоро стала смущать Блока. Постепенно поэт пришел к выводу, что в те годы, когда новое русское искусство, искусство символизма, было еще непризнано и даже гонимо, вопросы формы, находившейся в последние десятилетия XIX века в пренебрежении, могли быть боевым лозунгом. Поэтому «в те дни художники имели не только право, но и обязанность утверждать зная «чистого искусства».

Но далее, в период назревавшего кризиса русского символизма, за обычными вопросами о форме искусства (как?) и о его содержании (что?) перед поэтом неизбежно встал третий вопрос — «о необходимости и пользе художественных произведений», об их социальном значении. В сознании Блока мало-помалу стала преобладать забота о пользе и

долге, о том, что должно быть в искусстве и чего быть не должно («к чему?» и «зачем?»). В 1908 г. Блок уже считал, что этот вопрос поставлен не отдельными людьми, а «русской общественностью, в ряды которой возвращаются постепенно художники всех лагерей». Лишь испытывая силу непосредственной связи с народом и обществом, «которое провозвело его», и сознавая свою огромную ответственность перед ним, художник способен «ритмически идти единственно необходимым путем». Тот самый Блок, который еще так недавно чуждался всякой публицистики, стал говорить о том, что «подлинному художнику» не опасен публицистический вопрос «зачем?» Считая, что игнорировать этот вопрос может лишь «отвлеченный утонченный, безысходный декадент»¹⁾, Блок пришел к выводу, что эстетическая формула «искусство для искусства» стала «пуста, как свищ»²⁾.

Мало того: Блок вскоре начал говорить, что он — «общественное животное», что он обладает «определенным публицистическим пафосом»³⁾. И, встав на подобную точку зрения, Блок сам стал применять в своих работах ряд публицистических приемов. Например, в своем предисловии к «Праматери» Грильпарцера, написанном в июле 1908 г., Блок проводит интересную параллель между эпохой политической реакции в Австрии и Германии (которой была обусловлена эта драма) и русской реакционной действительностью. Почти вся осень 1908 г. прошла у Блока под знаком общественности. К этому времени, как известно, относится создание целого ряда статей о народе и интеллигенции. Разрыв Блока с большинством своих «собратьев» по перу наметился в то время уже достаточно определенно.

Примечательно, что, помещая в «Золотом руне» свои стихи и даже ведя в нем критическое обозрение, Блок не считал этот журнал внутренне близким себе. Поэта не удовлетворяли противоречивая эстетическая утонченность «Золотого руна», издававшегося с купеческой рос-

¹⁾ См. статью «Три вопроса» в «Золотом руне» за 1908 г., № 2. Разбивка моя. — В. Г.

²⁾ См. статью «О театре» в т. IX собрания сочинений Блока.

³⁾ Дневник, II, стр. 98.

кошью, и некоторый налет порнографии, заметный в ряде номеров. С чувством постороннего человека Блок писал 2 марта 1909 г. своей матери: «Странный журнал! У них давно тенденция совмещать «утонченность» с «интеллигенцией и народом»¹⁾. А 22 июля 1908 г. он отметил в своей записной книжке о том, что собирается «распроститься» с «Весами»²⁾.

Возмущение против чрезмерного интереса к узким вопросам эстетики, против увлечения мелочами прошлого, против любования безделушками искусства в дальнейшем прорывалось у Блока довольно часто. Еще в начале 1912 г., читая социал-демократическую газету «Звезда» и фельетоны М. Горького «О современности» в «Русском слове», Блок с удовлетворением отмечал в своем дневнике: «Спасибо Горькому и даже—«Звезде». После эстетизмов, футуристов, библиофилов — запахло настоящим»³⁾.

Наблюдавшееся в те годы стремление как можно пышнее и богаче выпускать различные «любительские» издания Блок стал связывать с явлениями общественного порядка. Например, он считал, что ту «сумасшедшую роскошь», с которой издавался журнал «Русский библиофил», могла породить «только реакция»⁴⁾.

Но особенно ярко и резко Александр Блок стал выступать против сторонников «чистого искусства» после Октябрьской революции. Под влиянием революционных событий поэт произвел решительную переоценку всего того, что представлялось ему раньше безусловно ценным. В частности он убедился в культурном бесплодии большинства таких изысканных журналов, как «Аполлон», «Мир искусства», «Старые годы» и т. д. Эстетскую, но не творческую сущность «Старых годов» Блок великолепно определил в своем дневнике, назвав руководителем этого журнала «буржуйчиками на готовенькой красоте»⁵⁾.

Эстетское отрицание за искусством

всяких обязанностей приносить пользу жизни Блок уподоблял красивому, но бесполезному французскому парку, в противоположность русскому саду, сочетающему в себе красивое с некрасивым и полезным, цветы—с грядками овощей. И поэт был уже уверен, что второй сад «прекраснее красивого парка». Крупный, осознавший границы своего творчества художник не может отделять себя от общества. По мнению Блока, «творчество больших художников есть всегда прекрасный сад с цветами и репейником, а не красивый парк с утрамбованными дорожками»¹⁾.

Всякие разговоры о «чистом» искусстве, о «чисто литературных задачах» Блок считал «непитательными и нежизненными». Русская литература вопреки всем этим устаревшим разговорам «тесно связана с общественностью, с философией, с публицистикой»²⁾.

Творческая личность естественно сочетается с душою массы, с коллективом, вследствие чего понять особенности дарования художника можно лишь определив, что общего он имел со своей эпохой. Художник, не участвующий в жизни общества, не может должным образом запечатлеть в искусстве и свою собственную жизнь. «Я боюсь каких бы то ни было проявлений «искусства для искусства», — читаем мы в блоковском дневнике за 1919 г., — потому что такие тенденции противоречат самой сущности искусства и потому что, следуя ей, мы в конце концов потеряем искусство; оно ведь рождается из вечного взаимодействия двух музык — музыки творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души массы. Великое искусство рождается только из соединения этих двух электрических токов»³⁾. Вне этого динамического сочетания с жизнью оно не может быть ни создано, ни оправдано. В мироощущении истинного художника, по мнению Блока, отсутствует разрыв между «своим» и «не своим», между личным и общим. Подлинное искусство неизбежно оказывается насыщенным духом времени, духом современной эпохи.

¹⁾ См. «Письма к родным». Изд. «Academia», Л. 1927, стр. 248.

²⁾ «Записные книжки» Ал. Блока. Изд. «Прибой». Л. 1930. Стр. 88.

³⁾ Дневник, I, стр. 85. Запись от 4 марта.

⁴⁾ Там же, стр. 84.

⁵⁾ Дневник, II, стр. 98.

¹⁾ Дневник, II, стр. 161.

²⁾ Статья «Без божества, без вдохновения».

³⁾ Дневник, II, стр. 161.

Попробуем подвести некоторые итоги. Критические работы Александра Блока, обладающие несомненным своеобразием и оригинальностью, вместе с тем весьма характерны для той переходной, межреволюционной эпохи, в которую жил поэт. Они являются ярким отражением сложных общественных и литературных течений конца XIX и начала XX века. Многие в этих работах, чуждое на-

шей современности, стало уже достойным историка литературы и подлежит лишь ретроспективному изучению. Но целый ряд вопросов о судьбах литературы, волновавших в свое время Блока, не утратил и сейчас актуального значения. И какие бы противоречия мы ни обнаруживали во взглядах Александра Блока, — его критико-литературные опыты заслуживают изучения.

2. ТОМАС ГАРДИ

Евг. Лани

Двадцать пять монографий о творчестве Гарди, вышедших при жизни писателя, обеспечивают ему очень почетное место в истории английской литературы, а место это и связь Гарди со стилистическими традициями английской классики прошлого века позволяют исследователям включить его имя последним в хронологический список классиков английского романа. Отошло в прошлое и забыто волнение, вызванное «Тэсс из рода Д'Эрбервилль» с вызывающим подзаголовком «Чистая женщина, правдиво изображенная», — волнение, свидетельствующее о том, что Гарди в 1891 году был слишком «современным писателем», и теперь, через два года после его смерти, никто не пытается лишить автора «Тэсс» титула «последнего классика эпохи Виктории».

Почти на две равные части разламывается история творческой работы Гарди. Первый период он отдал целиком прозе, второй — поэзии. В этот второй период он к прозе уже не возвращался — явление несколько необычное в истории литературы, насчитывающей немало поэтов, ушедших к прозе. Но, несмотря на ряд достоинств поэзии Гарди, на родине Броунинга есть немало почитателей эпопеи «Dynasts» и медитативной лирики автора этой эпопеи, — не поэзии обязан Гарди своим высоким титулом английского классика. В сущности, мотивы разрыва Гарди с прозой крайне загадочны. Они могли бы найти объяснение, если бы его дарование беллетриста шло под уклон, но достаточно беглого взгляда на хронологическую таблицу его романов, чтобы такое объяснение отверг-

нуть. Ибо именно к началу девяностых годов Гарди вырос в настоящего большого мастера — все его последние романы, если не считать «The Well-beloved», в котором он отдыхал после «Tess», свидетельствуют о полной художественной зрелости, об очевидном для всех росте его мастерства. Нам представляется возможным высказать следующее предположение, более подробное обоснование которого увело бы нас слишком далеко: Гарди слишком связан был всеми сторонами своего мастерства прозы с уходящими традициями островного романа и слишком чужды ему оказались влияния континента, — главным образом Франции, — просочившиеся на рубеже нашего века. Он не мог не видеть, что будущее английского романа закладывается новыми, иными и чужеродными ему принципами такого художника, как Генри Джемс; он не мог не сознавать своей литературной консервативности, некоторой старомодности на фоне нового психологического романа и новых стилистических канонов, в которых архаизм синтаксиса и лексики в викторианском романе преодолевался молодой литературной школой. И Гарди отошел от прозы, тематика которой так тесно была сплетена с родным ему, слишком английским и слишком островным Дорсетом. Но жизнеспособность той социальной группы, с которой он связан был органически в подлинном и точном смысле, жизнеспособность мелкого наследственного джентри в Дорсете и в английской провинции испарялась с каждым годом более и более явственно. Джентри беднели, разорялись, работали

на земле арендаторами своих собственных ферм, либо порывали связь с землей. Город всасывал их тогда, пополняя ими ряды мелкой городской буржуазии, экономика диктовала Дорсетам свои законы, а история перечеркивала эту группу мелких помещиков, некогда игравшую столь значительную роль в экономической жизни Англии. К началу века социальное лицо английской *country* — сельской провинции — изменилось в такой мере, что нельзя было питать никаких надежд на торможение того процесса, который вел к гибели джентри многочисленных Дорсетов. Процесса ухода джентри из английской истории мы еще коснемся; теперь же следует подчеркнуть: отдавая в течение двадцати пяти лет свои силы изображению меняющейся английской провинции, — таков был фон всех его романов, — Гарди сознательно шел мимо города, городской тематики и технических навыков, которые несли с собой новые писатели, говорящие от лица городской буржуазии. Проследившая затухание джентри, он оказался лицом к лицу с печальным для него фактом: идеологии мелкого помещика на рубеже века не суждено было играть никакой роли в социально-политической жизни его родины. Новые писатели, несущие новые писательские традиции, традиции, никак не связанные с викторианством, шли на смену. Английская *country* отходила на задний далекий план. Перевооружаться идеологически и технически Гарди не мог — слишком он был связан с родной ему почвой Дорсетшира и умирающей социальной группой, экипированной его по образу классиков английской деревни. И потому он порвал навсегда с Дорсетом прозы, размышляя о мире и о человеке всю остальную жизнь в своей лирике.

Пятнадцать романов Гарди и три сборника новелл — неравноценны. Если не считать первых двух романов, в которых он только нащупывал пределы своих творческих возможностей, при ознакомлении с датами его книг невольно бросается в глаза периодичность срывов. После «*Far from the Madding Crowd*» он пишет легковесный роман «*The Hand of Ethelberta*». Поднявшись до уровня Софокловой драмы, — столь высоко оценивает Бич роман «*The Return of the*

Native», — Гарди в течение следующих пяти лет издает четыре романа, не возвышающихся над средним уровнем; два из них — «*A Laodicean*» и «*The Romantic Adventures of a Milkmaid*» — даже ниже этого уровня. О романе «*The Well-beloved*», зажатом между двумя лучшими его романами, мы упоминали. Кажется, будто Гарди необходим был какой-то творческий разбег для того, чтобы дать книгу в уровень своей одаренности и мастерства. Но благодаря этим своим особенностям значение и слава Гарди базируются на семи романах; они также неравноценны, но ни один из них не выпадает из истории английской литературы, а такие романы, как «*The Return of the Native*», «*The Mayor of Casterbridge*», «*Tess d'Urbervilles*» и «*Jude the Obscure*», можно поставить в ряд лучших романов прошлого века.

В 1871 году — через год после смерти Диккенса — в Лондоне издан был анонимно роман «*Desperate Remedies*» — первая книга Гарди. Но дебютировал он значительно раньше. В 1865 г. «*Chamber's Journal*» поместил рассказ «*Как я сам строил дом*» — «*How I built myself a House*». Рассказ этот, обнаруживающий прекрасную осведомленность автора в архитектуре и написанный в юмористических тонах от первого лица (кстати этот повествовательный прием никогда не употреблялся Гарди в романах и крайне редко в новеллах), беллетристически оформлял ряд специальных проблем, связанных с постройкой дома.

Дебютный роман «*Desperate Remedies*» («*Отчаянное средство*») прошел незамеченным. Интрига подана была умело — в манере Уильки Коллинза. Композиционно он напоминал детективные романы. Примитивная фабула неинтересна, типов дебютант не создал, но, возвращаясь в одном из своих предисловий к дебюту, Гарди отмечает, что в описании «любовных сцен» он в 1871 году, когда термин «натурализм» еще в употреблении не был, дал несколько «любовных сцен» в натуралистической манере. Это верно, но только отчасти, ибо натурализм этот до читателя не дошел и книга никакого успеха не имела. Следующий его роман вышел через год. И в нем — в этом романе «*Under the Greenwood Tree*», построенном по совершенно ино-

му принципу — можно легко узнать Гарди. Как и первый роман, он является только опытом; и на нем Гарди пробовал свои силы в повествовательной технике и в обрисовке женских типов, но та обстановка, на фоне которой анонимный автор строил свою «сельскую идиллию», обнажала сильнейшую сторону творчества Гарди.

Во втором романе перед читателем предстал Вессекс, — тот Вессекс, который неразрывно связан с именем Гарди, Вессекс со старинными традициями, с крепким сидром, со старинными песнями и танцами, с крестьянами, привязанными к своей родной земле, с мельстокским церковным хором в пору появления *Harmonium'a*. Закрыв от себя тени, отбрасываемые этим идиллическим Вессексом, Гарди зарисовал в этой повести десятки поселаян с тем благородным юмором, который весьма характерен для некоторых из его новелл. Через «Greenwood Tree» он увидел «уютный сочельник», умышленно не заметив драматических коллизий, которым он отдал столько страниц в будущих своих книгах, он любовно и сочувственно описывал умирающие обычаи поселаян, старомодные — даже в то время — их нравы, пытаясь первые закрепить тот местный колорит, который лежит на всех его книгах — дух Вессекса», как принято у его соотечественников называть.

На современной карте не найти Вессекса. Но Гарди не изобрел этого названия. В далеком прошлом так называлась страна «западных саксов» (*West Saxons*), по которой прошли и на которой оставили следы своих культур кельты и римляне, саксы, датчане и норманы. Трудно указать в точности границы этой страны «западных саксов» у Гарди. Он включает в нее и Бристоль, и Сэлisbury, и Винчестер и, во всяком случае, графство Дорсет, граничащее с тем Дивоном. берег которого открывается путешественнику, пересекаемому Атлантику. Отыскать на карте упоминаемые Гарди в романах имена не представляет труда. Кестербридж его романов — Дорчестер, Мельчестер — Сэлisbury, а Шэртон Аббос — Шерборн. И города и язык Дорсета носят знаки тех культур, которые отложились некогда на почве Дорсетшира. Римская планировка городов, просочившееся

глубоко в быт и еще не изжитое влияние религии древних саксов с ее фетишизмом и суевериями, обнаруживающими откровенное язычество, которое прикрывалось христианством. Какие-то следы норманского феодализма в отношениях между лендлордом и фермером. Имена крестьян Дорсетшира с их кельтскими и романскими корнями. «Многие из крестьян, — писал Гарди о жителе Дорсета, — носят испорченные норманские фамилии... Многие из них — потомки римлян и напоминают мне о Fiesolo. Они даже употребляют латинские слова, которые все пережили». В современной культуре этой английской области скрестились и затейливо смешались столь несхожие меж собой традиции и навыки, насчитывающие много столетий и отложившиеся на быте и психике дорсетского крестьянства, что для изображения этого быта и этой психики нужен был не только очень зоркий глаз художника. Точное и правильное определение Вессекса дал один из английских историков литературы Пристли, коснувшись творчества Гарди: «...его Wessex — «специальная среда» его типов (по Дарвину и др. биологам)». Но этот исследователь не делает необходимых выводов, мимо которых нельзя пройти, изучая Гарди. Для того, чтобы развернуть Вессекс, для того, чтобы дать «специальную среду» для своих бесчисленных типов, — а Гарди ее дал, — нельзя было положиться на одно художественное чутье и этим ограничиться. Мериме с его методом не давал «специальной среды» и дать, разумеется, не мог. «Интуиция» — только она одна — не помогла бы Гарди написать людей своего Дорсетшира такими, какими вошли они в историю английской литературы. Никакая интуиция не помогла бы задержаться на тех деталях психики, быта и нравов, из которых Гарди строит свои типы — этих «детей земли» — «children of the earth». Он знает мельчайшие подробности в организации крестьянского хозяйства, детали в их повседневной работе, знает технику посева и жатвы, уход за скотом и домашней птицей, огородничество и садоводство, секреты изготовления сидра и способ сбивания масла. Он знает заковы, которыми не может не интересоваться дорсетец, и те конвенциональные нормы, какие опреде-

ляют его быт; он не нащупывает, а уверенно осязает линию, ограничивающую круг интересов «деревенского люда» — *countryfolk*, — разбитого на социальные группы. Он знает безошибочно и точно не только общие линии мировоззрения деревенского жителя, но и те знаки, какие оставляет на мировоззрении профессия в пределах одной и той же социальной группы. С огромным психологическим реализмом он дает не десятки, а сотни живых людей, варьирующих свои взгляды на жизнь, свои религиозные искания, свои суждения о социальном порядке и этические оценки в зависимости от своей групповой принадлежности и профессии. Гарди знает точный вес седых традиций, вскормивших *вессекскую* породу — «*gasu of the soil*». Питая современную психику *вессекца*, эти традиции донесли отголоски слишком далеких эпох и усложнили тип *вессекца*. А усложнив, они обрекли на полное бессилие голую интуицию, которая захотела бы строить роман или новеллу на человеческом материале *Дорсета*. Чтобы дать этот материал, нужно было *Дорсет* з н а т ь, быть может, глубже, чем любой иной. И Гарди его знал.

Ибо почти вся его жизнь связана была с *Вессексом*. История его предков напоминает историю рода *Д'Эрбервиллей* из «*Тэсс*». Некогда в долинах и лесах *Дорсетшира* хорошо знали род Гарди. Но время шло, экономика изменяла социальное лицо этой английской области, а предки Гарди оказались не из тех, что сохранили свои гербы и поместья до наших дней. Задолго еще до рождения Гарди они превратились в мелких землевладельцев, утерев и герб, и поместья. Затем из рук их ушли и те участки земли, которые могли бы прокормить владельца, не заставляя его прибегать к поискам какой-нибудь профессии. Быть может, именно с Гарди история начала свою разрушительную работу в *Дорсете* среди мелкопоместных джентри. Во всяком случае род Гарди не обнаружил жизнеспособности и, повидимому, сопротивлялся слабо в борьбе с экономическим натиском новых социальных групп. Когда Гарди родился, — в июне 1840 года, — отец его был подрядчиком в *Дорсетшире* по постройке домов. Рабочих у него было весьма мало — всего шесть человек. Гра-

моте научился Гарди у матери; обучаясь в местной школе, он подолгу бродил в окрестностях *Дорчестера*, привлекаемый теми памятниками материальной культуры, какие оставили народы, прошедшие по земле *Вессекса*. Но интересы Гарди в годы его отрочества направлены были в сторону от литературы. Профессия отца и та прекрасная архитектурная школа, которую нашел он вокруг *Дорчестера*, разбудили в нем любовь и воспитали вкус к архитектурной работе. Развалины древних аббатств, елисаветинский и георгианский стиль скромных построек в окрестностях родного его города привлекли внимание подростка к архитектуре. Ее он избрал своей профессией и в 16 лет поступил учеником к местному архитектору.

Учеником местного *дорчестерского* архитектора он был вплоть до 1861 года, когда переехал в Лондон для продолжения своего обучения. Казалось, он твердо вступает на путь художника-архитектора; романы его свидетельствуют о хорошем знакомстве с историей живописи, а данные его биографии подтверждают его занятия историей изобразительных искусств.

Но указанного пути, как известно, Гарди не избрал. Работая по специальности, он находил время заниматься историей литературы и теологией, при чем отдельные места в его книгах (напр. в «*Jude the Obscure*») говорят о том, что знакомство с богословием не носило поверхностного характера. Последующие данные его биографии обнаруживают колебания в выборе специальности. Еще в *Дорчестере* он писал стихи; лондонские занятия историей литературы уводили от чертежной доски. Колебания разрешались отказом от избранной специальности. О первом печатном опыте Гарди мы уже упомянули, а год спустя, в 1866 г., он покинул Лондон и поселился в *Веймуте*. Твердое решение стать писателем сложилось окончательно. Там, в *Веймуте*, он начал свой первый роман, не увидевший света. Переехав на родину, в *Дорчестер*, он в течение ряда лет наезжал в Лондон, путешествовал по Европе, чтобы с 1885 года поселиться окончательно в выстроенной им небольшой усадьбе *Max Gate* в

окрестностях Дорсета. Там он и умер в 1928 году.

2

Один из исследователей Гарди — Дэффин — писал: «Он первый провозгласил Демос личностью, бесконечно утонченной и олимпийски величественной». Сказано это высокопарно, к тому же понятие Демос лишено твердых контуров. Следовало бы сказать точнее: Гарди на всем протяжении своей работы над прозой был верен той формуле, которую однажды дал. «Поведение высших классов, — писал он, — маскируется условностями и подлинный характер нелегко разглядеть; если его увидишь — зарисуешь субъективно. У представителей низших классов поступок — прямое выражение внутренней жизни; по нему характер раскрывается в поведении и может быть зарисован».

Меридит держался иной точки зрения. Генри Джемс — этот англо-американец и парижанин — следовал заветам Меридита. Но Гарди слишком связан был корнями с сельской провинцией, чтобы не оценить того преимущества, какое выпадает на долю художника, которому большую часть жизни приходится жить среди людей «без маски». Для Гарди, с его огромной любознательностью и жадностью художника к живому человеку, распутывание «условностей», маскирующих поведение высших классов, являлось только помехой на его пути сознательно и последовательно реалиста, исключаяющего, как ему казалось, субъективные домыслы в характеристике героев. Живых людей, портреты которых он зарисовывал, поставлял ему его родной Вессекс; простота и цельность этих людей, чуждых усложненной жизни крупных центров, позволяла ему не задавать и самому себе и читателю психологических загадок, разрешение которых у того же Джемса требовало столько сил, что на анализ эмоциональных первоисточников человеческого характера не хватало ни времени, ни печатных листов. Процесс снимания бесчисленных психологических покровов с внутренней жизни героев — столь прельстительный для ряда выдающихся психологов и в первую очередь для Конрада — Гарди не прельщал. Эстетику цельного и сильного характера

он предпочитал эстетике рефлексии и сложной расколотости, часто ведущей к такой акции, которая либо смешивает все карты психолога, либо заставляет его идти лабиринтом сложнейших психологических выкладок. Гарди никогда не грозила опасность потерять читателя в этом лабиринте. Кратчайшему расстоянию между поступком и «внутренней жизнью» он учился на том человеческом материале, какой нашел в Дорсете, и прямую линию навсегда предпочел сложной кривой.

Для многих и многих буржуазных писателей эта прямая линия свидетельствует о бедности и очевидной примитивности упомянутой «внутренней жизни». Но Гарди слишком хорошо знал представителей «низших классов», чтобы попасть в ряды этих писателей. Открытая им в этих простых людях прямая линия экономила ему силы, необходимые для решения другой задачи: показать, что эта внутренняя жизнь не бедна, не плоска, показать, что внимательному художнику открывается в примитивном характере крайняя напряженность духовной жизни, а два эти качества — цельность и сила — обуславливают особую выразительность внутреннего трагического жеста.

Если не считать нескольких персонажей-статистов, представляющих «высшие классы» и немногих показанных Гарди интеллигентов, все персонажи его избраны из среды двух социальных групп: сельской мелкой буржуазии и крестьянства. От батрака до зажиточного фермера представлено у него крестьянство, и выходцами из того же крестьянства являются все его сельские буржуа, психический строй которых нимало не отличен от строя какого-нибудь фермера. Особых примет, характеризующих буржуа городского, эти деревенские коммерсанты еще не приобрели, они впадают в круг тех же местных интересов, связанных с сельским хозяйством во всех его видах, и не меньше зажиточного фермера заинтересованы в высокой производительности труда батрака. Ибо от высоты этой производительности, равно как от благосостояния всех социальных групп местного крестьянства зависит их благополучие — с городом и городским потребителем эти сельские буржуа, еще

вчера возделывавшие землю, не связаны. И подобно тем, кто возделывает землю сегодня, они знают только кратчайшее расстояние между эмоцией и поступком, — те же примитивные «сыны земли», ушедшие за прилавок. В детях их прямые линии весекского стиля изламываются. Искривляются они и в детях тех «сынов земли», которым недостаток позволил обучать дочерей и сыновей в городе. Через школу, через городские соблазны просочились в психический мир вернувшихся домой девушек и юношей влияния враждебной «земле» стихии и этот внутренний мир обрекли на мучительное перерождение. Процесс этого перерождения, определяющего судьбу человека не меньше, чем усложняющего его психику, Гарди особенно любил наблюдать. Он любил следить те пути, какими пролегал трещина, расщепляющая силу, цельность и простоту деревенского характера навыками буржуазно-городской культуры. Судьбу этих героев и типики, куда вела их судьба, он прослеживал не в одном романе, но на путях этой слежки интересовала его не кропотливая мотивация поступков, не разматывание бесконечного клубка психологической диалектики. Расстояние между «внутренним миром» и поступком он пробегал быстрее, чем художники психологического романа. В центре его внимания стояла всегда иная проблема: та роль, которую играет поступок в формировании человеческого характера, тот след, какой оставляет на человеческой судьбе то или иное действие. Вполне очевидно, что типы, тронутые чужеродной им культурой, являлись для такого исследователя прекрасным объектом. Столь же ценным объектом являлись и те характеры, которые благодаря своей цельности могли бы избежать целого ряда действий, чуждых их нерасколотой природе, если бы совокупность внешних обстоятельств не принудила их решиться на такие действия. Таковы, кстати, характеры центральных героев в лучших его романах — батрачка на молочной ферме Тэсс, деревенский каменщик Джюд, пастух Оок и Генчард — выходец из батраков. У таких людей эти «вынужденные» действия оттеняют особенно ярко искривление той линии, какой шла их жизнь. А для Гарди с его мироощущением было крайне

важно зафиксировать эти зигзаги, в которые перестроилась прямая линия их судьбы; важно потому, что зигзаги таких человеческих судеб обнажают трагедийность человеческой жизни сильнее, чем «падения» людей, бредших в жизни ошупью. В трагической же основе бытия Гарди, как увидим ниже, не сомневался.

Книги художественной прозы Гарди разбиваются по собственной его классификации на три группы. В первую входят три слабейших его романа, которые он назвал «Novels of Ingenuity» (романы фабульные), «Desperate Remedies», «The Hand of Ethelberta», «A Laodicean». Четыре романа: «A Pair of blue Eyes», «The Trumpet-Major», «Two on a Tower», «The Well-beloved», художественная значительность которых, если не считать первого, не возвышается над средним уровнем, и книга новелл «A Group of Noble Dames» названы им «Romances and Fantasies». Наконец, в третью рубрику «Novels of Characters and Environment» (романы типов и быта) он отнес семь романов: «Far from the Madding Crowd», «The Return of the Native», «The Mayor of Casterbridge», «The Woodlanders», «Under the Greenwood Tree», «Tess of the d'Urbervilles», «Jude the Obscure» и две книги новелл «Wessex Tales» и «Life's Little Ironies». Можно оспорить эту классификацию в частности так, на наш взгляд, «The Return of the Native» и «The Woodlanders» с таким же основанием, как и «A Pair of Blue Eyes» могут быть названы Romance — английский литературный термин, которому нет точного выражения в нашем литературоведении (приблизительно — «романтическая повесть»). Но в основном эта схема возражений вызывать не может, во всяком случае Гарди точно определяет те свои задания, которые он пытался разрешить в прозе. Трудный процесс роста Гарди, как художника, обнаруживается в ней с полной очевидностью. «Романтические повести и фантазии» выходят из-под его пера уже тогда, когда, казалось бы, он нашел себя. Ибо найти он себя мог и действительно нашел именно в том жанре романа, который у англичан называется так, как он назвал третью, лучшую группу своих романов. Гарди медленно от-

казывался от использования той дешевой романтики, которая для читателя magazine'ов являлась залогом занимательности романа. Только через пятнадцать лет после начала своей писательской работы — в 1886 г. — он преодолел соблазн итти на поводу у читательского вкуса, обеспечивающего успех популярных у английского мещанства журналов. («The Well-beloved» — как мы уже указали — каникулы.) С этой точки зрения, годы 1883—85, посвященные работе над «Мэром из Кэстербриджа», есть годы перехода к полной писательской зрелости. Крайне интересно отметить в указанной классификации еще один момент: Гарди назвал свою третью группу романов — «Novels of Characters and Environment». Романами «типов», но не «психологическими». Островные традиции преодолены были художниками более молодыми.

3

Аграрной культуре обязан был Гарди своим духовным ростом. Она воспитала в нем протест против городской культуры промышленной буржуазии, оттолкнула его от города, ради которого он не изменил Вессексу, и заставила снова к ней вернуться после странствий писателя вне родного Дорсета.

Слишком очевиден социальный генезис той трагедийной философии, которую развернул в своих романах Гарди, противопоставив пессимизм умирающего джентри оптимизму крупных промышленных буржуа и аграриев в салонах Меридита. Из тупика, откуда выхода нет, бывший джентри, Томас Гарди, увидел страшный мир, населенный людьми, чья воля бессильна увести их с пути гибели. В сущности, если не все герои Гарди — люди с крепкой волей, то во всяком случае они все пытаются свою жизнь строить так, чтобы обрести счастье. Они все умеют стремиться к цели весьма определенной. Не всегда они знают, как к этой цели итти, но никогда не теряют уверенности в том, что вполне свободны в выборе направления. Этой иллюзии Гарди их не лишает. На себя, как на романиста, он берет заботу показать, сколь беспомощны — по-детски — попытки человека достигнуть тех целей, к каким ве-

дет индивидуальная воля. Методы такого «доказывания» у Гарди разнообразны: он сталкивает с индивидуальной волей волю социальной группы; могущественным противником человека выдвигает его характер, преграждает путь герою неодолимыми препятствиями, заставляя человека «силой обстоятельств» метнуться в противоположную сторону, организует «неблагоприятные условия», показывает наконец «случай» в роли решающего фактора, а из «совпадений» извлекает максимальный эффект.

С какой целью? У одного из критиков Гарди Ляйонэля Джонсона проскользнуло верное замечание о том, что мало найдется в английской литературе романов, объединенных в такой же мере единством философской концепции, в какой объединяет их Гарди. Ибо каждым своим романом, если не считать, конечно, романов, написанных отдыхающим писателем, Гарди пытался предостеречь читателя от разочарования в собственных своих силах. Всем своим творчеством Гарди утверждал философию, которая казалась ему абсолютной истинной: полное бессилие человека изменить соотношение тех факторов, которые определяют пути развития человечества и мира. Для Гарди эти факторы располагались так, что он не мог сомневаться в существовании управляющих миром сил, игра которых приводила его героев к гибели. Но герои его гибли не жертвами силы зла. Этот мотив байронизма, как и варианты его у Шелли и Суинберна, был философски враждебен Гарди. Тем менее, конечно, мог он принять веру Броунинга в победу добра над злом. Не злая и не добрая сила управляет, по Гарди, миром: к силе, по законам которой разворачивается процесс бытия, такие критерии неприменимы — она управляет этим потоком, направляя его к неведомой людям цели, пресекая всякую попытку человека выбирать свой собственный путь «добра» и «зла» и стать господином своей судьбы. Безысходно пессимистический характер такого философского детерминизма обнажается еще откровенней в той постановке проблемы «воли» — чисто шопенгауэровской, — которая легко может быть обнаружена в его прозе и стихах:

Ибо Гарди вменял в обязанность человеческому разуму сознавать, что жить не стоит, сталкивая с «волей к небытию» слепую интуицию — «волю к жизни», — созвучную с той мировой силой, которой движется жизнь к неизвестным целям. Человеческой воле остается только сохранять равновесие между двумя этими волями, чтобы в конце концов уступить последнее слово разуму.

Последовательно и настойчиво Гарди подготавливает читателя к гибели надежды. Человек должен быть готов к тому, что «судьба нам ним посмеется», а он за эту насмешку заплатит своей разбитой жизнью. Метко бросил Дэффин: «Это оружие (пессимизм Гарди. — Е. Л.) нельзя давать детям, умные люди сумеют им воспользоваться». Творчество Гарди — прививка против человеческих иллюзий, пройдя через которую человек легко встретит боль. И для того, чтобы прививка эта была эффективной, Гарди принужден показывать мир очень жестоким, а жизнь слишком беспощадной к человеку, к человеку всех классов и групп, разных душевных качеств и разных культур.

Быть может, именно своему величественному пессимизму Гарди обязан той внимательностью, с какой присматривался к персонажам, переселенным им из Вессекса в романы. Ибо, не будучи похож на Свифта и Тэкерея, он с высоты своего мировоззрения не мог не жалеть своих бесчисленных героев, обреченных на бесплодную борьбу с личными своими судьбами. Критика Гарди не раз отмечала ноту какого-то разрешения в его творчестве. Эта нота едва ли может быть уподоблена катарсису, ибо буржуазный пессимизм XIX века был безысходней греческого, но несомненно, что тяжелое впечатление, оставляемое лучшими романами Гарди, ослаблялось введением мотива простой и безыскусственной жалости автора к своим героям. Заражая читателя этой жалостью, Гарди как бы вводил его от непосредственной реакции на трагические выводы из философской тезы, умышленно снижая остроту восприятия рядом сцен, рассчитанных на пробуждение лирического сострадания. Это сострадание не было мучи-

тельным, но никогда не могло быть сентиментальным, так как сам Гарди менее всего сентиментален, и его заражающая в иных случаях жалость к человеку всегда и неизбежно бывала защищена суровой маской реалиста, который, как мы упоминали, считал, что им предвосхищены в семидесятых годах некоторые элементы французского натурализма. Подлинную жалость он умел вызывать, несмотря на такую маску, и умело, но не часто вводя элементы юмора, еще более защищал читателя от того отчаяния, на какое могла обречь голая философская схема.

«Чуткий крестьянин живет жизнью более полной, широкой, драматической, чем толстокожий король». Эта цитата крайне характерна для уяснения того угла зрения, под каким Гарди видел главного героя своих романов — английское крестьянство. И в романах, и в новеллах Гарди показал, очень любовно «полную жизнь дорчестерского земледельца» — «простого народа», как любят выражаться английские критики. Среди этого «простого народа» он нашел много «чутких крестьян». Почти полувековая его жизнь в Дорсете сближала его с теми, чьи предки в далекое время служили его предкам. Среди них художник не переставал искать тех, чей внутренний мир не мог оставить его равнодушным. И он их находил, находил легко, так как между ним и крестьянином Вессекса не выросло стеной его социальное происхождение. Но в творчестве оно давало о себе знать.

Тяготы батрачества Гарди знал хорошо. И едва ли среди викторианцев найдем мы писателя который дал бы на уровне Гарди, описание труда батраков. Ему приходилось наблюдать немало фермеров, эксплуатирующих рабочую силу жестоко и систематически. Таких фермеров Гарди умел клеймить, умел он и анализировать процесс пролетаризации английской деревни и должным образом расценить социально-политические результаты этого процесса. Но оценка и критика английской аграрной системы не расшатала его философского детерминизма. Последний, крайне созвучный с тем фатализмом, который, по словам Гарди, пустил «глубокие корни в глухих деревушках», уводил

писателя от социально-политических программ. Оставив английской литературе крайне важные документы по истории аграрной культуры последней четверти прошлого века, Гарди не пришел к социальному протесту. Протест не развертывался и другим планом —

философским, ибо ученик Шопенгауэра всегда помнил, что игра «главы бессмертных» с человеком всегда кончается не в пользу человека. И рядом с Гарди-философом стоял в стороне от схватки Гарди-писатель.

3. ИЗ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ О ТОЛСТОМ

Н. Калязин

Небольшая книга А. М. Евлахова («Конституциональные особенности психики Л. Н. Толстого». Предисловие А. В. Луначарского. Гос. Изд. 1930. Стр. 111. Ц. 1 р.) породит горячие споры и целый ворох вопросов и недоумений.

До сих пор было аксиомой считать Л. Н. Толстого исключительно здоровым писателем и человеком. Учение о патологических основах гениальности как будто вовсе не касалось автора «Войны и мира». В литературе имеется одно только (Макс Нордау — не в счет) мнение знаменитого Ломброзо о душевной болезненности Толстого. Но вот вслед за медицинским очерком д-ра Сегалина ученый литературовед и психиатр А. М. Евлахов тоном, исключающим возражения, заявляет, что Толстой был эпилептиком и что именно в эпилепсии находится ключ для познания всей личной и творческой жизни Толстого.

«Действительно, все, что нам известно о Толстом, его жизни, его характере, его отношении к людям, к семье, к самому себе, до того типично для эпилептика, что можно подумать — все это написано о нем» (58 стр.). Более категорического суждения, чем вышеприведенное, трудно себе представить.

Консерватизм мышления, особенно свойственный почитателям великих людей, таким образом получает ошеломляющий удар. Непривычно. И как-то не идет этот эпитет именно к могучему Льву Толстому — «слону» русской литературы. Трудно также отделаться от мысли о чрезвычайной полярности таких, напр., эпилептиков, как Достоевский и Толстой. Разные художественные конституции, разные способы обработки и внимания к жизни, разные гении.

Но не будем сомневаться в наличии эпилепсии у Толстого: книга написана ученым специалистом. Богатая эрудиция, выверенный метод распознавания психических элементов болезни, целая теория «эпилептического характера». Внимание приковывается поэтому не к факту, а к подбору проф. Евлаховым доказательств и способов, долженствующих убедить читателя в приложимости развиваемой им теории к личности и характеру Толстого. Тут-то вот и возникает неизбежное «но». (Мы пишем не рецензию, а своего рода критический вопросник к книге Евлахова).

Первое примечание: большой умер 20 лет назад, и второе: при его жизни никаких клинических наблюдений над его психической болезнью не велось. Не поэтому ли автору пришлось пользоваться слишком общими, неспециальными источниками: распространенными и всем известными биографическими свидетельствами современников и некоторыми (дневниковыми) записями самого Толстого. Особенно давнишняя страсть Толстого, перешедшая потом в привычку, вести дневники убеждает Евлахова в правоте своего взгляда: «Психиатры отмечают, что эпилептики нередко ведут подробный дневник о своих действиях за день (Jolly), причем их педантизм и мелочность доходят до того, что на одной и той же странице записной книжки у них и расход на проститутку, и стихи в честь возлюбленной или какая-нибудь возвышенная мысль (Bumke). Лев Толстой и в этом отношении являет разительный пример; можно даже сказать, что трудно найти другой пример, более показательный» (49—50 стр.).

Два робких вопроса к Евлахову: многие ли из писателей не разделяют

этой пагубной страсти, и второй: разве дневник не является особенно интимной и ничем не принужденной формой литературы?

После проделанной А. Евлаховым операции по извлечению нужных фактов оказалось, что «нормы» поведения, обычные для эпилептиков (хаотическое смешение скупости, расточительности, многоречивости, мнительности, депрессии, жестокости и слезливости, ханжества, черствости, самообожания, аскетизма, лживости, страсти к морали, педантического влечения к «порядку», садизма и пр., и пр.), были обычными и в жизни Толстого. Непредубежденный ум, познакомившись с таким списком «качеств», тотчас же вспомнит о чрезвычайной распространенности их среди всего населения земного шара! Да и то скажут: 82 года жизни! На такую долгую и величавую жизнь хватит всего...

Недоумение читателя возрастает по мере того, как начинаешь замечать переход автора (с 71 стр.) от научно-бесстрастного тона к повышенной раздражительности против Толстого. В самом деле, нужно великое терпение, чтобы спокойно отнестись к таким «качествам», как вышеперечисленные! Толстой—вместилище всяческих «грехов»! А. М. Евлахов забывает, что он взялся за изучение, а не за полемику с Толстым-моралистом.

Невольно ужаснешься за Толстого, когда узнаешь всё содержание, заключающееся в слове эпилептик: «Эпилептический характер,—говорит Корсаков,—проявляется в резких нравственных дефектах. У очень многих эпилептиков заметно ослабление нравственного чувства. Хотя у них и остаются внешние проявления сочувствия, расположения, но истинной любви у них мало: их привязанности непрочны, неглубоки, память сделанного для них добра невелика. С внешней стороны, однако, они стараются проявить много чувства, лицемерят, льстят, говорят слащаво, стараясь с выражением искреннего расположения смотреть в глаза тому, с кем говорят; выражают самую высокую степень благодарности, говорят всевозможные любезности. Некоторые при этом проявляют большое ханжество, наклонность к по-

хвальбе, к возвеличению себя, как бы с смиренным видом указывают на свои высокие свойства, на высшую нравственную доброту, говорят о боге и в то же время отличаются очень большой жестокостью по отношению к близким; «у эпилептиков молитвенник в кармане, бог на языке и подлость в душе»—говорит Sammt. У многих развивается большая жадность, скаредность. При этом обыкновенно больные бывают чрезвычайно раздражительны, часто приходят в аффективное состояние» (57 стр.). Но страшен сон, да милостив бог! Жизнь человека всегда шире любой системы.

За время с 1867 г. по 1910 г. Толстой пережил несколько обморочных и припадочных состояний. Сохранились также показания, что среди его предков были люди очень жестокие. По целому ряду признаков автор приходит к заключению, что все обмороки были эпилептического происхождения.

«Ведь и сами близкие, повидимому, до конца не подозревали настоящей причины его «нервных взрывов» и «обмороков», объясняя их то «переутомлением», то также сознанием разлада между учением и жизнью. Если Софья Андреевна искала объяснения в «вегетарианстве и непосильной физической работе», то Чертков—в... самой Софье Андреевне. Если Душан—в «отравлении мозга желудочным соком», то вызванный из Тулы врач Щеглов—в артериосклерозе, осложненном предшествующим нервным состоянием. Даже врачи не понимали, в чем дело!» (35 стр.).

Никакой критики источников у Евлахова нет. Получается наихудший вид «толстовства», когда человек слепо верит в текст, делая при этом только поправку на требования медицины. Спрашивается, что скажет насчет такой «ретроспекции» клиницист, историк литературы, критик? Если мы, допустим, начнем подбирать и концентрировать все нужные нам факты из жизни любого писателя под определенным углом зрения, то картина получится, пожалуй, не менее убедительная, чем у Евлахова.

Как известно, молодой Толстой был страстный дуэлянт, жестокий охотник, пылкий картежник и вояка, постоянно рефлектировавший к тому же свое поведение требованиями и мо-

рали, как бы боясь неизбежного «суда потомков». По Евлахову, в этой двойственности нет ничего, кроме эпилепсии, чистой физиологии. Забываются родовые социальные черты, бытовые условия жизни молодого помещика - крепостника. Даже высокопарный стиль уходящей эпохи (Толстой обращается к мужикам с такой речью: «Господь бог вложил мне в душу мысль отпустить вас всех на волю») Евлаховым истолковывается как проявление самообожания, характерного для эпилептиков. Все сводится им к разоблачению тщеславия и лживости великого человека. Естественные права «молодости» (случай с мальчиком Толстым, захотевшим «полетать в воздухе») и «старческие» склонности, общие в известной степени всем людям, почему-то не принимаются во внимание ученым автором книжки.

Согласимся, однако, и на этот раз, что все это объясняется «аффект-эпилепсией» Толстого. Но что дает подобное толкование для познания художественной одаренности Л. Н.? Ведь он не только эпилептик, но и гениальной одаренности писатель. Ради одного этого и следовало бы писать исследование. Не для популяризации же психиатрии издана книга. Для познания таланта Толстого работа Евлахова ничего не дает. Она не описывает даже механизма проявления гения, как это сделал, напр., Фрейд в книге о Леонардо-да-Винчи. Только в нескольких местах автор пытается подкрепить свои выводы анализом художественной деятельности Толстого. Напр., растянутый и детализированный синтаксис и стиль толстовского языка он склонен считать признаком, подтверждающим его, в сущности говоря, чисто умозрительный взгляд на личность Толстого. (Отсылаем здесь читателя к соответствующему месту в предисловии А. Луначарского, высказавшему очень осторожную догадку в опровержение данного тезиса Евлахова).

Более или менее убедительна (если на минуту позабыть всю сугубую социологичность вопроса) сделанная мимоходом попытка объяснить происхождение образа Каратаева из психологической реакции Толстого — деспота к простоте и кратости.

А. М. Евлахов совершенно проходит мимо единственно нужного дела: как отражалась больная душа писателя в его художественных произведениях (замечает же он вскользь: «мысль, эпилептика... ничто без выражения»), как именно сочеталась у него болезнь с специфической одаренностью¹⁾ и всем социальным бытием писателя. Положительно цитируя Б. Эйхенбаума, М. Горького и (почему-то) критика Кранихфельда, автор не замечает, что правильно познанное и угаданное ими в Толстом вовсе не параллельно его концепции. Последний довод Евлахова «от литературы» обращен на «свободного» гения — Шекспира, столь нелюбимого Толстым. Но в таком случае почему же среди нелюбимых оказался и Наполеон — эпилептик? И разве «здоровый» Шекспир в своих произведениях не дает достаточно материала для составления еще более черного списка страстей и пороков, инкриминируемых (настаиваем на этом слове) автором Толстому? Быть может, Шекспир в личной жизни был тоже терзаем совестью, не свободен от «эпилептического» морализирования и имел тоже двалика: «жандарма морали» (!) и распутника?

Книга Евлахова еще и еще раз показывает, что чистая психиатрия, приложенная к изучению великих деятелей, не в состоянии объяснить явления художественности. А. В. Луначарский, разделяющий некоторые положения книги и внесший солидные социологические поправки к ней, очень кстати ставит вопрос: не являлись ли у Толстого возбужденные состояния духа и обмороки результатом особо интенсивного труда? Может быть, и в самом деле, о конституциональных особенностях психики Толстого, в виду отсутствия точных документальных материалов, можно говорить лишь предположительно и не принимать желаемого и

¹⁾ Старые работы на эти и смежные темы ближе подходили к вопросу: например, Н. Баженков «Психиатр. беседы на литерат. и обществ. темы», В. Чижевский «Достоевский как психопатолог», не говоря уже о трудах Фрейдистской школы (книги о Достоевском и Леонардо-да-Винчи).

нужного за найденное?.. Страстное внимание Толстого к изображению бредовых и предсмертных состояний могло ведь вызвать в писателе реакцию временного физического обесилывания и душевного забвения? Порыв Толстого в опрощению и отказу от «цивилизации» не является ли, помимо всего прочего, великой гордыней потомка феодалов? Почему же, наконец, все «уходы» его только эпилептичны и никак не социологичны? Если даже это и так, то куда исчез весь комплекс общественного и классового существования, несомненно, воздействовавшего на то или иное направление эпилептической психики?

Заканчивает Евлахов формулой о соответствии строения тела у Толстого (атлетоидное) с психикой эпилептиков. Заметим, что у Кречмера, создателя этого учения, о Толстом говорится («Строение тела и характер») как о переходе в психоанатомическом типе, а также и о том, что люди атлетоидного телосложения отмечаются добросердечием, незлобностью и простым, прямым отношением к действительности, одним словом, чертами, совершенно как будто не свойственными Толстому.

Конечно, взаимозависимость характера и заболеваний от телесной конституции современная наука не склонна решать излишне прямолинейно. Цитата из специального сочинения, которую приводит проф. Евлахов («в отличие от потомков

шизоида, с их крайней вариабильностью судеб и положений, склонностью диссоциироваться со средой, странностями в характере, настроении и интеллекте, у потомков эпилептиков отмечают, напротив, единство и постоянство традиций, неизменность как моральных принципов, так и условий личной жизни, концентрацию на своем я, сентенционную установку, мелочность, неспособность отличить существенное от второстепенного, навязчивую и цепкую социабильность, — словом, некоторую косность психики, могущую дать иногда бурный аффективный разряд»), достаточно говорит о большой сложности вопроса, но вместе с тем недоумение читателя нисколько не рассеивается от этого: ведь значительная часть так старательно раскрытой А. Евлаховым психики Л. Толстого должна быть отнесена к людям неатлетоидного сложения.

Независимо от подлежащей со стороны специалистов компетентному рассмотрению общей установки автора его книга для широкого читателя представит все-таки (говорим так не ради «концовки») несомненный интерес как со стороны раскрытия особенностей «эпилептического характера» вообще, так и с точки зрения анализа мучительных переживаний Толстого, возникновения его морали и объяснения рационалистической природы великого Льва. Эти части книги не имеют необходимой и обязательной связи с остальным содержанием ее.

За рубежом

1. Н. ИЗГОЕВ. Харбин.—2. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету.

1. ХАРБИН

Н. Изгоев

Лунопар

Винчиваясь в сутолоку улиц, в шумный базар города, идут на ходулях ряженые. Длинная вереница актеров несет туловища драконов, черный и желтый львы пугают простодушную толпу. А за ними под звонкую музыку выплывают в паланкинах женщины, прекрасные, как новый год, яркие, как их платья, как цветы, которыми увешаны паланкины.

По улицам бродят паяльщики, вызывающая профессиональные сигналы, лудильщики, угольщики с бубнами, гонгами, звоночками, звенят драпдулетки, шуршат машины, идет, гомонит пестрая толпа европейцев, китайцев, японцев.

Нижний этаж домов — магазины, лавочки, столовки, кафе, обвешанные зазывными плакатами, оклеенные объявлениями «Распродажа!»... Распродажа... распродажа...

Газеты забыты рекламой, — за 20 рублей вас любая газета превратит в мировую известность.

Распродается всё.

Десятки женщин экспортируются на юг в публичные дома. «Дешевая распродажа» — и сотни белых эмигрантов скупаются по 5 комиссионных рублей за душу для бразильской каторжной работы. «Дешевая распродажа» — и чиновники в кафе умилно беседуют с дельцами, продавая тайны; каждый новый полицейский генерал запрягает «делать чинам традиционные подарки, которые являются взяткой». Но взятка живет деньгами в конверте, женщиной в кабачке, ужином в ресторане. И «делаются дела». В ресторанах, в ночных кабаре каждого знают по пальцам и знают, откуда и сколько пришло к этим пальцам, чей он друг, чей он кум, брат и сват.

Тысячи шангажистов, тысячи пройдох, стяжателей, арапов. В пене этого быта — величайшая радость: узнать что-нибудь, кого-нибудь компрометирующее, скупить документик, стравить или подлизаться... подобоострастно пожать два-три пальца, получить визитную карточку и посидеть пять

минут вместе с видным человеком на виду у людей.

Встречаются не с людьми, а со связями: «Этот — очень полезный человек», этого — «можно использовать», «эта — живет с та-ким-то»...

В Сев. Манчжурии, по официальным данным обследования, проведенного китайскими властями, имеется 8180 проституток, из них в одном Фудзядяне — китайском пригороде Харбина — свыше 4 тысяч. На улицах Харбина можно видеть надписи: «Корейский публичный дом», просто «Публичный дом», и когда в каком-либо доме терпимости женщина кончает самоубийством, желто-белые газетчики получают сторублевую (такса!) взятку, замалчивая характер «заведения», «чтоб не вредить фирме».

Я привел эти факты лишь для того, чтобы сказать, что количество политических проституток и альфонсов здесь значительно больше первых. Здесь способны гордиться дельцами, обслуживающими сразу шесть контрразведок. Здесь северо-восточный отдел Гоминдана способен предложить любому дельцу сдать в аренду газету на русском языке с одним условием: платить в год 30 тысяч откупу. Здесь приятель способен зайти к дипломату в гости и выкрасть у него из альбома секретные снимки. Здесь женятся на деньгах, выходят замуж за связи.

Когда у КВЖД намечается заказ, газеты печатают рекламы в целые страницы, наступает оживление в шантанах. Еще недавно некий делец, служивший на дороге, скопил миллион два на симпатиях к отдельным фирмам. Советской части правления КВЖД пришлось отменить крупный и убыточный заказ, полученный одной английской фирмой от управлявшего дорогой в конфликтное время.

Бывают дни, когда Харбин сидит без мяса. Мясные лавки закрыты. В чем дело? Кризис? Злостный убой скота кулаками? Бесплановое снабжение? О, нет. Просто родственник городского головы, подкупив городскую управу, получил монополию перевозку мяса с бойни по лавкам и этим урезал прибыли мясоротовцев. «Вор у во-

ра дубинку украл». Мясоторговля упала, и убой скота прекращен.

Эта история имеет чисто местное значение, но как колоритен этот штрих для буржуазного города.

Идешь по улицам — эффектные дома, особнячки. Вот недавно справил новоселье в наскоро построенном доме бывший секретарь молодого маршала, начальник департамента народного просвещения, душа недавнего конфликта — Чжан Го-чен. По существу молодой скромный чиновник, а ведь вот отстроил роскошный особняк в старорусском стиле. Откуда деньги? Не будем нескромны. У китайского чиновника, особенно крупного, есть много разных источников дохода, ибо его ведомство — его удел, его вотчина.

С древних ли седых времен Китая сохранилось это право? Можно ли думать, что генерал Гондатти, шталмейстер императорского двора, выстроивший три дома для себя на краденый миллион геи. Подтягина — б. царского военного агента в Японии, можно ли думать, что он у китайцев учился? Может быть, они у него?..

Пушнинник перевез товару на 40 тыс. долларов, а заработал двести тысяч. Откуда эта бешеная прибыль? Ничего мудреного. Мех пересыпать от моли, от порчи — надо? Надо. Цересыпали нафталином, а промеж нафталина вложили пачечки опиума. И из опиума выросла двухсоттысячная прибыль.

Открылся новый парфюмерный магазин. Мелкая лавочка. Но хозяин не успел открыть магазин, а уже заработок десятки тысяч: ему под видом парфюмерии из Франции удалось протащить несколько ящиков морфия. А за морфия и опиум китайцы платят последними соком и кровью, еще не высосанными эксплуатацией. Самодовольный и пыжающийся, тихий, как вор, светливый, как аферист, пестрый, как галстук кичливого маклера, город шумит и живет.

Наливаются золотом сейфы интернациональных банков, пухнут от голода дети в фудзяньском камепном мешке, молча живут и работают люди фабрик, депо, мастерских, сочно сосет за обедом хрящеватую косточку сытый чиновник. Устрялов цитирует Тютчева, барон Остеп-Саксп собирает свою группочку «спасителей России», газеты получают субсидии, деньгишки мерзнут на подножках машин, провожая генералы на «файф-о-клоки», полицейские ножнами бьют по лицу ломовых извозчиков, бродят по городу фашисты...

Город шумит и живет.

Овеваемый несчаными ветрами мопгольских пустынь и дождями бурных японских тайфунов, Харбин за 30 лет вырос из таежного поселка, из пограничного поста на сунгарийском берегу в огромный город с полумиллионным населением. В Харбине много частей. Прежде всего буржуазная часть города — хаотическая, многолюдная, торговая. Затем идет «Новый город», город прямых, как солдатский строй,

улиц, выстроенных на деньги КВЖД. Здесь живут служащие, чиновники, здесь — административные органы, здания дороги. А кругом — пригороды: белое царство в Модягоу, рабочие жилища в Госпитальном и Корпусном городках, городок притонов — Сумбей и, наконец, Фудзянь, с 350-тысячным китайским населением.

Весь город живет и питается преимущественно за счет КВЖД или за счет оборота товаров и средств, транспортируемых дорогой. Главное здесь — экспорт хлебных грузов, бобов, которыми Манчжурия отвоёвала для себя место на мировых рынках.

КВЖД — прямая линия к Владивостоку, к мощному советскому порту Эгершельд, побивающему в повседневном экономическом соревновании японский порт Дайрен (бывший Дальний).

Харбин — город, задавленный сапогами полицейщины. Разгром ученых обществ, библиотек, редакций, закрытие школ, преследование советских учителей, систематическое удушение левых газет, травля советских граждан, аресты, фальшивки (вплоть до подделки газет), непрерывная цепь провокационных выступлений, разбойничьи захваты телефонной станции КВЖД, налеты на телеграф, на консульство, на торгпредства, недавний советско-китайский конфликт, — вот методы насильственного выдворения советских элементов из пределов Северной Манчжурии.

Здесь советские граждане до сих пор бесправны. Зато экстерриториальны и полноправны те, кто расстреливает города артиллерийским огнем, кто газом и пулей получил свое право командовать в чуждой стране, чей штык маячит перед глазами китайских властей.

Китайские национал-убийцы вымещают свою злобу на мирных гражданах СССР, на учреждениях, которые не разворовали, не разрушены, не отторгнуты только благодаря твердой линии представителей СССР.

Белый омут

Они стекались сюда в чехословацких эшелонах, сбегались в ключьях семеновских банд, в отрядах меркуловцев, унгерновцев — сибирские помещики, самарские асеры, сибирские земцы, воинские казнокрады и кадмыковские палачи.

Бежали через партизанские кордоны Амура, сквозь даурские степи, прятались за обозами неудачных интервентов, на японских и американских судах.

О них сначала пели партизаны:

«Мундир английский,
Погон российский,
Сапог японский —
Правитель омский».

Потом появился припев:

«Мундир сносился,
Погон свалился,
Сапог прорвался,
Колчак попался».

Эта песня провожала белую стогночь до Харбина.

От Харбина пошла дорога «рассеяния». Контрразведки превратили эмигрантов в дешевую рабочую силу, женщин — в дешевый экспортный товар. Китайские генералы вербовали молодежь, которая под командой хромых генералов Нечаевых ложилась под пулями китайских стрелков.

Печальную историю о вербовке белой молодежи и дальнейшей их участи рисует любопытный документ. Это письмо одного из активнейших харбинских белобандитов, лидера одной из фашистских группировок, прозвизора Банкевича. Это письмо должно было появиться в 3-м томе «Записок Неуча», издававшихся белогвардейцем Ковганом. Разоблачений Ковгана не могли вынести его враги в белом стане, типография была разгромлена, набор уничтожен и рукопись сожжена. В моих руках имеются корректурные отписки ее и отсюда я заимствую характерное письмо Банкевича:

«Уважаемый Прокопий Степанович.

В виду появления в печати гнусных выпадов по моему адресу, я вынужден защищаться, ибо ложь и клевета перешла все границы человеческого терпения. Наглцы и всякого рода провокаторы, очевидно субсидируемые коммунистическими дельцами, искусственно стремятся меня спровоцировать через продажную прессу.

Для того, чтобы русские люди поняли, кто именно их провоцировал и кто продолжает провоцировать, даю, согласно вашего письма, справку для помещения в издаваемой Вами 3-м томе «Записок Неуча».

ПИСЬМЕННАЯ СПРАВКА.

Способ вербования бойцов бывшей русской группы и насильственное удержание неопытных малолетних юнцов в рядах бойцов, невыдача законом положенных пособий родителям за убитых воинов является настоящим вопиющим фактом и противоречащим человеческой морали, что нельзя обойти молчанием эти издевательства над личностями.

В 1925 году в марте месяце мой сын Стефан Банкевич 17 лет уехал без моего разрешения в нечаевский отряд, на собственные средства, и был зачислен в 3-ю роту 1 стрелк. батальона особого назначения, впоследствии переименовавшегося в 105 Сводный полк.

В письмах своих он часто жаловался на болезненное состояние ног и выражал желание повидаться с матерью, которая от нервных потрясений часто болела.

Все мои попытки освободить сына из созданного для него рабского положения были напрасны: просьба моя, адресованная к полковнику Михайлову в бытность его в Харбине, не взирая на данное этим всенильным начальником слово, осталась без последствий.

Вторая просьба, адресованная в штаб русского отряда, в которой я просил дать сыну хотя бы отпуск ради больной матери, тоже осталась без ответа. В то же время многие взрослые привилегированные нечаевцы щебетали по Харбину в отпусках.

Зимой после больших переходов у сына отяжелели ноги, он был отправлен на лечение в госпиталь в гор. Циндао.

Не взирая на общее боллезненное состояние, его вновь отправляют на фронт, и 4 марта 1926 г. в бою под Мочангом он был убит.

О смерти его меня уведомил ротный командир в конце марта неофициально, и лишь отношением от 19 августа 1926 г. за № 2282, после нескольких запросов, я получил официальную бумагу о смерти сына за подписью: «За начальника штаба 5 дивизии».

В этой бумаге пишется также, что я имею право на получение пособия за сына.

В дальнейшем следуют безуспешные хлопоты получить пособие: два прошения на имя начальника штаба и два письма лично ген. Нечаеву, — все остались без последствий. И опять следует сказать, что многие, видимо, привилегированные, жены и матери убитых уже в 1927 г. воинов были удовлетворены пособием в том же 1927 г.

Нельзя обойти молчанием, что в своих хлопотах жена, которой я всецело передал право ходатайствовать о пособии, посещала местного представителя русской группы ген. А. Ф. Шильникова и лично видела свою фамилию в списках лиц, которым разрешено пособие, при чем были две графы: в первой стояла цифра 500 д., а во второй — 270 д., но и этого разрешенного ей все же не выдавали.

Выводы из сказанного напрашиваются сами собой: обманным путем завербовали несовершеннолетнего сына, увлекшегося национально-русской идеей, в русскую группу, при чем, согласно приказа, объявленного в газетах, было обещано денежное пособие семье. Сын, видя затрудненное положение семьи, готов помочь и не останавливается перед смертью, т. к. он верит, что после его смерти семья будет обеспечена хотя на некоторое время. Сын в одном из писем своих на мое указание о бесцельности возможной жертвы отвечает, что в случае невозможности пойти на российских большевиков их направят к в. к. Николаю Николаевичу.

Вот чем подогревали наших неразумных сыновей!

Иван Германович Банкевич».

Развал армии Чжап Цзучана; гибель нечаевской бригады, расстрел кавалерийских белых частей за бунт из-за невыданного грошевого жалованья погнал наемников на юг Китая предлагать свои услуги палачам китайской революции и империалистам, зажавшим революционный юг в бронированный кулак.

В шанхайской полиции и на военной службе имеется масса «русских волонтеров». Имеется отряд, официально называющийся «Отдельный русский отряд шанхайского волоптерского корпуса». Этот отряд возник в дни, когда Чап Кай-ши душил китайскую революцию. Белогвардейская газета «Время», захлебываясь, описывала «медовый месяц» этого отряда:

«Муниципальный совет международного сэттльмента в Шанхае мобилизовал все имеющиеся в его распоряжении силы самообороны, состоящие главным образом из полиции и волонтерского корпуса, а также привлек к этому делу значительную по численности и русскую антибольшевистскую колонию. В первых числах января 1927 года муниципальный совет на одном из своих совещаний постановил сформировать из русских эмигрантов отряд силой в 300 штыков и подчинить командиру шанхайского волонтерского корпуса.

14 марта отряд участвует в составе корпуса в весеннем уличном марше, проходя церемониальным маршем перед командующим английскими экспедиционными войсками генералом Дункан.

Это был первый марш в истории Шанхая, в котором участвовала отдельная русская часть в составе волонтерского корпуса».

«Стройные ряды, твердый русский шаг, винтовки «по-гвардейски», бодрый вид волонтеров — все это вызывало восторг публики, и на долю отряда досталось большое число аплодисментов. На другой день все газеты были полны заметками о русском отряде, и население восхищалось его строевой выправкой, называя отряд «гвардией волонтерского корпуса».

«Чины отряда дорожат часами своего отдыха и всячески стараются обставить его уютом и красивой простотой убранства казарм русской военной части и для этой цели на собственные средства они приобретают иконы, портреты членов императорской фамилии, вождей белого движения, фотографические снимки жизни рот, ярко иллюстрирующие историю существования отряда, собственными средствами сооружают всяческие украшения, напоминающие нашу родину, и на это не жалеют средств.

Проходя по баракам и наблюдая жизнь волонтеров, невольно сопоставляешь отряд с лагерными расквартировками наших русских конюров у нас на родине и в их здоровой военной семье забываешь будни многолюдного Шанхая».

Китайские рабочие платят своей кровью за существование волонтеров, и нет китайца, который бы не ненавидел этих «джентльменов из сэттльментов». Были случаи, когда озлобленные китайские солдаты вырезали и подымали на штыки свой командный состав из русских белогвардейцев.

Китайские генералы выбирали советников из среды произведенных властью Семеповых и Калмыковых в генеральское достоинство выскочек-прапоров и дальневосточных бандитов.

Протививши, прокутивши деньги, награбленные в России, многие перешли в китайское подданство и стали филёрами, городовыми, приставами, цензорами на китайской службе, внося в китайскую полицию холуйские манеры и старую русскую школу взятки. Но до сих пор они гордо сохраняют свои прежние чины, вспоминают о каретах

и на заседаниях в кабаках титулуют друг друга «пресвходительствами».

Лига наций официально сообщила, что в 1928 г. в Китае насчитывалось 76 тыс. русских белогвардейцев. Тысяч сорок из этого сброда поселилось в Харбине, заняв под жилье целый пригород Модягоу, иронически прозванный «Царским селом». В Модягоу — штабы групп, партий, мышиная возня политиканов, грызня из-за субсидий, склоки из-за чинов. Здесь вербуются провокаторы, шпионы, кондотьеры. Здесь господствуют фашисты, терроризовавшие население Харбина, тесно связанные с контрразведками и опекаемые полицией.

Английское консульство в Харбине собственными силами и деньгами создало в 1928 году так называемую «национально-демократическую партию России», которую возглавил английский подданный, австралийский авантюрист Мендрик.

Характерно, как только эмигрантские лидеры, нуждаясь в зарботке, берутся за «завоевание масс», сейчас же возникают новые партии, новые группировки, новая «популярная литература» и новые программы. «Национал-демократическая партия России» возникла, как и другие, тоже в момент очередного объединительного ажиотажа и, сложившись из разноплеменных «инициаторов», постаралась выпустить программу.

Декларация настолько приглажена и так тщательно выбрита, что чувствуется твердая рука иностранного джентльмена. Прочитавшем некоторые места из этой декларации.

Оказывается, что «Россия была избрана III Интернационалом в силу ее географического положения, разноплеменности состава ее народонаселения и его малой культурности». Декларация не обижается на то, что кто-то «насадил» в России коммунизм. Она обижается на другое:

«Коммунизм... перестал быть внутренним делом русского народа, так как Третий Интернационал из московского Кремля первоначально стал наносить удары по центрам капиталистических государств Западной Европы, но, не достигнув там в полной мере успеха, он перенес свой удар на колонии и на те государства, которые состоят в тесной экономической связи с западно-европейскими державами, чтобы рядом экономических взрывов в центре этих государств вызвать революционный пожар».

«Надвигающаяся катастрофа из области предположений теперь переходит в грозную действительность, потому что агенты III Интернационала как официальные, так и неофициальные ведут свою преступную и разрушительную работу во всех странах мира. Эта активная преступная работа требует повелительно в силу даже инстинкта сохранения государственного бытия всех культурных держав, а также во имя спасения 2000-летних нравственных христианских ценностей решительных мер».

Эмигрантами вертят не только иностранные контрразведки, но и китайские полити-

каны; например, маршал Чжан Сюэ-лян, сын старого хунхуза Чжан Цзо-лина, официально шефствует пал организациями фашистской молодежи. Фашисты поэтому в Харбине работают безнаказанно.

Они не стесняются ни в выборе средств, ни в характере поступков. Они избивают советских граждан, срывают праздники советского населения, не дают возможности показывать в кино картины советского производства. Бандитская молодежь выслеживает рабочих-активистов и избивает их зачастую на глазах полиции, в центре города. С эмигрантами, которые не совсем согласны с методами фашистской расправы, поступают не лучше. Одному церковному старосте, некоему Лякеру, выстигли бороду и насильно влили касторки. Устрялову регулярно выбивают стекла в квартире. Насколько безнаказанны фашисты, видно из того, что их штабы работают открыто, рассылают документы за подписями и печатями.

С подшестьдесятка белых газет ведут ежедневную травлю Советов, провоцируют и утешают своих читателей ежедневными сообщениями о неизбежном крушении советской власти. Этим занят и китайский официоз «Гун-бао», руководимый белогвардейцем Ивановым, недоучкой Гейдельбергского университета. Этим заняты существующие на иностранные деньги «Русское слово», монархический орган, руководимый учредильцами, «Заря» и «Рупор», руководимые бывшими эсерами и через них — японским, английским и американским консулами...

Китайские власти, забыв о том, что бывший наместник края Гондати когда-то официально «третировал китайцев как собак, как скотину» (выражение антисоветской газеты «Го-Цзи-Сей-бао») и не разрешал им даже ходить по тротуару, теперь дружески поддерживают его и его бандитов.

Они забывают отказ СССР от боксерской контрибуции, они отказываются видеть такт и миролюбие советских представителей в Китае и, используя белые орды для борьбы с Советами, усиленно выживают все советское из Харбина, города, населенного тысячами советских граждан.

«Господа офицеры»

О настроениях эмиграции, особенно самой тупой и разложившейся ее части — дальневосточной, рассказать не легко. Для иллюстрации я ограничусь недавно изданной в Париже книгой очерков ген. Деникина «Офицеры».

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармошки жедтую грусть,
Проявляют свои неудачи,
Вспоминают Московскую Русь

(С. Есенин)

Триста тысяч было офицеров царской армии к началу гражданской войны. Многие из них ушли в белый лагерь. Они запятали историю кровавым именем дроздовцев, марковцев, корниловцев. Они покрыли себя славою истязателей, они обессмертили контрразведки.

Теперь, когда прошли года, многие из них оглядываются на недавнее прошлое и спрашивают себя: почему я шел?

Деникин, старый кадровый офицер и бесславный генерал, ставит этот же вопрос.

Он хотел показать героев, самоотверженных романтиков белой идеи, Брандтов контрреволюции. А их портреты глянули на нас беспмятным лицом отверженных, из которых борьба высосала все до кропинки, и теперь они не знают, за что отдана их кровь.

Они живут, как заведенные манекены, они умирают, как бестрепетные куклы, и только иногда в них просыпается человек и льются из глаз его простые человеческие слезы. Но это бывает редко. Люди живут замурованные в злобе, они осуждены ненавистью, и с их портретов смотрят землистые лица мертвецов.

Деникин хотел показать героев, а показал инвалидов, показал их плоские лица, на которых начерчены резкими схематическими штрихами обреченность, внутренняя пустота, безличность и обезволенность.

«Пролог».

1917 год. Развал фронта. Усталая, разочарованная армия, разлагающаяся в гнили окопов. Братание. «Ужасы» и страсти войны солдат с офицерами. Поручик Альбов, молодой и страстный, не в силах перенести разложения части. И когда за выступление на митинге его избили солдаты, он думал, что:

«Нет уже больше веры ни во что. Впереди беспросветная тьма. Уйти из жизни? Нет. Это была бы сдача. Нужно идти дальше, стиснув зубы и скрепя сердце, пока... пока какая-нибудь шальная пуля, — своя или чужая, — не прервет нити опостылевших дней» (стр. 25).

... 1918 год. Кубанский поход.

Поручик Ковтун обстреливает родную станицу. Ранен. В беспмятстве. Рядом — одностаничник, но другого лагеря. Раненый враг ожесточенно бьет раненого Ковтуна.

— За что? — спрашивает Ковтун.

«... Еще спрашиваешь?.. Кто вас звал, офицеры проклятые! Мало вам кровушки на войне было, так теперь народ добиваете! Повернуть все по-старому хотите! Землю нашу, которую кровью да потом, для дворянчиков у казаков отбираете...»

Раненые беседуют. Ковтун исповедуется.

«— Так зачем же ты пошел к ним?»

— Не из-за выгоды, конечно. Мы за народ идем. Большевики губят Россию. Все мы заблудились...»

Судите о «кредо» обоих по приведенным цитатам.

...Рунов, офицер Доброармии. Для него и России нет. У него есть жена, оставшаяся у большевиков.

«С тех пор, как добровольцы оставили Одессу, жизнь Рунова как-будто бы раздвоилась. Вряд ли многие в полку относи-

лись с большей добросовестностью и увлечением к службе. Но службе и вообще внешнему он отдавал только половину своего существа. Везде, где бы он ни был: в теплушке, в дни томительных и скучных переездов... в стрелковой цепи, извивающейся змеей по полю среди тысяч невидимых бичей — пуль, режущих воздух и землю... в бесшабашной угарной пирушке... или под сводами храма, наполненного тошкующими звуками поминальных песнопений, — о, как часто бороздили они душу в эти скорбные дни, — всюду уходил он в свой мир, особый, заветный, никому недоступный, он переносился воображением в свой брошенный дом, воспроизводил с реализмом безумца или ясновидящего встречи, разговоры, целые эпизоды, в которых его жена Любовь являлась всегда в образе больной, несчастной, преследуемой и мучимой большевиками, а он приносил ей избавление и радость.

Рунов боролся только на тех участках фронта, где мог пробраться к жене. Ради этого он брал опаснейшие поручения. А добравшись до дома, он узнал, что жена бежала из России, успев нагрузить два больших чемодана... Затем эмиграция Рунова, скитания, инвалидность, мучительная работа на заводе.

— Зачем?

В поисках жены. Однажды он встретил ее разряженную, красивее прежней. Но не было радости в этой встрече. В первый же час он узнал, что она живет на содержании у эмигрировавшего банкира Тер-Мутьянова. Рунов был у банкира на сверкающем балу и там, ненавидя присутствующую знать (узнав ей цену), пьянея, поднял тост за жизнь и за женщину... А затем бесследно скрылся.

Этот рассказ самый сильный в книге и самый трагический по знаменательности.

Смысл жизни субъективно честного рядового бойца, уперся в защиту продажной бабенки от мифических мучений.

В этом вся идеяность честных бойцов. Где же здесь Россия и ее «погубители»? Какая связь между романом обманутого человека и величайшим переворотом в историческом укладе человечества? Разве можно Октябрь спрятать в два сундука, вывезенные за границу? Разве кровь Рунова стоит шампанского на столе Тер-Мутьянова?

В этой злой пустоте живут герои остальных рассказов, угрюмые, мрачные. Живут тусклой жизнью, вздыхая, томясь о России, безнадёжные и покорные, беспомощные и ненужные, опускаясь все ниже под горестные звуки «надгробного рыдания».

«Тоска по родине»

В харбинском кино демонстрировался фильм «Тоска по родине».

У дверей театра толклись скауты, ожидая какого-то своего дежурного и кого-то выслеживая. Зал был переполнен.

Фильм начался с показа революции. Она оказалась в сполохах пожаров над дерев-

ней. Крестьяне очевидно сжигали свои избы. Толпа месила грязь, пачкая приклады винтовок. Чьи-то нежные белые руки мяли и ласкали бороду на портрете.

Потом кто-то выстрелил из браунинга, и руки упали. С какого-то растрепанного актера били старческий парик и трамбовали его тело прикладами. Разбили какое-то окно, и жадные пальцы наспех хватали со стола еду.

Толпа состояла из искусственных бород и очень интеллигентных, но измученных лиц. Чего этим бывшим людям вздумалось так громить — не понимаю.

А потом началась эмиграция. В пышном салоне, в прекрасных нарядах, эти люди, кажется, из Парижа и не выезжали никогда. Какая им родина нужна, если есть и фокстрот и бриллианты?

Те, кто бриллианты видел только на экране, но все же эмигрировал, сидели в кабачке и им не на что было покурить. Когда нет денег не только на сигары, но и на папиросы, тогда и по махорке и по сушеному березовому листу затоскуешь. Отсюда, вероятно, тоска по березкам, по родине.

Затем начал петь хор за ширмой в зале. Разедала тоска.

На экране стали демонстрировать идущую толпу солдат с ружьями на перевес. А промеж них виднелось чье-то знакомое дегенеративное лицо, оказавшееся лицом Николая Последнего.

Хор вдруг стал организованно кричать «ура», со сцены артист из кабачка «Таверна» запел:

...Умер бедняжка в больнице военной,
Долго родимый страдал.
Эту солдатскую жизнь постепенно
Тяжкий недуг доканал...

и замолчал, смущенный несоответствием песни преславленной эпохи «пушечного мяса».

А хор кричал «ура» и его поддержали из публики. Потом опомнилась какая-то кликуша и завопила на весь зал в истерике:

— Государи! Государи!

Сколько он ей остался должен, она не кричала, и он на нее не обратил внимания. Внимание на нее обратил экзотический билетер-индус, который сообщил ей, как говорят американцы, что ее ожидает автомобиль, т.-е. попросту выбросил она.

А хор кричал «ура», честно отрабатывая полтинники и немножечко торопясь (был последний сеанс). На сцене шли солдаты с ружьями на перевес, над ними гримасничал Николай, а балалаечники играли в тон боевой песне революционеров 1905 года:

Мы пойдем на грозный бой
И разрушим царский строй...

Публика была очень рада этому мотиву и скоро успокоилась.

Дальше все шло почти благополучно. Так как барин не может жить без мужика, то в дело вмешался управляющий Иван.

Княжна осталась без папы, а содержатель ей не наравился. Она решила вместе

с Иваном поехать на родину; потому что Иван был человеком от сохи и без работы жить не мог.

И вот они перешли границу, попали в село, где к ним пристал пьяный мужик, которому княжна понравилась и который привел «советского полицейского», такого страшного, что многие из публики поднялись и спешно ушли.

Однако, милиционер пожал Ивану мозолистую руку, предъявленную в качестве документа, и все были довольны. Этим могло и окончиться дело. Но Иван был очень скромный человек и никак не решался переспать в одной комнате с княжной. Тогда хозяйка дома заперла их вместе, потушила свет, и, посмотрев в щелку, наемкнула публике, что дальше показывать картину неприлично.

Этим все кончилось.

Но я все-таки никак не могу понять: какая же тут тоска по родине и при чем тут родина?

Публики в зале было много. И еще больше эмигрантов из Модягоу.

Они смотрели и обсуждали картину.

Когда княжна, пройдя границу, сняла шляпку, моя соседка слева сказала:

— В советской России шляпы носить нельзя.

Когда при переходе границы показались два крестьянина, тизнувшие соху, кто-то впереди авторитетно сказал:

— В советской России лошадей нет. Всех реквизируют.

Затем, когда на экране было богослужение, сосед справа проворчал:

— Неправда, нет теперь в России церквей. Видишь поп какой кудлатый, неважправдышный. Актера поставили.

И наконец, когда все кончилось, сзади меня дама заявила:

— Если бы я попала на родину, я прежде всего поцеловала первый же клочок земли.

Что ей скажешь? Хорошо было Колумбу целовать американскую землю, на которую еще не вступала человеческая нога, но попробуй поцеловать перрон на вокзале, или уваженное поле. Но ей никто ничего не сказал, ибо всё равно на родину она не попадет.

2. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Гальперин

Подмоченное «просперити». — Умирающая империя. — Либеральная утопия и «твердолобая» действительность. — От Средиземноморья к Черному. — Кризис во Франции. — Сейм для кредиторов.

Подмоченное «просперити»

«Прогрессисты и либералы могут воспринять духом после великого протеста, заявленного избирателями страны 4 ноября. Им должна придать мужества та строгая, но вполне заслуженная отповедь, которую получил в этот день Гувер. Два года назад он пришел к власти как верховный жрец «процветания» (процветания), но обещанные им чудеса превратились на деле в трусливую и глупую защиту существующего положения вещей. Прогрессисты и либералы должны воспрянуть духом, потому что, несмотря на широко распространенную в публике политическую апатию, оказалось, что дух протеста еще жив и что он может, когда это необходимо, найти свое выражение на выборах».

В таком торжествующем тоне начал свою статью об исходе состоявшихся 4 ноября выборов в законодательные учреждения САСШ орган радикальной американской интеллигенции «Nation» (от 19 ноября). Правда, никаких перспектив поражение республиканской партии, ставленником которой является Гувер, не открывало. То обстоятельство, что республиканцы потеряли 60 депутатских мест, в результате чего в палате представителей их большинство сократилось до одного голоса, а в сенате превратилось даже в меньшинство, очень ма-

ло меняет курс правительственной политики, ибо власть президента САСШ по американской конституции настолько велика, что оппозиция законодательных палат является в сущности ничтожным фактором. К тому же демократических лидеров немедленно после выборов опубликовали заявление о том, что они будут сотрудничать с Гувером и республиканской партией «при проведении всех тех мероприятий, которые будут вести к благополучию страны». На практике это значит, что Гувер будет проводить свою политику без всякой помехи со стороны тех «народных представителей», избрание которых знаменует, по мнению «Nation», протест против политики Гувера.

Таким образом, Гувер может довольно спокойно сидеть в Белом Доме остающиеся два года своего правления, а к тому времени настроение избирателей может измениться. Предположение это, однако, только теоретическое, ибо платформа «процветания», которая создала Гуверу два года назад такой успех на президентских выборах, подорвана вконец: ни о каком возврате пресловутого капиталистического «процветания» Америки до истечения срока полномочий Гувера не может быть и речи.

Выборы совпали с годовщиной кризиса, начало которому было положено крахом на нью-йоркской бирже в конце октября 1929 г. В течение этого года Гувер и его министры

один за другим выступали с пророчествами о скором окончании кризиса. В декабре 1929 г. министр финансов Меллон заявил, что кризис кончится к марту 1930 г., а Гувер в январе 1930 г. назначил даже определенный срок для изжития кризиса—60 дней. Министр торговли Ламонт пошел дальше и заявил, что в марте не только кончится кризис, но и появится вполне достаточный спрос на труд. Назначенный срок прошел, и в мае месяца глашатаем радостной вести выступил министр труда Дэвис. В июле его сменил на этом посту зам. министра торговли Клейн, назначивший конец кризиса на сентябрь—октябрь.

Это был крайний срок для возврата «просперити», ибо выборы были назначены на 4 ноября. Но экономика Соединенных Штатов решительно не пожелала считаться с политическим календарем Гувера, и к началу ноября дела обстояли хуже, чем когда-либо.

За неделю до выборов «New-York Times» (от 26 октября) констатировал, что все показатели хозяйственной жизни оказались через год после начала кризиса на более низком уровне, чем в самый разгар октябрьского краха прошлого года. Так, индекс погрузки железных дорог показывал 19 октября 1929 г. 100,7, а 18 октября 1930 г.—79,4; индекс производства электроэнергии показывал соответственно—103,1 (для октября прошлого года) и 90,4; индекс загрузки стального производства—104,6 и 73,1; наконец, показатель загрузки автомобильного производства снизился с 121,8 на 19 октября 1929 г. до 49,2 на 18 октября 1930 г. Биржевые курсы оказались к началу ноября 1930 г. на более низком уровне, чем 13 ноября 1929 г., т.-е. в момент наивысшей паники осенью прошлого года. При чем «New-York Times», откуда мы берем вышеприведенные цифры, имел в виду лишь акции наиболее крупных и устойчивых предприятий. Для примера укажем, что акции Стального треста котировались в конце октября 1930 г. по 143¼, тогда как рекордный минимум прошлого года (день 13 ноября) все же достигал 150.

Полный крах потерпела гуверовская политика и в области сельскохозяйственной политики. Созданный Гувером Федеральный фермерский комитет, имевший целью поддерживать цены на хлеб, оказался не в состоянии справиться с своей задачей. Задержав весной выпуск на рынок 60 миллионов бушелей пшеницы урожая 1929 г., он не сумел предотвратить падения хлебных цен; осенью же эти накопленные запасы оказывали еще большее давление на рынок, в результате чего цены упали ниже уровня цен 1910 г.

Орган нью-йоркских биржевиков «Wall-Street Journal» (от 10 октября) высчитал, что хлебные излишки Соединенных Штатов составляли на 1 октября 1930 г. 457 млн. бушелей (бушель равен примерно 25 кгр.), и чтобы их сбыть, САСШ должны экспортировать в течение 43 недель (с 1 октября 1930 г. по 1 августа 1931 г.) по 10,7 млн. бушелей в неделю. О малой вероятности

такого огромного экспорта можно судить хотя бы по тому, что наряду с САСШ значительные хлебные излишки имеются и в других странах—в одной только Канаде хлебные излишки на 1 октября 1930 г. составляли 400 млн. бушелей, т.-е. немногим меньше, чем в САСШ.

«Просперити» имело таким образом к моменту выборов довольно жалкий вид, и платформа республиканской партии естественно должна была измениться. «Любой республиканский оратор был бы встречен громким смехом, если бы обратился теперь к избирателям с такой речью, как 2 года назад»—писал по этому поводу «New-York Times». Да и кто бы не рассмеялся в конце 1930 г. при прочтении хотя бы такого места из одного воззвания республиканской партии, выпущенного в октябре 1928 г.: «Республиканская партия не является партией нищих людей. Наше процветание вычеркнуло это унижительное выражение из нашего политического словаря. Мы превратили всю нацию в общество людей, носящих шелковые чулки. Республиканское «просперити» приглушило недовольство поставило автомобиль в каждом дворе и бросило курицу в каждый котел».

Очереди безработных за получением бесплатного супа в столовых, устроенных в некоторых городах благотворительными обществами, мало гармонировали с этими обещаниями «курицы в каждом котле». Республиканская партия переменяла фронт и стала доказывать избирателям, что причина кризиса лежит вне Соединенных Штатов и что только мудрое правление Гувера предотвратило опасность превращения «некоторой депрессии» в глубокий кризис.

Но агитация эта успеха не имела, и чаша весов на выборах склонилась в сторону демократической партии. Правда, никаких глубоких экономических реформ эта партия не выдвигала, но уже тот факт, что ее ораторы критиковали правительство Гувера, снижал его голоса всех недовольных политикой этого жреца фальшивого «просперити».

А вместе с тем произошла и некоторая переоценка ценностей. На выборах потерпели фактически поражение и сторонники давно уже волнующего САСШ «сухого закона» (т.-е. закона о воспрещении продажи спиртных напитков). Не говоря уже о победе демократов, из которых большинство принадлежит к «мокрым», и среди республиканцев в восточных штатах прошли противники сухого закона. «Просперити» оказалось «подмоченным» как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова.

Умирающая империя

45 дней заседала британская имперская конференция. За это время было проведено 3 пленарных заседания, 28 совещаний председателей делегаций и 163 заседания комиссий и подкомиссий. И был еще великолепный банкет в лондонской ратуше, где принц Артур от имени короля приветствовал делегатов конференции, а 800 приглашенных гостей со всех концов империи, люди самых различных рас и цветов кожи.

своей многочисленностью и разнообразием свидетельствовали о величии той огромной части земного шара, которая находится под властью британской короны.

Люкин Джонстон красочно описывает в декабрьской книге консервативного журнала «Fortnightly Review», как один за другим вставали и отвечали на гостя принца Артура: канадский премьер Беннет, типичный государственный деятель и законник, консерватор по своим политическим взглядам, безукоризненный оратор, великоленно владеющий своей речью; австралийский премьер Скаллин, некогда горяк, затем мелкий лавочник и, наконец издатель и деятель рабочей партии, невысокий и тщедушный человек, но серьезный и полный силы оратор; потом премьер Австралии Форбс, человек либеральных взглядов, в молодости мелкий фермер-овцевод и известный футболист, ограничившийся на банкете заявлением о своей преданности империи и короне; и, наконец, генерал Герцог, премьер Южно-Африканского союза, поукротимый националист, некогда доблестно сражавшийся против Великобритании на поле битвы, высокий, седоусый, прекрасно сложенный и церемонно держащий себя человек, до сих пор не вполне свободно объясняющийся на английском языке.

Сотрудник «Fortnightly Review», вероятно, прав: британское правительство, надо думать, сумело обставить встречу делегатов с достаточной помпой, чтобы продемонстрировать перед собравшимися славу и величие империи. И быть может, на кое-кого из провинциалов, впервые попавших в Лондон, да еще на званый имперский банкет, торжественность и традиционная английская пышность произвели впечатление.

Но, увы, к огорчению поклонников великой Британии, которая царит над морями, британская имперская конференция не только не подвинула вперед дела сближения различных частей Британской империи, или, как она теперь официально называется, Британской лиги государств, но наоборот, в высочайшей степени выявила центробежные силы внутри умирающей империи. И бывший министр кабинета Болдуина Эмери с горестью констатировал, что имперская конференция кончилась полным провалом.

Конференция довершила процесс превращения доминионов в самостоятельные государства, связанные лишь общностью признания номинальной власти короля. Все следы зависимости доминионов от Великобритании уничтожены. Генерал-губернаторы доминионов должны отныне назначаться королем по представлению правительства доминионов, а не британского правительства, как было до сих пор; отменен закон, по которому доминионы не имели права изменять свои конституции без согласия британского парламента; за доминионами, не имеющими своих дипломатических представителей в той или иной стране, признано право обращаться к британским дипломатическим представителям непосредствен-

но, минуя британское министерство иностранных дел; наконец, за доминионами было признано, по настоянию южно-африканского премьера Герцога, право на свободное отделение от империи.

Более того, в некоторых отношениях государства, входящие в Британскую лигу государств, оказываются менее связанными между собою, чем государства, входящие в Лигу наций. Последнее в случае конфликтов должны обращаться (теоретически, конечно) в Международный трибунал при Лиге наций, как постоянно действующее учреждение; между тем доминионы для разрешения конфликтов между собою не имеют даже постоянного судьища — для каждого такого случая должен собираться специально назначаемый трибунал. Английский журнал «Economist» отмечает по этому поводу, что Индии, напр., легче с юридической точки зрения разрешать свои споры с Сиамом, чем с Южно-Африканским союзом.

Но, как ни далеко пошла конференция в вопросе о политической самостоятельности доминионов, все же центробежные силы внутри Британской империи еще резче сказались при обсуждении экономических проблем, стоявших перед конференцией. Ни к какому соглашению по экономическим вопросам участники конференции не пришли.

Ставя перед собой вопрос: почему провалилась конференция, «Fortnightly Review» отвечает: «Потому что правительство, зная, что оно не может принять предложенный доминионами о введении в Англии дифференциальных тарифов, не пришло на конференцию с другим хорошо разработанным планом» укрепления экономических связей между различными частями империи.

Приблизительно так же выражается и «Times»: «Отсутствие всякой политической линии и способности принять решение, явившееся следствием параллельного действия внутренних разногласий, сделало провал конференции неизбежным. При таких обстоятельствах можно еще поздравить себя с тем, что провал не был полным и что удалось перенести разрешение спорных вопросов на конференцию, которая соберется в будущем году в Оттаве (Канада). Министр Эмери хочет уверить нас, что шесть недель пропало даром. Это преувеличение. Правда, не удалось сделать решительного шага вперед, но все же двери остались открытыми, а ведь можно было опасаться, что они захлопнутся совершенно» («Times», 15 ноября).

Надежда «Times» состоит в том, что к моменту конференции в Оттаве в Англии у власти будет консервативное правительство, которое пойдет доминионам навстречу в деле усталовления в Англии покровительственных пошлин на хлеб и предметы сырья, с соответствующими скидками для доминионов. (В настоящее время хлеб и сырьевые товары ввозятся в Англию беспошлинно, что ставит доминионы в равные условия конкуренции с другими странами на английском рынке; система же диф-

рнциальных тарифов поставит экспорт доминионов в Англии в привилегированное положение по сравнению с другими странами).

Небезызвестный Томас, бывший министр «по безработице», а ныне министр по делам доминионов, в беседе с журналистами следующим образом определил создавшееся на конференции расхождение между британским правительством и делегатами доминионов:

«Премьер-министры доминионов считали, что наилучшей формой имперского предпочтения является соответствующая структура таможенных тарифов. Мы указали в ответ на это, что для Англии это означало бы обложение пошлиной с естных продуктов и сырья, и настаивали на том, что взаимные преимущества могут быть даны иными методами... Чтобы устранить вытекающую отсюда неопределенность и чтобы не создать впечатления какого-то торгашества, мы дали свободное обязательство, что в течение 3 лет существующие уже формы имперского предпочтения останутся неизменными (кроме случая взаимного на этот предмет соглашения). Впервые британская рабочая партия устами правительства заявила, что она считает систему имперского предпочтения выгодной для всех частей империи». («Manchester Guardian» 15 ноября).

Передовая «Manchester Guardian» подчеркивает еще один из итогов британской имперской конференции. «Доклад экономической комиссии наметил схему, которая должна обеспечить доминионам значительную квоту в снабжении Англии пшеницей, а также и определенную квоту для хлеба, производимого в самой Англии. Схема эта должна обеспечить английскому потребителю хлеб по ценам мирового рынка и в то же время защитить доминионы от вытеснения их на английском хлебном рынке дешевой, так наз. «демпинговой» русской пшеницей».

Газета, однако, оговаривается, что из доклада неясно, каким образом потребитель может быть обеспечен получением хлеба по мировым ценам, если будет приостановлен так наз. «демпинг», и каким образом будет обеспечена квота для хлеба английского происхождения.

Но обсуждать сейчас проекты, выдвигающиеся на имперской конференции, бесполезно. Ибо ко времени следующей конференции в Оттаве положение может измениться.

«Что же осталось от этой конференции, на которую возлагалось столько надежд?», — спрашивает французский еженедельник «Europe Nouvelle». И отвечает: «Немного папала, среди которого имеется еще, быть может, одна или две горящих головешки. Но этого достаточно, чтобы пламя возгорелось завтра».

Возгорится ли? Сомнительно.

Либеральная утопия и «твердолобая» действительность

Сохранит ли Соединенное королевство (Англия, Шотландия, Уэльс и Ультстерская часть Ирландии) свое положение самой передовой капиталистической страны в Европе? Вопрос этот занимает сейчас умы экономистов и политических деятелей Англии.

Этого вопроса касается знаменитый английский экономист Кейнс в довольно любопытной статье: «Экономические возможности наших правнуков», помещенной в октябрьских номерах редактируемого им либерального еженедельника «Nation and Aetheneum».

С присущим ему неизменным оптимизмом Кейнс высказывается против довольно распространенных сейчас среди буржуазии теорий о том, «что эпоха исключительного экономического прогресса, характеризовавшего XIX век, кончилась; что быстрый темп повышения жизненного уровня пойдет теперь вниз» и т. д.

Кейнс указывает, что с начала исторического периода до XVIII века средний уровень жизни в культурных центрах менялся очень незначительно: были взлеты вверх и вниз на 50, самое большое на 100 проц., но значительного движения вперед не было. С XVIII века начался период великих научных и технических открытий. В результате в течение двух столетий уровень жизни в Европе и САСШ повысился в 4 раза. При этом повышение шло все убыстряющимся темпом. Рекорд поставили уже в наше время Соединенные Штаты, где за 6 лет — с 1919 по 1925 г. — промышленная продукция (на душу населения) увеличилась на 40 проц. Когда этот технический прогресс распространится и на сельское хозяйство, количество производимой человечеством продукции, — а значит и общий уровень благосостояния — при той же затрате энергии увеличится еще в 4 раза.

Мы имеем сейчас, говорит Кейнс, «технологическую безработицу». Это значит, что технические усовершенствования, уменьшающие потребность в рабочей силе, обгоняют в своем развитии темп нашего умения изыскивать новые применения использования рабочей силы.

Подменив таким образом внутренние противоречия капиталистической системы «неумением» найти применение для освобождающейся в результате технического прогресса рабочей силы и исходя из представления о том, что человеческий разум преодолет это «неумение», Кейнс с уверенностью предсказывает, что не больше, чем через сто лет, экономическая проблема, как таковая, будет разрешена. «И тогда — впервые со времени своего создания — человек столкнется с своей действительной перманентной проблемой: как использовать свою свободу от давящих экономических условий, как организовать свой досуг таким образом, чтобы жить разумно, приятно и хорошо».

Эта либеральная утопия очень показателна для стремления наиболее выдающихся умов современной английской буржуазии отвернуться от неприятной действительности, вычеркнуть из анализа хозяйственного развития факт столкновения социальных сил и обещающий переход из царства необходимости в царство свободы без скачка, без революции, благодаря одному лишь прогрессу научной мысли.

Кейнс не ограничивается, впрочем, одними предсказаниями приятного будущего «для наших правнуков». Он пытается опровергнуть и для настоящего факт загнивания английского капитализма. Он ссылается в доказательство этого на то, что физический объем промышленной продукции Великобритании в 1929 г. был больше, чем когда бы то ни было, и что свободный излишек расчетного баланса Англии, пригодный для новых вложений капиталов, был в 1929 г. больше, чем в какой-либо другой стране — на 50 проц. больше, чем в САСШ.

Но опять-таки со свойственной ему тенденцией выбрасывать из своего анализа социальную сторону вопроса Кейнс не упоминает о том, что рост английской промышленности шел за счет так наз. новых отраслей промышленности (химическая промышленность, электротехническая, производство искусственного шелка, автомобильное производство), поглощающих гораздо большее количество рабочей силы, чем то, которое освобождается в результате упадка старых — основных для Англии — отраслей: металлургии, горного дела и текстильной промышленности. Кейнс не упоминает также о том, что излишки расчетного баланса Англии не находят себе применения в самой Англии и направлены на капитальные вложения в других странах.

Отсюда неизбежный характер английской безработицы и обострение классовых противоречий: нищета 20 проц. английского населения (2 миллиона безработных с семьями) наряду с огромным числом рантье, живущих от прибылей, идущих из-за границы: от вложений английского капитала в Аргентине, Мексике, Китае, Индии и т. д.

Но то, что позволительно ученому экономисту, менее приемлемо для политических деятелей. Как бы они ни хотели, они не могут пройти мимо социальной стороны вопроса, которая вторгается во все их расчеты в виде упрямого нежелающего считаться с голосом либерального «разума» классовой борьбы.

Директор отдела экономических связей при Лиге наций Ловедэй опубликовал недавно меморандум «Англия и мировая торговля». Констатируя факт падения роли Англии в мировой торговле (как известно в прошлом году Англия по сумме оборотов внешней торговли отодвинулась со второго места на третье — после САСШ и Германии), автор приходит к выводу, что коренная причина устойчивой послевоенной безработицы в Англии заключается в слишком высокой заработной плате. Высота заработной платы не соответствует росту произво-

дительности труда и умению английской промышленности организовать и рационализировать производство.

Та же мысль высказывается и в недавно опубликованном либеральной партией меморандуме «Как справиться с безработицей». Центральная мысль этого меморандума сводится к следующему: «Основная причина наличия устойчивого контингента безработных в 1 млн. чел. (второй миллион относится либералами за счет мирового кризиса.—С. Г.) заключается в том, что мы пытались обеспечить нации более высокий жизненный уровень, чем это оправдывается состоянием производительных сил Англии. В результате, если мы не будем реагировать на создавшееся положение бо́льшей реконструктивной работой, нам придется столкнуться с неизбежными последствиями устойчивой безработицы: уменьшением национального дохода и сокращением бюджета» («Nation» 8 ноября).

Вопреки оптимизму Кейнса, развитие английского капитализма ставит перед правящими классами Англии проблему снижения «жизненного уровня нации». Либералы пытаются отделаться от этой неприятной для «британской гордости» перспективы путем всякого рода паллиативов: направлением государственных средств на развитие сельского хозяйства (создание 100.000 новых ферм), укреплением связи между банками и промышленностью, субсидиями местному бюджету на электрификацию, дорожное и жилищное строительство, изменением системы социального страхования и т. д.

Разбирать по существу эти либеральные рецепты не приходится, ибо жизнь проходит мимо них. Значительную часть этих рецептов правительство Макдональда включило в свою программу, но реальных результатов они не дают и в условиях капиталистической анархии производства и не могут дать. Томас и Сноуден приложили немало усилий к тому, чтобы направить банковские капиталы на финансирование реконструкции английской промышленности, но результаты пока не дают себя чувствовать.

Как известно, наиболее отсталой является английская угольная промышленность. Так наз. «угольный закон», принятый в конце 1929 г. и введенный в шахтах с 1 декабря 1930 г. 7½-часовой рабочей день, предусматривал в первой своей части регулирование угольного рынка, что косвенно должно было содействовать рационализации угольной промышленности. Эта рационализация и должна была в основном быть источником финансовой возможности сокращения рабочего дня на полчаса. Но никакой рационализации на практике проведено не было, и шахтовладельцы выступили уже с жалобами, что во втором квартале 1930 г. угольная промышленность работала в убыток, теряя по 2 пенса на тонну угля. Когда же настал момент перехода на 7½ час., то шахтовладельцы, особенно бассейнов Шотландии и Южного Уэльса, заявили, что

эту реформу они могут провести лишь при условии снижения заработной платы. В конце концов федерация горняков, запуганная перспективой забастовки (в Шотландии она даже началась и продолжалась неделю), поспешила заключить с шахтовладельцами компромисс о сохранении прежней заработной платы, но на условии огульного исчисления рабочего времени (не 7½ час. в день, а 45 часов в неделю, или 90 часов в две недели). Эта «эластичность» в применении нового закона на деле давала возможность всякого рода отступлений от принципа 7½-часового рабочего дня. Кроме того, у части рабочих, главным образом работающих сдельно, фактически заработная плата была урезана. Но старания реформистских вождей не могли предотвратить начавшейся 1 янв. 1931 г. забастовки 160.000 участников Южного Уэльса.

Вопрос о снижении заработной платы стоит и для английских железнодорожников. При этом в качестве основного экономического фактора железнодорожные компании ссылаются на обострение экономического положения железных дорог в связи с усилением конкуренции со стороны автотранспорта. Конкуренция эта требует снижения железнодорожных тарифов, а компенсировать себя за снижение тарифов компании рассчитывают лишь путем снижения заработной платы. Мысль о возможности снижения себестоимости за счет рационализации работы пользуется успехом у английских капиталистов.

Английский журнал «The Round Table» (декабрьская книга), посвятивший большую статью освещению причин переживаемого Англией кризиса, приходит к выводу, что Англия должна стать на путь снижения себестоимости промышленной продукции, при чем основным элементом этого должно быть снижение зарплат. В оправдание журнал ссылается на то, что «сейчас все резко обрисовываются перспективы снижения зарплат в Германии, Франции, Бельгии, Чехо-Словакии, Соединенных Штатах и, к сожалению, и Англии не может остаться вне этой общей тенденции».

С капиталистической точки зрения это, может быть, и верно, но трагично положение правительства, имеющего себя «рабочим» и являющегося орудием спасения капиталистической системы за счет снижения жизненного уровня рабочего класса.

От Средиземного моря к Черному

Мировой кризис естественно не пощадил и Италию. В некоторых отношениях он ударил по ней даже сильнее, чем по другим странам. Финансовая устойчивость итальянской лиры и общее благосостояние страны в очень сильной степени зависят от притока туристов в Италию и от денежных переводов, которые направляются итальянскими эмигрантами на родину их семьям и близким. Оба эти источника потерпели в последние годы большой ущерб.

По данным итальянского Национального института туризма, уже в 1926 г. Италия

все меньше и меньше привлекает к себе иностранных туристов: с 3,1 миллиарда лир в 1926 г. доход от туризма унал в 1928 г. до 2,6 миллиарда. А в 1929 г. по утверждению председателя фашистских торговых корпораций дунтата Марсанча, этот доход снизился уже до 1,7 миллиарда. Банкротства ряда владельцев крупных отелей и антикварных магазинов иллюстрируют упадок иностранного туризма в Италии достаточно наглядным образом.

Не менее крупное значение имеет и сокращение денежных посылок от эмигрантов, число которых, по официальным данным итальянской статистики, достигает 9½ млн. человек. Общих данных по этому вопросу нет, но показательными являются сведения, опубликованные правлением Банка ди Наполи о поступлении денежных сумм в его иностранные агентства: с 679,8 млн. лир в 1925 г. они упали до 419 млн. лир в 1927 г., до 313,2 млн. лир в 1929 г. и за первые 8 месяцев 1930 г. не превышали 147 млн. лир.

Эти два обстоятельства естественно сузили внутренний рынок Италии. В то же время мировой кризис, особенно резко дававший себя чувствовать в сельскохозяйственных странах, куда шел основной поток итальянского экспорта, тяжело отразился на итальянской индустрии, очутившейся перед кризисом сбыта.

Если прибавить к этому непосильные для Италии расходы на военные нужды, обусловленные соревнованием с гораздо более мощной в финансовом отношении Францией, то затруднительное положение народного хозяйства Италии в настоящий момент становится совершенно понятным.

Трудящееся население Италии все с большим и большим трудом сводит концы с концами. Это видно хотя бы из данных управления почт и телеграфа о движении сумм в сберегательных кассах (приведены в журнале «Europe Nouvelle» от 22 ноября). Если в 1925 г. прилив вкладов превышал отлив на 293 млн. лир, то в 1929 г. имела место обратная картина: изъятия превысили поступления на 260 млн. лир, а за первые 8 месяцев 1930 г. это пассивное сальдо достигло 168 млн. лир. А общая сумма вкладов уменьшилась с 3.691 млн. лир в 1925 г. до 2.961 млн. лир в 1928 г. и 2.657 млн. лир к сентябрю 1930 г.

На открытии совета корпораций Муссолини 1 октября 1930 г. должен был признать, что Италия переживает период экономических затруднений. Он указал в своей речи на увеличение числа банкротств и крахов, на рост безработицы и па падение государственных доходов и в связи с этим на угрозу бюджетного дефицита.

Эта угроза скоро стала реальностью, и в середине ноября правительством был издан декрет о снижении жалования всем служащим государственных и общественных учреждений на 12 проц., при чем основной причиной этого снижения явился, как указано в самом постановлении совета министров, определившийся дефицит бюджета на

1 квартал в сумме 729 млн. лир. В своем постановлении фашистское правительство указало также на то, что аналогичное снижение уже проведено фактически в отношении рабочих большинства промышленных предприятий. Однако, это снижение зарплат рабочих оказалось видимым недостаточным, и 28 ноября в Риме было подписано между представителями предпринимательских организаций и фашистских профсоюзов италийское соглашение о снижении с 1 декабря зарплат рабочих и низших служащих (с заработком от 300 до 1.000 лир в месяц) на 8 проц. и служащих, получающих свыше 1.000 лир — на 10 проц. Соглашение охватывает всех рабочих и служащих промышленных предприятий.

Снижение зарплат, иначе говоря, снижение жизненного уровня всех рабочих и служащих Италии, является, однако, лишь паллиативным выходом из нависшего над Италией кризиса. Итальянская буржуазия пытается найти и другие пути — открыть для италийской промышленности новые рынки сбыта и закрепить за Италией определенные источники получения сырья. Эта экономическая задача естественно определяет и направление внешней политики Италии.

Еще в своей речи на открытии совета корпораций Муссолини сказал: «Наша мирная экспансия направлена на Восток. Ею определяются и наши союзы и заключаемые нами с другими странами дружественные соглашения». Необходимо признать, что в области экономических отношений с другими странами италийское правительство всегда держало деловой, чисто реалистической точки зрения. В частности между Италией и СССР отношения носили всегда нормальный характер, несмотря на полную противоположность существующих в обеих странах политических режимов и классовых устремлений.

И хотя в этих условиях встреча тов. Литвинова с италийским министром иностранных дел Гранди являлась естественным завершением налажившихся между обеими странами экономических связей, но в напряженной европейской атмосфере миланского свидания приобрело характер некоторой сенсации.

С особым подозрением отнеслись к этой встрече во Франции. Римский корреспондент «Temps» (см. «Temps» от 27 ноября) поспешил уверить читателей этой газеты, что «не следует преувеличивать значения миланского свидания, целью которого было не столько обсуждение проблем международного характера, сколько рассмотрение различных сторон итало-русских экономических отношений». Корреспондент ссылается при этом на вышеприведенные слова Муссолини о «мирной экспансии на Восток», а также на статью в «Giornale d'Italia», который подчеркивает, что сырье, необходимое Италии, не может быть блокировано в Черном море никакой другой державой (намек на дружественные отношения

между Италией и Турцией, выражением которых явилось посещение Италии турецким министром иностранных дел Тевфик Рущди-беом).

Успокоив своих читателей, корреспондент выражает все же известные опасения по поводу того, что всякое сближение между Россией и Италией не может не отразиться на некоторых «особо чувствительных пунктах политической географии Черного моря и Средиземноморского Востока».

Немало паугал политические круги Франции и Малой Антанты также женеvский корреспондент «Popolo d'Italia», написавший следующие страшные слова: «Призрак итало-германско-русского блока неожиданно стал принимать реальные очертания, а отношения, которые существуют между входящими в этот блок державами и турецко-греко-болгарско-венгерской группой, создают в женеvских кругах ощущение, что в Европе действительно случилось что-то новое».

Само собой разумеется, что распространившиеся в Женеве страхи перед возможностью создания новой антифранцузской мировой коалиции представляют плод чистой фантазии, до крайней меры, в отношении СССР, который, разумеется, не войдет ни в какую комбинацию капиталистических государств. И если что-нибудь роднит между собою внешнюю политику всех этих государств, то лишь общее их отрицательное отношение к системе версальского мира.

Кризис во Франции

Можно считать уже трюизмом утверждение, что экономический кризис перерастает в политический. В Америке этот кризис привел уже к поражению на выборах либерального правительства Канады, республиканской партии в САСШ и к революционной смене правительства в Аргентине, Бразилии, Перу и Боливии. В Европе кризис окончательно подрывал основы веймарской конституции, от которой остался лишь § 48, означающий конец германского парламентаризма; кризис подрывает почву под ногами у правительства Макдональда, которое понесло поражение на муниципальных выборах и неизменно теряет сторонников на всех дополнительных выборах в парламент.

Но Англия и Германия — страны, наиболее жестоко пострадавшие от кризиса. Политическая реакция на расстройство хозяйственной жизни представляется там совершенно естественной. Гораздо более любопытным является тот факт, что и во Франции разыгравшийся там в декабре правительственный кризис также является следствием экономического кризиса, хотя он еще не принял во Франции острых форм.

Еще в конце октября Гардые произнес в своем избирательном округе Делль речь, в которой восхвалял политическую и экономическую устойчивость Франции, которую она обязана «гармонической структуре

своего народного хозяйства, а также тем мерам, которые своевременно были проведены правительством.

Тардье с триумфом ссылался на то, что, несмотря на снижение некоторых налогов, бюджет на 1931 г. сверстан в прежнем размере и с некоторым остатком, который пойдет на «производственную экипировку Франции». Тардье ставил себе в особую заслугу огромное увеличение золотых запасов Банк де Франс, достигших 50 миллиардов золотых франков. Тардье подчеркивал, что франк стал устойчивейшей валютой мира и что облигации французских займов котируются на биржах всего мира по максимально высокому курсу. Тардье квалдился тем, что Франция является единственной страной в мире, которая еще в июле увеличила продукцию своей сталелитейной промышленности, и что французский экспорт хотя и упал, но в меньшей степени, чем экспорт других стран.

Это полное благополучие внезапно нарушилось крахом на парижской бирже, за которым последовало банкротство банка Устрик, автоматически отразившееся на положении ряда других банков. И хотя правительство пыталось свести размеры этого биржевого краха к пределам случайного потрясения, вызванного необузданной спекуляцией некоторых банков, но эту позицию ему удалось сохранить недолго. И уже в ноябре месяце министр финансов Поль Рейно должен был выступить с заявлением совершенно иного рода. «Безусловно мы переживаем кризис,—сказал он.—Я тем более имею право говорить об этом, что я принадлежу к числу тех немногих, которые утверждали это уже раньше. Мы переживаем кризис, и у нас могут быть еще и другие бури».

Правда, в этой речи почтенный министр финансов пытался успокоить своих слушателей уверениями в близком окончании мирового кризиса, но эти уверения мало на кого могли оказать свое действие, ибо почти все выдающиеся буржуазные экономисты высказались в том смысле, что если даже кризис начнет ослабевать, то переходный период к восстановлению «нормального» положения будет носить длительный характер.

Неизвестно только одно: предвидел ли Поль Рейно, предусмотревший распространение кризиса на Францию, что возможные в дальнейшем «бури» лишат его министерского портфеля и приведут к падению кабинета Тардье. А случилось именно это. Ибо министерство Тардье начало разлагаться в результате биржевого скандала, в котором оказался замешанным целый ряд его членов, и было добито в результате интерpellации сенатора Эри, поставившего ребром вопрос об экономическом положении Франции.

Эри прямо назвал рекламируемое Тардье «процветание» Франции мистификацией и указал, что бюджетное благополучие достигается лишь в результате всякого рода правительственных манипуляций с «амор-

тизационной кассой», манипуляций, сводящихся к скрытому выпуску новых займов. Эри указал также, что во Франции резко дает себя чувствовать так наз. «кредитная инфляция», являющаяся следствием бесплодного накопления золота в подвалах Банк де Франс, чем так хвастался на собрании в Дэлль председатель совета министров.

Рожер Натан в статье «Паника на бирже и ее причины» («Europe Nouvelle» от 18 октября) писал следующее: «Надо признать, что, несмотря на свою внешнюю солидность, здание французской экономики вызывает опасения некоторыми обнаружившимися в нем трещинами... Даже наш бесплодный запас золота (в Банк де Франс накоплено 50 миллиардов франков золота, т. е. вдвое против 1914 г.) и наше изобилие денег наводят на размышления. Ибо запасы золота являются богатством только в том случае, если его используют для расширения кредитования — иначе золото только вытягивает финансовый аппарат».

Вопрос о французском золоте уже стал предметом международной полемики. С легкой руки шведского экономиста проф. Густава Касселя, считающегося одним из столпов буржуазной экономической науки, целый ряд английских экономистов и политических деятелей упрекает руководителей финансовой политики во Франции, что они своей политикой накопления вызвали мировой кризис. Недостаток золота в других странах привел к росту цен на него (поскольку золото само является товаром), а значит к падению цен на прочие товары. Падение же цен — основной признак экономического кризиса.

Эти нападки на политику Банк де Франс вызвали резкую отповедь со стороны французской печати, указывающей, что приток золота во Францию объясняется общеэкономическими причинами. Но, как мы уже видели из статьи Рожер Натана, он вызывает опасения и в самой Франции, ибо приводит к кризису ее народного хозяйства.

Французские экономические и финансовые органы подчеркивают, что на состоянии французской торговли отзываются два фактора. С одной стороны, оптовые цены под влиянием общемирового кризиса обнаруживают тенденцию к падению, в связи с чем предприниматели стремятся отделиться от своих запасов, а торговые посредники, наоборот, ограничивают свои запасы пределами строго необходимого для ближайшего времени, — отсюда напряженное состояние рынка. С другой стороны, падение оптовых цен во Франции идет медленнее, чем в других странах, в связи с чем цены на французском внутреннем рынке растут по отношению к ценам мирового рынка, — отсюда трудность экспорта и заминка в экспортных отраслях промышленности.

Эта трещина в здании французской экономики и привела к падению кабинета Тардье. Роль «охранителя» хозяйственного

благоденствия взял на себя сенат. Вообще говоря, выход правительства в отставку вследствие поражения в верхней палате представляет собою довольно редкое явление в истории французского парламентаризма. За все время существования Третьей республики имеется всего лишь 4 случая свержения правительства сенатом. Последний раз это случилось в 1924 г., когда падение франка и казначейский кризис привели к поражению в сенате правительства Эррио. Сейчас причина лежит, как видим, в обратном: в избытке золота и хозяйственном кризисе при относительном казначейском благополучии.

Необходимо, однако, признать, что проявления неблагоприятия в хозяйственном положении Франции явились лишь почвой, которой воспользовалась оппозиция для того, чтобы свалить министерство Тардье. Радикалы и социалисты вели против него бешеную борьбу уже в течение нескольких месяцев, при чем правительство большинство колебалось между 30 и 70 голосами, а в сенате опустилось в одном случае даже до 5 голосов.

Стремительность этой атаки бывшего «левого блока» объясняется приближением парламентских выборов, которые должны состояться в апреле 1932 г. Радикалам необходимо во что бы то ни стало в остающиеся 15 месяцев занять ряд видных министерских постов и в особенности пост министра внутренних дел, который через префектов имеет возможность оказывать некоторое влияние на исход выборов. И не даром во время смены последнего кабинета Бриана кабинетом Тардье попытка образовать правительство широкой коалиции провалилась именно из-за спора о портфеле министра внутренних дел.

Как известно, правительственный кризис разрешился образованием радикально-центристского министерства Стага. Но полученное им большинство всего 7 голосов делает существование этого кабинета призрачным.

Сейм для кредиторов

«Всякий, кто мог следить за своеобразной манерой проведения польских выборов, естественно должен задать себе вопрос, почему Пилсудский не объявляет диктатуры в неприкрытом виде. Это было бы менее лицемерно и, вероятно, менее бесчеловечно, ибо даже в Италии никогда не было ничего подобного тому, что происходило в предвыборный период на Украине». Такой вопрос поставил варшавский корреспондент «Manchester Guardian» в номере этой газеты, вышедшем накануне выборов, 15 ноября.

Корреспонденту нетрудно было дать ответ на этот вопрос. Ибо искать его приходится не в психологии бравого маршала (для этой цели понадобился бы психопатолог), а в экономическом положении Польши. Эту причину с завидной откровенностью вскрыл министр земледелия Пальчинский. На избирательном собрании в

Горне 8 ноября он сказал: «Иностранный капитал начнет прибывать в Польшу после 16 ноября (день выборов) и только тогда. Иностранные капиталисты говорят нам, что они ждут, пока Польша будет иметь сильное и устойчивое правительство».

Корреспондент «Manchester Guardian» не без язвительности констатирует, что маршал Пилсудский обзаводится «парламентским» большинством для того, чтобы превратить политические отребья польской конституции в приличный «демократический» костюм для банкиров Америки, Англии и Франции.

В том же духе излагает избирательную платформу правительственного блока и французский журнал «Europe Nouvelle»: «Парламентское большинство соответствует реальному соотношению сил: это единственный способ вернуться к устойчивому режиму, способному внушить доверие иностранному капиталу и положить конец тому денежному голоду, который испытывает сейчас Польша. Это также единственная национальная тактика, которая может быть принята в смутный период, открывшийся после последних германских выборов».

«Europe Nouvelle», как и вся французская печать, отражающая точку зрения французской дипломатии, чувствует к польской солдатчине «влечение — род недуга». Но и этот журнал должен констатировать, что «популярность маршала в последнее время несомненно упала. Последние события окончательно поссорили его с польской социалистической партией, которая раньше питала искреннюю привязанность к личности своего бывшего вождя. К тому же крестьянские массы склонны, как всегда, винить правительство за катастрофическое падение цен на хлеб».

Неизвестно, конечно, окончательно ли поссорили с Пилсудским польских «социалистов» те пощечины и побои, которыми офицеры Пилсудского угодило арестованных депутатов центрального блока в брестской тюрьме, ибо загнать партию, примыкающую ко Второму Интернационалу, в решительную оппозицию, хотя бы словесную, не легко даже такому специалисту этого дела, как маршал Пилсудский.

Правительственный блок получил в новом сейме 247 мандатов, народные демократы — 62 мандата и центрально-левый блок (включая ППС) — 82 мандата. Таким образом, пилсудчики, несмотря на палочную систему выборов, все же не получили в сейме тех двух третей голосов, которые необходимы для изменения конституции. Гадать сейчас о том, к каким мерам прибегнет Пилсудский, чтобы провести конституционную реформу, не приходится. Ибо при новом сейме, председатель которого принимает избрание лишь с согласия президента, самый вопрос об изменении конституции теряет для Пилсудского свою остроту. Сейм будет существовать лишь для ино-

странных банкиров, требующих парламентского утверждения займов, о которых молчит оппозитивная Польша.

Но не в сейме будет решаться вопрос об устойчивости польского правительства. Быть может, иностранные кредиторы (если они будут) удовлетворятся правительством полковников Пилсудского и сеймом г-на

Свигальского, но широкие массы населения Польши, несомненно, рассматривают Пилсудского и всех его подручных как своих прямых классовых врагов. И вряд ли это обстоятельство способствует устойчивости того правительства, которое возглавляет сейчас по приказу Пилсудского полковник Славек.

Книжное обозрение

1. а) «ПИСАТЕЛИ — УДАРНИКАМ», б) «ЗЕМЛЯ СОВЕТСКАЯ». Т. Николаевой. — 2. В. СМЕРНОВ «Гарь». Арк. Глаголева. — 3. ПЕТР ШИРЯЕВ «Взвук Тальони». Н. Седов. — 4. КОНСТАНТИН КЛЯГИН «Горбу». Бориса Гроссмана. — 5. Л. КОПЫЛОВА «Первое стихотворение». Н. Матвеев. — 6. ВЕРА ИНБЕР «Чувство локтя». Н. Виленской. — 7. АЛЕКСЕЙ ПЛАТОНОВ «Макар-карающая рука». Бориса Гроссмана. — 8. А. ПИЛЬЧЕВСКИЙ «Голубая искра». Арк. Глаголева. — 9. АДАМ ШАРЕР «Без отчества». Я. Фрида. — 10. МЕМОАРЫ КАРЛО ГОЛЬДОНИ. П. Маркова.

«Писатели — ударникам». Сборник. Изд. «Федерация». Стр. 115. Ц. 75 к.

«Земля Советская». Сборник. Изд. «Зиф». Стр. 61 Ц. 10 коп.

В процесс нашей социалистической стройки мощно врываются все новые и новые грандиозные проблемы и задачи, которые требуют немедленного разрешения.

А что делает в этот трудный и ответственный момент наша художественная литература? Помогает ли она перестраивать жизнь, содействует ли выполнению этих боевых заданий?

Литература начинает постепенно включаться в поток социалистической стройки.

Рецензируемые сборники — первый боевой ответ наших издательств и наших писателей на обращение ЦК партии от 3 сентября. Писатели подошли вплотную к нашему хозяйственному фронту. Пятилетка и промфинплан сняты крупным планом. Широко раскрыта многогранность их форм. Пятилетка — не пятилетка вообще, это — строительство электрогиганта (Гладков — «Днепрострой»), повышение добычи в шахте (Поповский — «Прорыв»), ударный ремонт печи (Минаев — «Печь»), уборочная кампания (Ирүгов — «Чапаевцы»), передача в партию лучших комсомольцев (Вересаев — «Счастливейший день в жизни Лельки») и т. д. И пятилетка — это не только выполнение определенных хозяйственных задач, это грандиозная перестройка человеческого материала, смелая всапка вековых пластов бескультурья, тупого консерватизма, заплеванных традиций, разгильдяйства и т. д.

Сборник «Писатели — ударникам» наиболее ярко иллюстрирует все эти экономические и идеологические сдвиги. Свой боевой рапорт несут наши поэты. Безыменский первый бросает клич.

Уральский дает твердое обещание «не отдавать поста... до конца пятилетки».

Кудрейко уверен, что промфинплан будет выполнен.

А Вера Инбер пишет, что пятилетка

Ждет ударных втихов
Для ударных цехов,
И мы их обязаны дать.

Вот имена ударников, скромных героев пятилетки: Корыто, добившийся повышения добычи колчедана (Поповский — «Прорыв»), Чайкин — заправила ударной бригады слесарей (Ляшко — «Ударник»), Прошин — организатор ударного ремонта (Минаев — «Печь»), комсомольцы, построившие «лагерь социализма на берегу Оки» и бросившие вызов на быстрейшую постройку завода (Агапов — «Взрыв»), коммунары, строящие бедняцкую коммуны на полях Кавказа (И. Катаев — «Это еще только начало») и др.

Но сборник рисует не только передовых героев социалистического фронта. Иные «герои» предстают перед глазами читателя: лжеударники, шкурники, хвостисты и т. д. Гыклин в небольшом фельетоне «Словоперов как таковой» дает квинт-эссенцию одного из видов вредительства — лжеударничества.

Сборник составлен удачно. В минус редакции можно поставить включение в книгу чрезвычайно слабого клубного представления Архангельского «На бой за промфинплан» и сомнительных размышлений И. Катаева на «диалектические» темы (теоретическая часть «Это еще только начало»). Доминирующая форма прозы сборника — миниатюрный полудочерк, полурасказ с широким синтетическим обобщением.

Другой сборник «Земля Советская» рассчитан на менее квалифицированного читателя. В центре его — деревья, перестраивающиеся на коллективных началах. На старую деревню идет мощное наступление новой экономической и технической культуры. Пафосом комбайна, сменившего обо-

гую лошаденку единоличника, проникнута «Моя уборочная» Дорогойченко. Коренная переделка консервативной крестьянской психологии, еще проникнутой сильными собственническими тенденциями, показана в рассказах Замойского «Хомут» и Каманина «Недопустимо». О прорывах на путине рассказывает в духе «деда-балалаечника» Зуев («Картины с путины»).

Но в общем сборник производит несколько нерешливое впечатление. Не все произведения его пропущены сквозь строгий редакторский фильтр. Наивная агитация Ярового («Веселые ребята»), стихи Богданова, сделанные по рецепту древне-русской песни («Запевка»), беспомощная «идеологическая» лирика Клягина («В пути») — все это должно было быть зачеркнуто редакторским карандашом.

Но, не в этих срывах в данном случае дело.

Сейчас мы должны приветствовать наших писателей и поэтов, которые двинулись в бой за пятилетку.

Дальше, дальше, в самую гущу рабочего и крестьянского ударного актива, на помощь ликвидации прорывов должна двинуться писательская общественность, не ограничиваясь одной заводской и колхозной тематикой. Смело пойти на штурм наших учреждений, где рядом с соцсоревнованием и ударным движением мирно уживается самый гнусный формализм, где люди задыхаются под грузом бумажных резолюций.

Писателям предстоит большая, упорная борьба за многообразную тематику реконструктивного периода, борьба за качество ударной продукции.

Т. Николаева.

В. Смирнов. — «Гарь». Роман. РАИП. Новинки пролетарской литературы. Изд. «Московский Рабочий». М. 1930. Стр. 240. Цена 2 руб.

Роман выпущен как одна из новинок пролетарской литературы. Однако, принадлежность произведения В. Смирнова к числу новинок пролетарской литературы довольно условна.

Роман В. Смирнова и по материалу, и по способам художественной разработки едва ли можно назвать новинкой. Предмет повествования: деревня и уездная провинция (преимущественно первая) на протяжении последних предвоенных и первых революционных лет. Перед нами предстают борьба мужиков за землю, взаимоотношения деревни с уездной советской властью, проработка, уездные партработники.

Материал «Гари», таким образом, носит «исторический» характер, к тому же он неоднократно использовался нашими беллетристами. Правда, — и это общезвестно, — что в зависимости от характера художественной идеологии писателя исторический материал тоже может явиться подлинной художественной новинкой. Но «Гарь» в целом представляет собой только простую —

хотя и не лишённую социально-бытовой правдивости — иллюстрацию событий минувших лет. Автор не даёт каких-либо существенных обобщений, в произведении нет какой-либо четко выраженной художественной идеи, общей проблемы, которые придавали бы ему литературно своеобразный облик. За отсутствием в повествовании объединяющего начала его художественное ядро приходится усматривать в образе одного из центральных действующих лиц — Антона Кашина, до некоторой степени выполняющего стержневую функцию романа. Но этот образ, которому В. Смирнов придает наибольшую художественную значимость, как раз и делает спорной принадлежность «Гари» к пролетарской литературе. В лице Антона мы имеем образ, типичный для революционно-крестьянской беллетристики. Антон Кашин — батрак барской усадьбы до революции — принимает активное участие в борьбе мужиков за землю еще в эпоху февраля, в октябре вступает в ряды партии и начинает работать в качестве заведующего уездным земельным отделом. При всей своей несомненной принадлежности к бедняцко-батрацким слоям крестьянства Антон далеко не свободен от мелко-собственнического индивидуализма. Социальное перевоспитание Антона совершается медленно и туго. «Кашин не знал точно, за что борется коммунистическая партия, элемент которой он был...», он все еще остается «собственником в душе». Думы о собственном доме и т. п. еще крепко гнездятся в Антоне: «...словно два человека боролись в Антоне». Старательно обрисовывая фигуру Антона, но и тут не привнося сюда ничего литературно нового (процесс первоначального оттапливания от мужицко-собственнической индивидуалистической идеологии в сторону революционного мировоззрения уже неоднократно привлекал внимание крестьянских беллетристов), В. Смирнов остальных главных действующих лиц, — уездных совпартработников, уком партии и исполком, осуществляющих революционное руководство деревней, — художественно развернутый показ которых именно и мог бы социально приобщить роман к пролетарской литературе, изображает весьма бледно, эскизно, силуэтно, а частично и совершенно неудачно. Так, например, литературно крайне неинтересно, художественно водянисто подается образ завуполитпросветом Невского, предстоящего перед нами примитивным провинциальным интеллигентом, наделенным литературно традиционной «мягкотелостью» и «нерешительностью» в соединении с позерством и фразерством. Зарисовка этого Невского, как равно и других выходцев из рядов интеллигенции (например, Рожко), получилась у нашего автора художественно легкой и стереотипной.

Современная пролетарская и революционно-крестьянская литература при некоторых своих дефектах, вызываемых трудностями быстрого роста, в целом все же настолько

художественно окрепла, что вполне позволяет требовать от нее более ярких и оригинальных вещей, чем «Гарь» В. Смирнова.

Арк. Глазюлев.

Петр Ширяев. — «Внук Тальони». Роман. Первое — второе изд. Изд. «Земля и Фабрика». 1930. Стр. 221. Ц. 1 р. 40 к. Пер. 35 к.

Перед нами роман с оригинальным подвижным сюжетом и быстрым движением частей. Композиционные достоинства его почти безукоризненны. Независимо от степени наполнения содержанием, «Внук Тальони» выгодно отличается даже от лучших современных романов чисто структурной стройностью и какой-то непринужденностью в чередовании фабульных моментов.

Но, конечно, одних этих достоинств недостаточно для определения удельного веса произведения в современности, настойчиво требующей от искусства углубленного и своевременного служения социалистическим задачам эпохи. С этой стороны роман надо признать несколько запоздавшим с выходом в свет (дата написания его 1927—28 гг.) и даже условно историческим, поскольку действие в нем тематически замкнуто в круг собственных и повсюдских событий. П. Ширяев должен был заметить содержащиеся в его теме общественно-диалектические возможности, на которые ориентировалась передовая советская общественность и в классические, так сказать, годы напa.

Краткого пересказа сюжета будет достаточно, чтобы в этом убедиться. Матерому барину-помещику и коннозаводчику Бурмину противопоставлен крестьянин Никита, который волею революции и особым стечением обстоятельств становится владельцем знаменитой бурминской кобылы «Лести» — орловских кровей — и ее сына «Внука Тальони». В Никите показана яркая вспышка собственнических вожделений, принципиально ничем не отличимых (коннозаводчики до революции происходили не только из дворян, но и из «чумазных») от исторически сложившегося собственничества Бурмина. Его полонит почти навязчивая идея взять на бегах «прыз», прославиться и, конечно, разбогатеть. Если вспомнить из недавнего прошлого состязания крестьянских рысистых лошадей и охранные грамоты, раздававшиеся владельцам породистых лошадей (Никита тоже получает такую грамоту), то получится очень четкая и недвусмысленная картина. П. Ширяев несколько затушевывает социальный смысл этого «перехода» владельческих прав и удовлетворился показом одной «практики». Ограничиться раскрытием только иного психологического отношения крестьянина к лошади по сравнению с Бурминым было, конечно, недостаточно (Никита наделен живыми чертами человека, любящего лошадь ради хозяйственного интереса и «по-человечески» трепещущего за ее здоровье, а Бурмин, наоборот, представлен в роли сухого, эстетствующего барина, для

которого «порода» имеет самодовлеющую ценность). Условный историзм романа П. Ширяева заключается именно в том, что в факт временного совпадения частного интереса Никиты с задачами советского государства по восстановлению коннозаводского хозяйства, он ошибочно увидел знак эпохи.

Завершенно вылитым и металлическим жестким вышел в романе Бурмин, с его ассирийской бородой, архаической речью и бесчувственностью ко всему не лошадиному. Тут автор прибегнул к явной стилизации (передавшейся и в речь), чтобы выделить в нем все зубоподобное. Никита с сыном тоже (особенно в сцене на бегах) даны с некоторым «сценическим» блеском и подчеркнутостью. Уж очень много в них иногда деревенщины. Наиболее правдиво и скромно-глубоко показан наездник и трюсер Олимп Лутошкин, художник своей профессии, симпатичная и неподкупная личность.

П. Ширяев развернул перед читателем «закулисный» мир наездников, конюшен, ипподромов, барышников и коннозаводчиков. Развернул в общем ярко, увлекательно, ловко. Он не соблазнился столь естественным в данном сюжете соблазном — уйти по уши в «психологию» лошади (здесь он предпочел «рефлекнологию» всякому иному методу). Он совсем не соперничает с великим автором «Холстомера» и не оглядывается на купринского «Изумруд». У него своя тема. И художественная задача его иная: связать судьбу лошади с судьбой окружающих ее людей и совершающихся событий. Революция втянула в свою воронку все будничное и праздничное в жизни милой и страдающей «Лести». От Бурмина она попадает в армию, становится рабочей лошадью, заболевает и у Никиты, наконец, встает на ноги. В этой спаянности жизни — главное отличие романа.

Бовковые линии сюжета тоже представляют значительный интерес. К ним относятся: артистически, не по-спортсменски сделанный рисунок бега лошади, ее изнеженно-сильной поступи (стр. 12 и 213) и проходящий сквозь весь роман и образно поданный призыв к выращиванию здоровых, физических предрасных особей, с кровью, подобной «бриллиантовой руде». Бурминская совершенно абстрактная и «патристическая» страсть к породистости, перешедшая в измененном виде потом к Никите, могла бы, конечно, найти более социально-обостренное истолкование, нежели это дано у П. Ширяева. Тут мы, однако, опять упираемся в «историзм» романа... Во всяком случае, «Внук Тальони» — произведение самостоятельное и насыщенное художественным волнением и драматизмом. Этим романом автор, отдавая все еще дань трафарету в некоторых приемах характеристики героев, выходит на широкую дорогу искусства.

Н. Седов.

Константин Клягин. — «Горбун». Повесть. Изд. «Федерация». М. 1930. Стр. 202. Ц. 1 р. 50 к. Пер. 20 к.

Повесть из жизни деревни дореволюционной и советской.

Жестокое отношение отца и издевательство учеников в школе сделали Ивана Колесина, уroda (горб), внутренне непохожим на других. В результате злого к нему отношения, не имея друзей, Иван пристрастился к церкви и книгам, непохожим на нашу жизнь».

После революции и под влиянием ее Иван ожил, принял участие в организации комсомольской ячейки. Но и здесь не прекратилась его мятарства. С одной стороны, продолжались насмешки, с другой — он потерял способность сближаться с людьми. Иван стал селькором, избачом, его положение в обществе укрепилося, но внутренне он оставался одинок. Только неожиданно полученная командировка на рабфак, товарищеское отношение студентов привели Ивана к мысли, что «и сломанная былинка живет».

Автор пытается показать Ивана Колесина во всей сложности его характера, социально и психологически обосновать каждый шаг своего героя. Но вместо углубленного показа получился разорванный психологический рисунок. Метания Ивана воспринимаются поэтому как творческие метания автора, который не умеет оправдать каждую ситуацию, каждый поворот в психике персонажей (не убедительно мотивированы, например, быстрый отход Ивана от церкви, его первые отношения к комсомольским обязанностям). Вместе с тем примитивный «психологизм», посредством которого Клягин раскрывает образ Колесина, превращает Ивана в мелодраматического героя. Конст. Клягин хотел показать, как под влиянием социальной среды изменяется психика человека, но осуществить замысел ему не удалось.

Когда автор попросту описывает деревню, сказывается его знание крестьянского быта, умение ориентироваться в социальной дифференциации крестьянства. Попытки же его усложнить повесть лишь свидетельствуют о том, что автор не нашел еще своего творческого метода. «Горбун» — посредственная, рядовая вещь, нескучная, написанная грамотно, — не больше

Борис Гроссман.

Л. Копылова. — «Первое стихотворение». Изд. «Пролетарий». 1930. Стр. 127. Ц. 60 коп.

Л. Копылова любит солнце, цветы, молодость, любит радостную жизнь и верит в нее. Раньше она была поэтессой. И, может быть, ее новая повесть «Первое стихотворение» лишь продолжает избранный ею путь поэзии. Так оно и есть: повесть посвящена теме вдохновенного и мучительного рождения поэта в рабочем подростке. Остро, как укол, и неожиданно, как молния, рождается поэт Михаил Полихарпов. Но рабочая темная слободка и фальшивое меценат-

ство модернизированных Тит Титычей быстро сдают многообещающее дарование. В солнечное плетение жизни вплетается здесь настойчивая и щемящая нотка грусти и беспокончания. Здесь Л. Копылова вдруг расплескивает свою счастливую тему, разбрасывается как-то по быту и направляет героя почти без сопротивления по волнам рифмоплетства и чуждой рабочему идеологии. Повесть написана так, что образы сумасшедшей купеческой дочки Маруси и декадента из племеев Канина заслоняют героя, подавляют его здоровую наблюдательность и инстинкт, его классовую сопротивляемость. Хочется верить, что это временное пленение, что наступившая война 1914 г. подведет его вплотную к революционной поэзии. Иначе незачем было автору всерьез создавать милый образ цветущего поэта.

Может быть, этой разбросанности способствовал широкий фабульный охват темы, прекрасная память и знание прошлого у Л. Копыловой, стремление во что бы то ни стало дать среду в ее главнейших моментах? Так или иначе, но герой повести остался недоконченным, и нет никакой уверенности в том, что за первым «медумическим» стихотворением его последует второе, свободное, возвышенное и нужное рабочему классу.

Повесть сжата до чрезвычайной степени. Без настоящей и богатой культуры слова этого нельзя было достигнуть. Л. Копылова избегает «эмоциональных» средств воздействия и стремится к конкретному образу прежде всего. И в самом деле, есть в жизни положения, о которых нейдет распространяться, — поэтому-то так легок ее неаналитический слог, ее грустно-жизнерадостное едва уловимое волнение.

Писательница взяла сильную и нужную поэтическую тему. Рабочая тематика нашла в повести органическое внимание и нешаблонное разрешение. В черной земле писательница увидела богатые источники. Такова она и в других своих немногих вещах, — с постоянной любовью к рабочему человеку и несколько однообразной, но золотой живописностью языка.

Н. Матвеев.

Вера Инбер. — «Чувство локтя». Изд. «Пролетарий». Стр. 169. Ц. 1 р. 10 к.

С обычной своей формальной изысканностью Вера Инбер в этих рассказах пытается вскрыть философскую сущность нашего бытия. Она обращает внимание читателя на то, что в самых незначительных явлениях жизни скрыто глубокое содержание.

Большинство рассказов — одножестны и даются в культурно-бытовом, а не социальном освещении. Старое, уходящее воспринимается в идиллических тонах вишневого сада: развесистая липа, яблоня, арбатский особняк, луковки церковей. И люди, оплакивающие его, — старомодные, милые, чудакосватые, живущие замедленными тем-

дами. Тут много образов: от старухи, ненавидящей автобус, до профессора, проникнувшегося пафосом пятилетки.

Интересная тема затронута, но не достаточно разработана, в заграничных рассказах галерея обезличенных рабов «искусства» получила у Веры Инбер удачное изображение.

В формальном отношении Вера Инбер остается попрежнему оригинальной. Все ее индивидуальные особенности: ритм речи, богатство сравнений, стилизация, а также лирическая насыщенность создают только ей присущий стиль. Портит дело страсть к излишней образности.

Во всех рассказах акцентировано элегическое настроение. Правда, оно переживается героями, принадлежащими к уходящим поколениям, но сила этих эмоций не подавляется никаким другим настроением.

Если характерной особенностью рассказов, включенных в сборник «Так начинался день», было устремление Веры Инбер к будущему, то тут она во власти образов прошлого.

Н. Виленская.

Алексей Платонов.—«Макар-карающая рука». Повести и рассказы. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 174. Ц. 1 р. 10 к.

Каждое произведение в книге самостоятельно. Вместе с тем составные части сборника связаны, как звено со звеном. Они связаны не только общностью материала. Некоторые персонажи, являясь в одной вещи центральными, фигурируют в других как «вспомогательные». Передвигается батальон — соответственно этому меняет точку прицела и художник.

Алексей Платонов особенно пристально всматривается в людей, поражающих его какой-либо необычной чертой характера, чертой, которую подмечают и все бойцы батальона.

Макар Бражкин—«карающая рука»—едва не приговорил к смертной казни сына, вина которого была невелика. Он готов убить сына, лишь бы потом не говорили: «И тут бражничество. Что ж, Бражкин всегда оправдает Бражкина. Так было и так будет».

И в других своих вещах Платонов ставит личные качества, индивидуальные желания и привязанности с революционной необходимостью. Побуждает последняя.

В красноармейцах Платонова много от партизанщины, от крестьянской стихии, от героического удалства, от Бабеля. И хотя в «Скрипаче Ламзаки» автор пародирует стиль «писателя-романтика», человеческие образы и стиль книги овеяны «дымкой романтики». Автор с любовью пишет о людях, которые своими странностями ставят себя в отличное от других положение. Это замечание отнесется решительно ко всем рассказам, составляющим книгу. Считать, однако, романтическую струю в творчестве Платонова самодовлеющей, отвлеченной нет оснований, ибо идеологические выводы, к

которым приводит сборник, осуждают отрыв от действительности, попытку личности противопоставить себя коллективу.

Алексей Платонов в поисках своего стиля допускает стилистические «выкрутасы»; отбюда и некоторые другие формальные недостатки книги. Оп не свободен от подражания (Бабель). Однако, в книге пет значительных срывов. И композиция рассказов, и образная их структура (Платонов тяготеет к сложным образам) говорят о его талантливости.

Борис Гроссман.

А. Пильчевский.—«Голубая искра». Изд. «Коммуна писателей» (Киев). 1930. Стр. 293. Ц. 1 р. 35 к.

Эта крайне небрежно изданная (обилие опечаток) и плохо написанная книжка принадлежит к тому сорту произведений, ничемность которых для читателя становится очевидной и без журнальных отзывов. Если же мы все-таки уделяем песочколько строк книжке, то делаем это по следующей причине: «Голубая искра» издана «Производственным объединением русских советских писателей» в Киеве. Печатная продукция этого молодого литературного объединения еще очень немногочисленна. Книжку Пильчевского вследствие этого приходится рассматривать не только как индивидуальное выступление отдельного писателя, но как нечто большее, как один из образцов художественной продукции «Объединения», так или иначе характеризующий творческое лицо киевской «Коммуны писателей» в целом. Неслучайный для «Объединения» характер выпуска данной книжки подчеркивается тем фактом, что Пильчевского «Коммуна» издает уже не впервые. Рассказ «Голубая искра» был, например, помещен в альманахе Объединения «Ветер Украины» (в книге второй).

Литературная, мягко выражаясь, небрежность Пильчевского переходит очень часто в простую неграмотность. «Зачеркнуть рукой» можно воду, а не кувшин, «слонух», вопреки Пильчевскому, не «едят», а проглатывают, «подушки» могут быть «под глазами», но не «под подбородком».

В повествовании Пильчевского мы не находим ни одной живой строки. Претенциозная, художественно-вульгарная литературщина сплошь заполняет страницы книжки. Его персонажи не говорят, а «лыют сталью», «звучат металлом», «восторженно поют», «гудят», «пиликают», «порхают смехом» и т. п. «Изобразительные» средства Пильчевского совершенно отчетливо выявляют всю ничемность его «творений». Во-первых, они удручающе однообразны: в своих определениях и эпитетах автор непрерывно повторяется, социально и психологически различное Пильчевский «описывает» совершенно одинаково, что выразительно (на этот раз уже без кавычек) подчеркивает полнейшее внутреннее равнодушие писателя к тому, что он «изображает». Во-вторых, эти «художественные» средства Пильчев-

ского крайне безвкусны и беспомощны. Автор, например, особо усиленно занимается «глазами» своих персонажей, заставляя эти поистине несчастные глаза «раздираться», «взвинчиваться», «ерзать», «плясать», «трепетно биться» и т. п. Все эти однообразные в своем «разнообразии» эксперименты с глазами, продельваемые буквально чуть ли не на каждой странице (которых в книжке, напомним, около трехсот!), приводят прочтавшего книгу в состояние гнетущей тоски.

Если ко всем этим «качествам» Пильчевского присоединить обывательскую пошлятину рассказа «Галчонок», народнически-эпигонские, интеллигентско-аполитические тенденции повести «Мгла», примитивизм и схематизм в обрисовке новых людей («Голубая искра»), — то «физиономия» книги станет еще более ясной.

Арк. Глаголев.

Адам Шарер. — «Без отечества». Первая книга о войне, написанная рабочим. Перев. с нем. А. Зелениной. «Новинки зап.-евр. революц. лит.—ры». Изд. «Моск. Раб.» М. 1930. Стр. 228. Ц. 1 р. 50 к.

Неожиданная мобилизация, муштровка в казармах, окопы, госпиталь, тыл; товарищеское чувство к «врагам», ненависть и презрение к тем, «кто вверху»; кровь, хруст костей, страдание, ставшее бытом. Еще одна типичная биография «защитника родины», обыкновенного, «неизвестного солдата». В художественном отношении эта история, написанная как роман, не поднимается выше среднего уровня. А. Шарер не обладает техническими средствами и лиризмом Ремарка; в книге нет солдатского коллектива, как в «Огне» Барбюсса. Новизна и ценность книги в другом: ее автор видит войну глазами рабочего, а не глазами мелкобуржуазного пацифиста. Отчетливое пролетарское классовое отношение к империалистической войне, полное отсутствие благоговения перед словами «отечество», «честь родины», «слава». Тыл в романе не отодвинут окопами на второй план, как в большинстве военных книг. Предательство социал-демократических вождей, голосовавших за военные кредиты, является для героя романа не меньшей катастрофой, чем объявление войны. Писатель следит за тем, как на военных заводах зреет беспокойство, как все громче, предвестьем восстания, звучит имя «Либкнехт»; для него пролетарская революция — неизбежная и желанная развязка войны, и этим роман отличается от книги Ремарка и других мелкобуржуазных «дневников войны», авторы которых инстинктивно отворачиваются от революционной развязки и заканчивают книги выражением безнадежности, тоски, пассивности.

Любопытно, что А. Шарер, опять-таки как бы в ответ Ремарку, разрушает представление о романтике товарищества на войне, заявляя, что никакой романтической товарищеской спайки на фронте в буржуазной

армии не бывает; помещичьи сынки и там остаются помещичьими сынками, рабочие — рабочими, а их товарищеские отношения — «содружество кандидатов в мертвецкую».

Я. Фрид.

Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его жизни и его театра.

Том I, перевод, введение и примечания С. С. Мокульского. Изд. «Academia». 1930. Стр. 585. Цена 2 р. 90 к. + 80 к. (пер.).

Издательство «Academia», продолжая серию «театральных мемуаров», приступило к выпуску воспоминаний Гольдони. Пока оно сосредоточивало преимущественное внимание на русском театре (Савина, Каратыгин, Шуберт, Теляковский и др.). Расширяя круг внимания, издательство выпускаем мемуаров Гольдони охватывает и историю западного театра. Надо думать, что вместе с этим «Academia» придет и к мысли о более систематическом плане «мемуарных изданий». Нечего и говорить, насколько эти издания важны и ценны сами по себе. Они — необходимейший материал для театроведческой работы. Между тем пробел в этой области чрезвычайно велик. Ранее изданные мемуары (Рисмори, Росси и др.) исчезли с книжного рынка, — вдобавок, они издавались вне научного аппарата и без критического к ним подхода.

Мемуары Карло Гольдони, выпущенные с соблюдением основных научных правил, занимают едва ли не одно из первых мест в богатой западной мемуарной литературе. Их значение обусловлено не только личностью автора, но и богатством сообщаемого материала, глубокими данными для изучения эпохи и психологии творчества и, наконец, непосредственным блестящим изложением. Повесть жизни Гольдони тесно связана с его творчеством. Она займет и неспециалиста разнообразием неожиданных приключений, событий и встреч, пережитых Гольдони за его всемидесятишестилетнюю жизнь; войны, путешествия, разорения, успехи и неудачи, интриги, любовные встречи и т. д. составляют непосредственную, почти беллетристическую, канву воспоминаний. Но за всей пестротой и переплетением событий встает иная, основная тема книги — творчество Гольдони.

Гольдони рассказывает просто и спокойно. Свои мемуары он писал уже стариком. Многие из его прошлого потеряло для него свою остроту. Многие перипетии своей жизненной борьбы он воспринимает уже «из прекрасного далека». Он сглаживает углы и даже свой внутренний характер, бросивший его с непреодолимой силой в авантюры и приключения, он часто упрощает применительно к спокойному «старика Гольдони». Но факты говорят за себя: Гольдони не в силах даже через десятки лет убить энергию, бывшую в нем ключом, — и за умеренными строками вырастет образ драматурга-авантюриста,

представителя и «идеолога крепнувшей итальянской буржуазии», пригоршнями черпавшего материал для творчества из окружающей жизни и личного опыта. Мемуары Гольдони — неопенимый материал для изучения психологии творчества. Хотя изложение непосредственной «литературной борьбы» Гольдони занимает следующие томы, — уже и в первом томе вырисовывается «творческий метод» Гольдони. Реформа Гольдони покоилась на твердом базисе. Разрушая установленные формы, перерабатывая полученное от прошлого «литературное наследство», Гольдони не боится приблизить театр к жизни вплоть до портретных воспроизведений. Случаи из его личной жизни, бытовые наблюдения служат ему помощью в построении пьес.

«Первая часть» и рисует «рождение драматурга» на фоне яркой и сложной итальянской жизни XVIII в. Атмосфера «делачества», окружавшая Гольдони еще с детства, мир нотариусов и адвокатов составили первые впечатления Гольдони. Гольдони был крепко связан не только с театром и актерами, — «быт и творчество»: ко-

торых он рассказывает с рядом блестящих характеристик (Сакки и др.), — но и со всем буржуазным обществом. Гольдони — в среде адвокатов и в судебной палате, Гольдони — в среде художников и поэтов, Гольдони — в литературной Академии, Гольдони — генуэзский консул, Гольдони — следователь, — таковы те этапы, которыми он шел к созданию из себя «профессионального драматурга», для которого театр становится не только развлечением, но и источником дохода. Во всех рассказах он умело сохраняет равновесие, нигде не давая заслонить картину эпохи своей личной судьбой. Оттого «мемуары» перерастают узко индивидуальное значение и получают более широкий смысл, подкрепляющий ряд теоретических положений современной эстетики о выражении через искусство классовой сущности, — на этот раз сущности буржуазии XVIII в.

Издание сопровождается отличным и подробным комментарием, содержащим ряд ценных исторических сведений.

П. Марков.

Книги, поступившие на отзыв

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

ЛЕСНИК. Встречи в лесу. О рис. Стр. 200. Ц. 1 р. 15 к.
ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК XV. Под ред. В. В. Адоротского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. (Институт Ленина при ЦК ВКП(б)). С р. 334. Ц. 2 р. 50 к.

МАМОНОВ В., ФЕДЕРС, Г., ЦВЕТАЕВ, Г. Рабочая книга по литературе и языку. 8-й и 9-й годы. Стр. 336. Ц. 1 р. 25 к.
ВЫГОТСКИЙ, Л. С. Воображение и творчество в школьном возрасте. Стр. 80. Ц. 50 к.
ГИППИУС, АНДРЕЙ. Записки главноуправляющего 293 пехотн. Ижорского полка. Стр. 126. Ц. 90 к.

ГОС. ИЗД. ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

КУШНЕР МАРК. Перелом (на фронтах пятилетки). Стр. 40. Ц. 12 к.
«Долой войну империалистов против СССР». Анкета Межд. бюро революц. литературы. Предисл. К. Радека. Стр. 95. Ц. 35 к.
ОВЧАРЕНКО, ИВАН. В огненном кольце. Записки партизана. (РАПП. Новинки пролетарской литературы). Стр. 143. Ц. 1 р. 10 к.
ГИДАШ, АНАТОЛЬ. Привет революционным писателям мира. Стихи. Пер. с венгерского А. Ромм. Стр. 16. Ц. 20 к.
РОЗЕНФЕЛД, МИХ. За аркой границы. ОДВА в Манчжурии. Стр. 48. Ц. 30 к.
ТУРЕК, ЛЮДВИГ. Пролетарий рассказывает. Жизнеописание немецкого рабочего. Авториз. пер. с немецк. Гарвей. Стр. 344. Ц. 1 р. 25 к. Пер. 22 к.

ДАВИД, ЖОРЖ. Парад. Перев. с франц. В. Лившица. Стр. 159. Ц. 1 р. 10 к.
ЧАГАН, Э. Еще раз рожденьяе. Очерки. Стр. 119. Ц. 95 к.

СЕРЕБРЯКОВА Г. Рюкпа. Рассказы. Стр. 125. Ц. 90 к.

СТРОЕВ, В. Грч. Инсценировка из революции 1905 г. Сцены из жизни т. Баумана. Стр. 47. Ц. 35 к.
ЛАМНЕН, П. М. Иловитый газ над Берлином. Пьеса в 3 актах. Перевод и обработка М. Левиной. Стр. 77. Ц. 45 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ».

ВАШЕНЦЕВ С. Чужие лица. Записи, сделанные в суде. 1931. Стр. 156. Ц. 75 к.

ГЯХОВСКИЙ, В. С гор потоки. Роман. 1930. Стр. 250. Ц. 1 р. 50 к. Пер. 25 к.

ГОЛЬДБЕРГ, ИС. Поэма о фарфоровой чашке. Стр. 364. Ц. 2 р. 10 коп. Пер. 30 к.

АВЕРБАХ, Л. Перестраиваемся. Статьи. Стр. 69. Ц. 40 к.

ОСТРОУМОВ ЛЕВ. Фабрика разговоров. Роман. Стр. 250. Ц. 1 р. 50 к. Пер. 20 к.

ДОЛГИХ А. Кривая. Повесть. Стр. 182. Ц. 1 р. 10 к.

НОВИКОВ ИВАН. Мне — двадцать лет. Рассказы. Стр. 241. Ц. 1 р. 50 к. Пер. 20 к.

ПЕТРОВ П. Борель. Роман. Стр. 211. Ц. 1 р. 40 к. Пер. 25 к.

ЛАВРОВ, ЛЕОНИД. Уплотнение жизни. Стихи. 1927—1929 г. Стр. 95. Ц. 1 р.

ОСЬКИН, ДМ. Записки военкома. Стр. 276. Ц. 1 р. 25 к. Пер. 20 к.

КУДРЕЙКО АНАТОЛИЙ. Гравюры и марш. Стихи и поэмы. 1927—1929. Стр. 126. Ц. 1 р. 20 к.

АНИБАЛ, БОРИС. Время, дела и люди. Фабричные очерки. Стр. 134. Ц. 80 к.

КАНАТЧИКОВ, С. И. Рождение колхоза. Очерки. Стр. 99. Ц. 50 к.

«ИЗД-ВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ».

СЕВЕРНАЯ БРИГАДА (Г. Кукулин, С. Спасский, Ел. Тагер, Ни-

колай Чуковский). Сквозь ветер. 1931. Стр. 271. Ц. 2 р. 25 к. Пер. 30 к.

СПАССКИЙ, СЕРГЕЙ. Особые приметы. Стихи. Стр. 78. Ц. 1 р. Пер. 25 к.

ИЗД. О-ВО «БЕЗБОЖНИК».

ДРЕВС, АРТУР. Происхождение христианства из гностицизма. Пер. с нем. Стр. 366. Ц. 2 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

ЗУЕВ-ОРДЫНЕЦ, М. Гул пустыня. Историческая повесть. Рис. Н. Кочергина. (Библиока революционной романтики и сюжетной прозы). Стр. 254. Ц. 1 р. 90 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ».

ФАДЕЕВ, А. Последний из Удаге. Роман. Стр. 206. Ц. 1 р. 20 к.

«ИЗД. КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ».

Марксистское искусствознание и В. М. Фриче. Сборник статей и библиография. Стр. 210. Ц. 1 р. 35 к.

Против буржуазного либерализма в художественной литературе. Дискуссия о «Перевале». (Апрель 1930). Стр. 104. Ц. 65 к.

БРЕЙТБУРГ, С. М. Литература о Толстом последних лет. Стр. 219. Ц. 1 р. 90 к.

«ИЗД. КОММУНИСТИЧ. УНИВЕРСИТЕТА ИМ. СВЕРДЛОВА».

МАЛАХОВСКИЙ, ВЛ. На два фронта (к оценке народольчества). Стр. 139. Ц. 1 р. 40 к.

«ПЛАНХОЗГИЗ».

Идеи планирования в прошлом и настоящем. Книга 2-я. Составил Ст. Вольский. Социальные месслители XVI—XIX вв. Стр. 186. Ц. 1 р. 90 к.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Редакция:

Г. И. Крумин,
А. В. Луначарский.
А. Г. Малышкин,
В. П. Полонский,
В. И. Соловьев,